
В. ВУДВОРД
ХЛЕБА
И
ЗРЕЛИЩ
ГИЗ
1927

В. ВУДВОРД

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ

РОМАН

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
А. В. КРИВЦОВОЙ

ОЧЕРК О ВУДВОРДЕ
ЕВГЕНИЯ ЛАННА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ☆ 1927 ☆ ЛЕНИНГРАД

W. E. WOODWARD

BREAD AND CIRCUSES

СОЦИАЛЬНАЯ САТИРА ВУДВОРДА.

«И тогда сказал Майкель Патрик Теренс О'Флахерти:—Дурак тот, кто ходит на ярмарку Доннибрук, если у него вместо черепа яичная скорлупа.»

Такова концовка защитительной речи, которую произнес мифический ирландец О'Флахерти, привлеченный к суду за то, что в драке на ярмарке расшиб голову одному из противников.

Когда герой «Лоттереи»—романа Вудворда—рассказывает этот анекдот с нравоучением,—слушатели легко расшифровывают аллегорию и разражаются хохотом. Сотрясаются от этого хохота жирные подбородки «отцов города», и, быть может, не один из «отцов» самодовольно думает: «Не знаю, как у того дурака, а у меня с черепом все обстоит благополучно».

И Вудворд с ними согласится. Мало этого. Он не только согласится—он отдаст всю свою наблюдательность, все свое искусство рассказчика * тематическому заданию: *д о к а з а т ь*, что в современной Америке ко дну не пошли только те джентльмены, о череп которых переломится палка энергичного ирландца.

---

* Прав Joseph Wood Krutch: „Вудворд — лучший из современных рассказчиков (raconteurs)“ (Nation, 30/XII. 1925. New Jork).

Когда читатель впервые прочтет романы Вудворда «Bunk», «Lottery», «Bread and «Circuses» и просмотрит его книгу о Джордже Вашингтоне, перед ним предстанет маска аббата Куаньяра, подрисованная на американский лад. Иронический попик Франса, созерцатель и регистратор человеческой подлости, безумств и тупости— чистый эстет, чуравшийся моральных и социально-политических оценок. Ироника его никогда не разрешалась в социальную сатиру. Подобно м-ру Тангрину из вудвордовского «Хлеба и Зрелищ», он с неостываемым интересом читал великолепный труд Моля «История человеческого безумия»,—читал всю свою жизнь и никак не мог начитаться. И подобно Тангрину, аббат Куаньяр не удовлетворялся сокращенным изданием opus'а Моля в восемнадцати томах. Франс заставил своего любимца читать и перечитывать все сорок два тома, снабженные приложениями и иллюстрациями на отдельных листах. Куаньяр не протестовал—он сам склонен был к медитациям,—натура у него была созерцательная, а разве в сорока двух томах не больше материала для медитаций, чем в восемнадцати? Итак, он перелистывал страницы полной истории человечества и не переставал благоговеть перед мудростью божественного промысла, с помощью которого человек снабдил усидчивого профессора материалом для его поучительной «Истории».

Аббат Куаньяр—мистер Тангрин—Вудворд. Прочтя книги Вудворда, читатель, быть может, склонен соединить знаками равенства членов этого ряда, а самого Вудворда зачислить остроумным глоссатором истории современной Америки. Франсовский аббат никогда не жаловался на печень; с печенью обстоит все благополучно и у Вудворда. Это неоспоримо, как неоспоримо

и то, что читатель привык требовать от социальных сатириков свифтовской желчи. «Здоровая печень» в некоторых случаях не прощается, но почему-то читатель забывает, что почти всегда болезнь этого необходимого органа писателем благоприобретается, причем сплошь да рядом виновником свифтовского темперамента является не кто иной как сам читатель, хотя он сего и не подозревает. Удовлетворенный переменами, происшедшими в здоровье сатирика, он намечает очередную жертву, забывая, что медицинский признак—здоровая печень—слишком недостаточен для сближения того или иного сатирика с аббатом Куаньяром, погрязшим в гражданском квиетизме.

Вудворду может грозить такая же печальная участь. Он слишком легко и свободно носит маску аббата, чтобы считать себя застрахованным от упреков в соглядатайстве и в чисто-эстетическом подходе к тому социальному процессу, который развертывается в Америке на наших глазах. За этой маской, за философским юмором его, пожалуй, можно не разглядеть на книгах Вудворда того же знака, который лежит на Бомарше. Увлеченный его исключительным даром рассказчика и его остроумием, читатель рискует проглядеть в Вудворде одного из самых крупных и горьких сатириков нашего века, имеющего предъявить весьма недвусмысленную социально-политическую программу.

Свою первую книгу «Bunk» Вудворд посвятил памяти Гурмона. Это не случайно. Как и автор «Le problème du style», он категорически отклонил бы от себя обвинения в пристрастии к парадоксам и охотно подписался бы под словами Гурмана: «un éspit de quelque hardiesse semblera toujours paradoxal au esprits timorés»—«ум отважный все-

гда покажется парадоксальным умам робким». И тот же Гурмон эффектно расчеркнулся: «Il faut accepter en toutes ses conséquences, les régles du jeu de la pensée»—«Правила игры мысли со всеми вытекающими последствиями должны быть приняты.»

Le jeu de la pensée... Манера вудвордовского письма выдает в американце почитателя заветов Гурмона, чья школа—лучшая школа стиля. Разумеется, Вудворд—не Реми де-Гурмон, но именно французским правилам игры мысли следует он там, где мысль его «играет». Его шалости балансируют на грани парадокса, на той грани, на которой незыблемо утвердились Франс и Гурмон. Честертон не мог или не хотел на ней удержаться: его оглушительные парадоксы пренебрегли законом «золотого сечения», ведомом французским мастерам стиля. Но Вудворд удержался. Крайностей он себе никогда не позволяет и меньше всего пытается нагрузить страницы своих книг отдельными maxim'ами, в коих здравый смысл нарочито поставлен на голову. Его афоризмы, кажущиеся рискованными, всегда мотивированы: ими он подытоживает свои комментарии на разделы молевской «Истории человеческого безумия». «Менее опасна бутылка виски в кармане, чем томик стихов» *—слова эти так плотно вправлены в его характеристику американского business man'а, что в контексте не эпатирует. Или, например: «За это время бог растерял все свои прерогативы, пока не стал биологической необходимостью и, как таковая, продолжал играть свою роль под наименованием «вселенная». Можно думать, что раньше он все же проявлял активность: создал протоплазму и

* Bread and Circuses 1925. N. Y., p. 157.

несколько электронов. А затем он работу прекратил, и научные законы взяли на себя попечение о мире»*. Под этой фразой разве не подписался бы Франс? И разве вместе с Гурмоном он не поставил бы визы на той формуле, к которой пришел Вудворд: «Мир вступил теперь в век господства посредственности—самый славный век во всемирной истории»**. По франсовски звучит и догадка, высказываемая американцем в связи с утверждением, что «почти все может произойти в кровати». Упоминая о Людовике XIV, который управлял страной, сидя в кровати, о Твэне и Стивенсоне, писавших в кровати книги, о Сарре Бернар, часто принимавших гостей, не потрудившись с кровати встать,—Вудворд, опираясь на «исторический» факт о необходимости «небезызвестного Прокруста» прибегать к помощи хирургии, дабы приспособить людей к кроватям,—высказывает предположение, что эти операции производились именно в кровати, а Прокруста аттестует «святым патроном Пульмановской компании»***. Как и французские его учителя, Вудворд не умеет хохотать; он только улыбается, motto он роняет легко, никогда не подчеркивая курсивом. И образность его—изысканная, быть может, слегка кокетливая: «Бархатные пальцы рассвета коснулись крыш... Колеблется, чахнет жирное пламя упрямых фонарей; оно становится меньше булавочной головки и превращается в ничто»****. Или в другом месте: «Рассвет не опоздал, но появился он в таком жалком виде, что

---

* Bunk 1923. N. Y., p. 235.

** Ib., p. 28.

*** Lottery, 1924. N. Y., p. 227.

**** Ib., p. 256.

хотелось ему посочувствовать и отослать домой»*. Затем: «Каждая свеча вообразила себя факелом, и бегали свечи весь вечер по тихим холмам вдогонку за звездами, сверкавшими на вершинах»**. Встечаются и фигуры, которым мог бы позавидовать Гурмон: «Ночь опускается, как стрела на излете», ***—словом, Вудворд прилежно учился художественному письму у мастеров стиля, и посвящение «Bunk'a» Гурмону едва ли покажется претенциозным.

Ошибается тот, кто предположит, что Вудворд перегружает свои романы фигурами, аналогичными цитированным. Вудворд не занимается стилистическими упражнениями; стихия Вальдо Фрэнка—единственного американского художника ф р а з ы—ему чужды. В своих фигурах автор «Bunk'a» проявляет подлинный вкус и пристрастие к образцам, достойным подражания, но отнюдь не формальная стилистическая проблема стоит в центре его внимания.

В центре его внимания стоят две задачи: показать главного героя современной Америки, показать тот костяк, которым Америка Моргана поддерживает свои несколько расплывшиеся формы,—показать business man'а и механику его business'а. Как показать? Добросовестно показывал механику Дрейзер; живее, но так же серьезно повествовал о том же Синклер Льюис; отвращал от бизнессмэн'ов Шервуд Андерсон; романтически, но вскользь любовался ими Лондон, простодушно считая дельцов «пионерами»; жадно заносил силуэты национальных героев Генри и... этим ограничивался;

* Bread and Circuses 1925. N. Y., p. 79.
** Lottery p., 287.
*** Bread and Circuses, p. 57.

и, наконец, с хорошей хваткой первоклассного журналиста расправлялся с ними Синклер.

А Вудворд—первый из современных американцев,—под маской Куаньяра захлестывая франсовской иронией механику business'а, обнажил национального героя до голизны, совлек с него даже последний его покров, в который тот пытался закутаться,—флаг со звездочками. И предстал бы бизнессмэн смешным, если бы автор захотел на этом остановиться. Но он мимоходом разрешил вторую свою задачу—показал, чем живет стандартная Америка. И стало уже не смешно, а страшно.

II.

О социально-политическом паспорте Вудворда, об ошибке тех, кто может счесть Вудворда соглядатаем-скептиком—ниже. А теперь—о стихии вудвордовской ироники, в плане которой предстает тематика его размахов.

Два романа—«Bunk»—«Вздор»—и «Lottery»—«Лоттерея»—в русском переводе вышли. «Bread and Circuses»—«Хлеба и зрелищ»—третий роман Вудворда. Больше Вудворд романов не писал. Последняя его книга «George Washington» — «Биография Вашингтона» — историческое исследование*.

* Не имея формального разрешения Вудворда, я лишен возможности процитировать фрагменты одного из его писем ко мне,—фрагменты, в коих он сжато формулирует свой взгляд на национального героя С. Ш. Широкая пресса встретила книгу почти с негодованием. Знакомство с книгой объясняет эти эмоции,— Вудворд совлек с Вашингтона покров романтики, и перед нами предстал прототип современного business man'a—„капитана от индустрии“.—*Е. Л.*

На фронтоне шекспировского театра «Глобус» рядом с Геркулесом, поддерживающим земной шар, начертана была надпись: «Totus mundus agit histrionem»—«Весь мир играет комедию».

It's all in life, it's all a commedy—«Все это—жизнь: сплошная комедия» *,—перекликнулся с фронтоном «Глобуса» Вудворд и показал нам... трагедию. Почему же он не назвал свою трехтомную эпопею о современной Америке трагедией, почему же он не переключил свой комедийный тон на патетический регистр трагедийного языка? Отчасти—по причине здоровой печени, а на все сто процентов по причине иной, ни мало не медицинского порядка. Нам не нужно строить догадки, какова эта причина, следует только внимательно читать Вудворда. В «Лоттерее» он эту причину назвал. Он цитирует Бомарше, а под цитатой ставит и свою подпись: Je me presse de rire de tout de peur d'être obligé d'en pleurer. (Я заставляю себя смеяться нам всем из боязни разрыдаться.)

Эта фраза—ключ к Вудворду; забыть о ней—ничего не понять в вудвордовском горьком юморе и горькой иронии.

Франс никогда не снисходил до признаний. Он оставил нам образ своего попика, маска которого достаточно отвердела. Аббат философически подхихикивал над историей человеческого безумия и ухитрялся говорить «нет» так, что это звучало, как «да». И, конечно, Франс увильнул бы, если бы мы спросили его без обиняков, подписывается ли его Куаньяр под признанием Бомарше и Вудворда,—гордый французский мэтр терпеть не мог

---

* Lottery, p. 297.

лирических откровений. И взамен одной—но какой драгоценной—фразы, мы получили через Куаньяра доведенный до виртуозности м е т о д овладения материалом.

Теперь, после признания Вудворда мы знаем, что свое credo—формулу Бомарше—американец окрашивает в защитный цвет комедии. А строя свою трехтомную «комедию», он из рук Куаньяра принимает м а н е р у письма. Сарказм? Нет: ни Куаньяр, ни Вудворд не склонны к сарказму. В сарказме—желчь. И по разным основаниям франсовский аббат с Вудвордом не приняли сарказма. Франс не разрешил своему аббату отравить желчью философическое спокойствие, ибо разве отрава желчью не порождает эмоции? А если эмоция,—не замутнеет ли идеальное стекло, через которое монтэневский ученик должен созерцать мир? И Вудворд не принял сарказма. Почему? После признания его мы вправе выставить догадку: не боялся ли Вудворд сорвать свой голос на высоких нотах саркастического памфлета. «Я заставляю себя смеяться»... Смех страхует лучше от опасности разрыдаться, чем возмущение. Куаньяр посвятил американца в тайны созерцательной и р о н и к и, и на фоне веселой издевки показал нам автор «Лоттереи» духовную жизнь сегодняшней Америки.

Комментатором «истории человеческого безумия» в романах «Вздор» и «Хлеба и зрелищ» является один и тот же герой—Майкель Уэбб. В «Лоттерее» комментатор—автор.

Экспозиция «Вздора» оригинальна: автор встречается с известным философом Майкелем Уэббом, в котором узнает героя своего ненаписанного романа. Не отрицая, что он некогда от автора сбежал, Майкель соглашается поставлять материал для романа и проникает на виллу

одного из крупнейших миллиардеров Америки. Материал для романа он добывает богатейший, и вторая часть «Вздора» посвящена великолепному описанию хитроумной механики делячества, тогда как первая—истории философской карьеры Уэбба. Тот же Майкель—уже на покое—выступает и в «Хлеба и зрелищ». Он развязался с автором, теперь он герой на равных правах с остальными героями книги и отдыхает в загородном пансионе, где перед ним проходит вереница жильцов—редчайшие по силе изобразительности рядовые типы американского сегодняшнего дня. Все они живут по заповеди: хлеба и зрелищ! И другого закона не знают. И, наконец, в «Лоттерее», где Майкель Уэбб не принимает участия, Вудворд рассказывает о самом рядовом, стандартном американце, агенте по продаже мебели—Джерри Гаррисоне,—который к тридцати годам сколотил себе миллион долларов.

Ирония захлестывает страницы трех вудвордовских романов. Майкель Уэбб написал книгу «Как важно быть второсортным». Всерьез приняли американцы эту книгу, в которой философ убедительно доказывает преимущество «ума второсортного» над первосортным. Возникли по всей стране «клубы второсортных», куда члены принимались лишь после соответствующего испытания. «Что такое второсортность? Второсортность—тот же практический здравый смысл» (practical commonsense) *, и тысячи американцев, убежденные доводами Майкеля, все усилия прилагали, дабы снять с себя подозрение в первосортности. Сенатор Лимэн поднялся даже до неподдельного пафоса и закончил одну из своих

* Bunk, p. 28.

речей так: «И вот теперь, перед лицом этого национального пророка дадим же клятву стать отныне второсортными. Разве быть второсортными—не значит выявить в практической жизни самую сущность демократии? * Великолепны страницы «Вздора», посвященные кампании по выборам «главы второсортных»—Тимоти Брэя, который уже в детстве проявлял все данные, необходимые для занятия столь ответственного поста. Еще будучи десятилетним мальчиком, Тимоти демонстрировал изумленному миру свою неколебимую стойкость в борьбе с пороком: увидев в витрине магазина открытки с изображением девиц в купальных костюмах, он похитил эти открытки и отказался вернуть даже тогда, когда был пойман с поличным**. С каким упоением излагает в газетном интервью свое credo одна из руководительниц движения «второсортных» м-с Томс: «О! Какое счастье служить этому делу! Всем сердцем и всей душой мы участвуем в движении. Каждая наша мысль второсортна. Мы даже дышим второсортным воздухом. Как только мы подумаем, что значит для человечества «второсортность»,—мы вдохновляемся и до последних сил готовы служить великому делу»***. Куаньяровски-серьезно Вудворд рисует триумфальное шествие идеи «второсортности» по Америке в ту эпоху, когда великая республика пребывала в депрессии. «Люди брюзжали. Хуч никуда не годился и стоил очень дорого... Источники человеческого разума иссякли». Эпоха была страшная: «До сих пор люди, сидя у камелька, расска-

---

* Bread and Circuses, p. 11.

** Bunk, p. 35.

*** Ib., p. 33.

времени»*. И тозывают друг другу об этом страшном времени» *. И тогда же—в эту эпоху—сиречь, в наши дни—Майкель, которого обвиняли в «первосортности» и заставили покинуть ряды «второсортных», занялся новым делом: извлечением вздора. Из чего? Из финансистов, из газет, из воздуха, из писателей—словом, из американской жизни. Но, увы, дело не пошло. Устами известного журналиста общественное мнение Америки выразило возмущение близорукостью Майкеля. Неужели он—Майкель—не понимает, что, не будь в нашей жизни «вздора», не было бы, например, великой войны, и человечество не вписало бы в историю многих героических страниц. «Вы боретесь с великой созидающей силой»,—кипятился журналист и вместе с прищурившимся Вудвордом добил философа неотразимым доводом: «Горилла не знает всего этого вздора, и что же она создала? Абсолютно ничего» **. Майкель сдался, бросил свои операции и открыл контору по «поставке мыслей на день или на неделю». За известную мзду он снабжал мыслями, оптом и в розницу, освобождая клиента от труда мыслить самостоятельно. От клиентов не было отбою. Циркулярное письмо, с которым обратился Майкель к финансовым магнатам, предлагая свои услуги по снабжению мыслями, цели достигло. Первая фраза письма—удар хлыстом: чего у вас больше—денег или мозгов? Ответ был единодушный: денег! И через короткий срок контора Майкеля была набита до отказа клиентами—изысканно-одетыми джентльменами ***. Отвлекшись на время от руко-

* Ib., p. 308.

** Ib., p. 5.

*** Bread and Circuses p. 13.

водства конторой для наблюдения за бытом архимиллионера Эллермана, Майкель после женитьбы снова возвратился к своей конторе. А у Эллермана он подсмотрел такие сцены, которые надолго останутся в мировой сатирической литературе. Сенсация на вилле автомобильного магната: конец большевизму. Как? Когда? Опоздавший на обед гость подробно рассказывает об отчаянном шаге, на который решились консервативные газеты: «Бостонское обозрение» извлекло из словаря слово пситтацизм (попугайничание) и стало им обстреливать большевиков. И большевики не выдержали. Майкель протестует против этой неслыханной жестокости: ведь слово «пситтацизм» Гаагская конференция запретила употреблять на войне. Но его замечание одобрения не встречает: все средства хороши для лечения таких болезней, как большевизм. Уже открывается подписка на памятник «пситтацизму»*. Вудворд очень серьезен и очень лукав, когда ведет героев своих и читателей сквозь быт сегодняшней Америки—маска Куаньяра обязывает его к великолепной добросовестности—к эпической иронике. Майкель весьма интересовался отношением автомобильного короля к своим рабочим. Об эллермановских методах организации этих отношений дает представление хотя бы одна эта цитата, достойная войти в хрестоматию по эпической иронике, буде эта хрестоматия когда-нибудь появится: «Ежемесячный домашний орган Автомобильной К⁰ Эллермана называется «Сила—Сердце»... Рабочие и служащие трактуются как единицы «силы—сердца» или сокращенно: с.-с. единицы». Считается, что все предприя-

* Bunk, p. 162.

тие функционирует, благодаря «силе—сердцу»,—согласному действию шестнадцати тысяч сердец, бьющимся как одно. «Немногие из «с.-с. единиц» читают этот орган. Большинство из них пользуются его бумагой для раскуривания трубок и других плебейских нужд» *.

Простое констатирование факта: журнал пригодился для «других плебейских нужд». Эпически-спокойно Вудворд роняет эту деталь. Никакой оценки журнала, данной от первого лица. Манера Куаньяра обязывает во время ставить точку, и, пожалуй, лучше поставить точку рано, чем поздно. Вместе с Вудвордом редактор «Воскресного Обозрения» деловито, ничуть не забавляясь и не эпатируя читателя, резюмирует свои наблюдения над уровнем духовной жизни Америки: «Я пришел к тому заключению, что в настоящее время рядовой, средний человек вполне созрел для усвоения тех идей, которые принес семнадцатый век. Я и издаю «Воскресное Обозрение» для семнадцатого столетия» **. В этой серьезно-исследовательской манере—существо вудвордовской иронии; как на дрожжах, на ней замешана и «Лоттерея», где развертывание сюжета протекает в плане традиционного жизнеописания одного из стандартных американцев, идущего к миллиону долларов. «Лоттерея» сплошная цитата. Джерри Гариссон хочет выжить, и Вудворд с горькой снисходительностью любуется его подвигами на ярмарке Доннибрук—в промышленном Риверсайде, созданном по образу и подобию Нью-Йорка, «где каждый, кто не пойман с поличным, считается порядочным» ***. В обрисовке Джерри—поамерикански-зоо-

* Ib., p. 114.

** Bread and Circuses, p. 235.

*** Ib., p. 264.

логического эгоиста, кулаками пробивающего себе дорогу к трону «пуговичного короля»,—Вудворд ни единым мазком не погрешил против манеры иронического соглядатая. Осудить Джерри за то, что он расколотил не мало черепов на ярмарке? Ну, а дальше что? Исправится ли пуговичный король? Конечно, нет. Как и мифический ирландец, Джерри будет очень удивлен, если его обяжут считаться с чужими черепами. Слишком хорошо знает Вудворд действительность сегодняшней Америки, чтобы вынести обвинительный приговор Джерри и мифическому ирландцу. Джерри—производное Америки. Каким бы он ни стал по достижении *n*—ого миллиона долларов,—он и останется производным. Ибо Джерри—самый рядовой, самый типичный, самый стандартный янки, отнюдь не наделенный душевными качествами мелодраматического злодея. Вся его вина, а наша с Вудвордом беда, заключается в том, что Джерри и ему подобные строят современную американскую цивилизацию среди треска раскалываемых черепов своих сограждан, не доказавших своего права явиться на ярмарку-Доннибрук. Кто знает! Появись этот же самый Джерри с тем же единственным долларом, который бренчал у него в кармане на первой странице «Лоттереи», появись он в эпоху, когда ярмарку Доннибрук перестанет оглашать музыка разбиваемых черепов,—не умный, но и не злой Джерри едва ли причинил бы кому-нибудь вред и едва ли был бы опасен. Слишком он маленький и слишком бездарный.

Но в Америке, в сегодняшней Америке, этот глупый Джерри может быть страшен. Как это ни покажется странным, но с каждой страницей «Лоттереи» все меньше и меньше хочется улыбаться. И это отнюдь не по-

тому, что по мере развертывания темы Вудворда оставляет его сатирический дар. Причина иная. Вудворду удалось разрешение труднейшей задачи. Фабула книги—ожидание счастливого поворота лоттерейного колеса, выбросившего для Джерри билет с выигрышем. Но с такой художественной правдой Вудворд показал этот поворот, что читатель не может не видеть другого поворота колеса, выбрасывающего миллионам американцев «пустышку». Вудворд обнажил «лоттерейную» сущность американской цивилизации, а может ли быть что-нибудь страшнее для человека, чем та эпоха, которая своим верховным законом признала волю слепого случая.

От императорского Рима, доживающего свои последние дни, от Рима, сказавшего все и обреченного смерти, история сохранила для нас лозунг, развернутый над народами великой Римской империи. Хлеба и зрелищ. Рим погибал, рушилась вековая цивилизация под натиском новых сил, которым суждено было построить новую цивилизацию, а в воздухе еще дрожал клич, переходящий в надрывный стон: Хлеба и зрелищ. У Петрониев еще оставалось выдержки для великолепной позы, с которой они принимали смерть, но и только. Воля к жизни исчерпана была до дна. Исчерпались до дна и творческие силы: римская цивилизация сходила с мировой сцены, и нужен был только слабый толчок, чтобы она рухнула и разбилась в пыль.

А вот цитата из третьей книги Вудворда «Хлеба и зрелищ»: «В результате мировой войны капиталистическая цивилизация гибнет в Европе. Она еще не рухнула и судорожно бьется, как гальванизированный труп, так как нечем ее заменить. Но пройдет совсем немного времени, и этот труп разложится в такой мере, что нужно

будет приняться за погребение... В Англии уже в наши дни устроены ему благопристойные похороны... погребают, не торопясь, с церемониями и музыкой...»*. Ни мало не случайно поставил Вудворд на заглавной странице своей третьей книги клич погибающего Рима «Хлеба и зрелищ». Она кажется непритязательной, эта книга портретов рядовых американцев с их радостями и заботами, но непритязательность эта—видимая. Под каким-то углом эта остроумнейшая, виртуозно-написанная книга (Crutch считает ее лучшей из трех) кажется еще более страшной, чем «Лоттерея» и «Вздор». Лепка типов—мастерская; писатель Торбэй—незабываем. В загороднем пансионе встретились лица «разных званий»: бизнессмэн, играющий под Рузвельта, с супругой; почтенные родители «Звезды экрана»; писатель с любовницей; независимые девушки; бутлегер и пр. Едва ли один из них—именно бутлегер, если не считать Майкеля Уэбба—духовно не выхолощен. Остальные—сегодняшняя Америка в миниатюре—опустошены до того предела, когда не позволяет оторваться им от жизни животный инстинкт «хлеба и зрелищ»—он один. Вудворда как будто забавляет вся эта компания, собравшаяся у Гюса Бюффорда; изобретательность его как рассказчика технически-безукоризненна; все эпизоды, на которые разбивается роман, поданы с тем же куаньяровским ироническим жестом; не смеяться нельзя, читая, например, о том, как родители мисс Торнтон—«Звезды экрана», заразившись кино-горячкой, создали из своей жизни сценарий и в конце концов запутались, перестав распознавать, где кончается придуманный ими фильм и где

* Bread and Circuses, p. 226.

начинается реальность. Смеешься и на многих других страницах,—смеешься, а книга не смешная. Не над пансионом «Горное эхо»—над Америкой висит гигантский плакат. На нем надпись «Хлеба и зрелищ», и это ничуть не смешно.

III.

В маске аббата Вудворду удобно. Хороший литературный вкус помог ему—подлинному и глубокому сатирику—остановиться именно на иронической позе. Ибо только эта поза обусловливает целый ряд художественных эффектов, которые не удаются темпераментному памфлетисту. Но Вудворд—американец. Мало этого—писательское его лицо не похоже ни на Франса, ни на Гурмона. И литературные традиции своей родины и собственное его credo отвращают его от маски,—отвращают тогда, когда он позволяет себе заговорить с читателем лицом к лицу, забыв о литературной своей манере. Credo свое он не скрыл: когда он цитирует Бомарше и затем добавляет «Юмор—дитя меланхолии», мы не можем не помнить, что Вудворду лучше знать, чем его критикам, каков его юмор. Литературные реминисценции заставят вспомнить о Гейне, о Гоголе и, конечно, о Марке Твэне *.

Анализ мироощущения Вудворда приводит к выводу—автор «Вздора» восходит именно к Марку Твэ-

---

* Не в этих строках останавливаться нам на последнем. Мы ровно ничего о Твэне не знаем — наша критика никогда не видела в Твэне проблемы—проблемы не только литературного, но и психологического порядка. После книги Van Wyck Brooks' a „The Ordeal of Mark Twain" „Пытка Марка Твэна" (или в английском издании 1922 г. „The Tragedy of Mark Twain") забыть об этом нельзя.

ну; Твэн, чей смех «походил на гримасу», * — тот же американский Бомарше и ближе Вудворду хотя бы только потому, что последний — чистокровный англо-сакс. Но мироощущение — не идеология. И оставаясь связанным с Твэном самой сокровенной, самой интимной стороной своего писательского естества, Вудворд строит свою идеологию независимо и от Твэна и от Бомарше.

Сбрасывая маску, отрешаясь от своей обычной литературой манеры, он смело предъявляет свой социально-политический паспорт. И вот тогда-то мы видим, что маска галльского скепсиса — только маска. Вудворд умеет говорить «нет» и знает, чему сказать «да». Его «нет» звучит так же громко, как и «да», а внимательный читатель сумеет найти нечто большее, чем положительную программу социального сатирика: намек на разрешение проблемы тактической. Только для тех, кто не хочет этого увидеть **, либо для того, кто литературную манеру принимает за выражение писательской идеологии, Вудворд должен разделить судьбу своих французских учителей стиля. Ни у одного из современных сатириков мы не найдем более четких характеристик бизнессмэнов, представителей правящей касты сегодняшней Америки. Вудворда у нас пока знают мало, и потому приходится цитировать: «Его (дельца. *Е. Л.*) невежество было совершенно исключительным... За всю жизнь он не прочел до конца ни единой книги» *** или дальше: «Цивили-

* Edward J. O'Brien — The Advance of the american short story. N. Y. 1923, p. 115.

** Напр.: для критики J. D. A., рецензирующего книгу Вудворда о Вашингтоне в Book Review „N. Y. Times" от 24/IX 1926 г. — „Вудворд весьма сильно предубежден против промышленных магнатов" и . . . только.

*** Lottery p. 134.

зация, возведенная на индивидуализме и алчности, выдвигает в первые ряды людей посредственных, невежественных и тупоумных. Эти тупицы, благодаря своему экономическому положению, считаются компетентными во всех вопросах, начиная с муниципального управления и кончая теорией Дарвина» *. В «Хлеба и зрелищ» он издевается над «королем леденцов», играющим под Наполеона: «Наполеон? Наполеон голодных изможденных девушек... Этот тип спекулирует на голоде, как другие—на недвижимом имуществе» **... Автомобильный король во «Вздоре»—«целиком пропитан природным, чисто инстинктивным, плутовством, свойственным типичному второсортному уму» ***. Книга о Джордже Вашингтоне рисует американского национального героя предтечей этого современного бизнессмэна. Правда, Вашингтон не совершил бы бесчестных поступков, но в делах коммерческих не преминул бы обмануть контрагента, а в тяжелые дни зимовки в Valley Forge, когда англичане держались в Филадельфии и американцам приходилось очень плохо, он писал Джону Парку Кустису: «Земельные участки—дело надежное, они быстро повышаются в цене и будут стоить очень дорого, когда мы добьемся независимости» ****. Авторские ремарки Вудворда утверждают, что во всех книгах за оценками, даваемые некоторыми героями бизнессмэнам,—скрывается Вудворд. И с такой же четкостью предстает перед нами социально-политическая оценка современной капиталисти-

* Ibid., p. 360.

** Bread and Circuses p. 337.

*** Bunk, p. 310.

**** George Washington. The Image and the Man, N. Y. 1926, p. 82; см. также стр. 27, 55, 81, 282 и мн. др.

ческой системы: «В обществе, насыщенном капиталистическими идеями, как насыщена в настоящее время Америка, жадность почитается не пороком, а добродетелью... Жадность—некрасивое слово; поэтому оно выступает под различными псевдонимами и зовется ловкостью, напористостью, изворотливостью» и т. д.*. И в «Лоттерее: «Капиталистическое общество, паралитичное и живущее фальшивыми ценностями, не просуществовало бы и одного года, если бы не колоссальная производительность труда»**.

Вудворд ставит социальный прогноз весьма недвусмысленно. Выше мы упомянули о взгляде его на будущее капиталистическое общество. Ограничимся двумя добавлениями: «Капитализм рухнет от собственной тяжести. Он базируется на ложном понимании ценности, на бумажном богатстве... В сущности он уже рухнул в Европе и лежит поперек дороги, мешая движению... Собрались вокруг него ветеринары и пытаются поставить его на ноги... Поднять-то они его поднимут, но с этих пор он будет страдать хроническими обмороками»***.

Давая оценку духовной жизни господствующего (governing) класса во втором десятилетии XX века, Вудворд приходит к выводу: «Интеллектуальная жизнь состоятельных классов чуть-чуть тлела; оскудение духовное привело к какой-то моральной и эстетической анемии... Люди с тусклыми глазами, погрязшие в духовном болоте, изо дня в день перелистывали свои чековые книжки и тщетно старались противостоять новым социальным и экономическим силам с помощью этих идиот-

* Bread and Circuses, p. 226.

** Lottery, p. 135.

*** Bunk, p. 209.

ских клочков бумаги» *. Такова, весьма схематично, критика Вудворда современной социальной системы и прогноз о ее гибели. Но он отнюдь на этом не останавливается. Новое общество на развалинах древнего Рима? Да. И новые пути цивилизации: «Человечество еще не отдало себе отчета в том, каковы производительные силы цивилизации. Последние так велики, что при правильном их использовании материальных ценностей хватило бы всем и каждому. Наш долг бросить заботу о новых изобретениях и посвятить всю нашу духовную энергию реализации таких идей, которые усматривают в цивилизации орудие воздействия на общество, а не средство для извлечения прибыли, находящееся в руках ловких дельцов» **.

И, наконец, несколько штрихов, довершающих социально-политический портрет Вудворда. В них—в этих штрихах—если хотите, намек на тактику. В авторских комментариях Вудворд размышляет об уме финансистов—владык воды и суши: «Только катастрофы производят впечатление на такие умы, только с катастрофами они считаются, понимают их и уважают. Это грустно, но это означает, что разговаривать с ними можно только на языке бедствий (in terms of disaster). Сейчас мир произносит речь именно на этом языке, и эта речь обещает стать еще более красноречивой в течение ближайших лет» ***.

А затем берет слово Майкель Уэбб—alter ego автора. И в его реплике—угроза тактика: «Позиция, которую они (представители господствующего класса.—*Е. Л.*) за-

* Bread and Circuses, p. 13.

** Ib., p. 186.

*** Bunk, p. 330.

нимают, исключает возможность каких-либо дискуссий. Ну что ж! Тем печальней для них, так как, в конце концов, мы без всяких рассуждений отберем у них награбленное добро»*.

We shall eventually deprive them of their spoils without argument,—звучит не в регистре Франса.

«Хлеба и зрелищ»—последний из романов Вудворда. На момент современный Твэн—сатирик горький—сдернул с лица маску. Правда, он ее снова надвигает и своей литературной манере пока изменять не собирается, но, повидимому, печень его начинает уже портиться. И кажется: Вудворд занес ногу над чертой, отделяющей перо Твэна-Бомарше от хлыста Свифта. Нога повисла и медленно опускается за черту.

IV

Образование—военное: Military Academy. Профессия—по окончании военной школы журналист: трехлетняя работа в газете «Atlanta Constitution», а затем бизнесмэн. К сорока пяти годам—директор концерна в сорок два (некрупных) банка. И, наконец—писатель.

В присланной нам автобиографии Вудворд пародирует Майкеля Уэбба, сообщая, что начал писать «Bunk» (возвращаясь в 1922 году из Европы пароходом), дабы убить время—to pass away the time. Так или иначе, но это занятие ему очень понравилось, и в несколько лет он стал одним из самых известных писателей Америки.

* Bread and Circuses, p. 89.

Социалистом он сделался, будучи еще банкиром, и вышел из business в связи с изменением своих политических взглядов. В 1920 году он отказался вотировать за Гардинга и скоро убедился, что ему остается одно— уйти на покой, ибо банковские дельцы отнюдь не склонны были терпеть в своих рядах социалиста. Но и Вудворд не склонялся вернуться к Гардингу. Потомок пионеров—предки его пришли в Америку в 1632 г.,— он, повидимому, не только умел успешно, в стандартном стиле, вести банковские операции, но и столь же четко делать необходимые выводы из соответствующих посылок. Жизнь свою он повернул под прямым углом: даже порвал прежние деловые знакомства.

Теперь ему 52 года. Живет он в Нью-Йорке, изредка наезжая в Париж, где, между прочим, им был написан «Хлеба и зрелищ». После успеха «Джорджа Вашингтона» он принялся за книгу об Улиссе С. Гранте, которую предполагает кончить в будущем году.

Радикальные его взгляды не могли не привести его к Обществу «Друзей Советской России». Членом этого общества он состоит и по окончании книги о Гранте предполагает приехать в СССР—приехать надолго.

ЕВГЕНИЙ ЛАНН.

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ

Жил некогда человек. Дожил он до глубокой старости.

Всю свою жизнь он провел в ожидании. День проходил за днем, а человек ждал великих событий. Казалось ему, что удел человеческий—жизнь, бьющая через край.

Так шел он своим путем, занимался повседневными делами и всегда был настороже.

Чувствовал он, что на долю его не выпало ничего необычайного. Он любил женщин, зарабатывал деньги, грешил и каялся, поднял на ноги свою семью, путешествовал иногда и немного читал.

И пришел, наконец, день, когда Ангел Смерти коснулся его плеча.

— Не хочу я итти за тобой,—сказал человек.—Слишком рано.

— Ты—сгорбленный старик. Твой час настал!

— Но я не видел жизни,—взмолился старик.—Я еще не начинал жить... Я все еще жду...

— Ждешь—чего?

— Жизни... Годы прошли так быстро... промелькнули, как сон. Но ничего не случилось.

— Что ты делал все это время?

— Работал... много говорил... любил... ненавидел... смеялся... выстроил несколько домов... воспитал детей... думал немного... и...

— Это и была жизнь!—сказал Ангел Смерти, увлекая старика за собой.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Майкель Уэбб был первым великим мыслителем, сделавшим из философствования выгодную профессию. Обычно доллар шествовал по одной стороне улицы, а метафизика—по другой; друг другу они строили рожи. Но вот явился Майкель Уэбб и скоро их помирил.

Гений американской нации создает самые неожиданные комбинации, приводит к гармоническому единству якобы враждебные силы. Вдохновленный гением Америки, Майкель Уэбб поставил себе целью заставить философию обменяться рукопожатиями с долларом.

И эту задачу он разрешил: из философов он первый завел у себя чековую книжку литеры А.

Изучение такой карьеры, как карьера Майкеля Уэбба, приводит к поэтическим сравнениям и трезвым размышлениям, каковые даже в наши дни начинают приобретать заплесневелый привкус пословиц.

О его карьере как философа говорили много и в конце концов опутали ее паутиной фантастики. В настоящее время эта карьера породила многочисленные легенды—большей частью неправдоподобные. Отделить истину от лжи, окрашивающей эти басни,—геркулесов труд;

пожалуй, это выходит за пределы нашего задания, но раз уж мы затронули вопрос, не мешает установить хотя бы основные факты.

Майкель Уэбб взглянул на философию с практической точки зрения. Изучив условия, в которых развивалась философия, он пришел к следующему выводу: философы потерпели финансовый крах, ибо мыслили, не получая гонорара. Ведь они уподоблялись булочнику, думал он, который направо и налево раздает даром пироги. Он знал: люди не ценят того, за что не платят, и вспоминал о судьбе Сократа,—судьбе, которая должна была бы предостеречь всех философов.

Сократ бродил по Афинам, сидел под сенью портиков, размышляя вслух и вступая в спор с прохожими. На свою беду, он проявлял выдающиеся умственные способности, вызывавшие у греков, как и у всех людей, чувство ненависти. Во все времена и у всех народов умственное превосходство считалось чем-то непростительным. Сократ был умен и не стеснялся проявлять свой ум в общественных местах. Вскоре афиняне возненавидели его лютой ненавистью и решили с ним разделаться. Они привлекли его к суду и приговорили к смерти за то, что он развращал нравы и позволял идеям предстать без покровов—обнаженными.

Приходится поражаться отсутствию здравого смысла у Сократа!

По мнению Майкеля, легко было бы избежать столь трагического конца, если бы Сократ снял великолепную контору в аристократическом квартале Афин и продавал свои услуги клиентам. Прекрасная контора; у двери—молодой негр в ливрее; консультации по предварительной записи; избранная клиентура; применение но-

вого сократовского метода; избегайте мошенничества и подделок. И, само собой разумеется, гонорар повышается пропорционально роскоши окружающей обстановки.

Можете быть уверены, что Майкель Уэбб не сделал ошибки, допущенной Сократом. С самого начала он отказывался мыслить, не получая за это гонорара. Даже в часы, свободные от занятий в конторе, он не хотел мыслить для собственного развлечения, как это делают многие философы. По его мнению, то была пустая трата энергии; бессмысленно оставлять невыключенным мотор автомобиля, когда машина стоит в гараже.

По вечерам он часто сидел сложа руки в гостиной и рассеянно смотрел на веселый огонь в камине. Его жена, отрываясь от книги или рукоделия, спрашивала иногда:

— О чем ты думаешь, дорогой?

А он неизменно отвечал:

— Ни о чем не думаю... Я гонорара не получал.

2

Жену Майкеля Уэбба звали Эдит. Глаза у нее были не то серые, не то зеленые. Иногда они казались серыми, а иногда—зелеными или зеленовато-серыми. Волосы напоминали цветом светлую бронзу. Описывая ее наружность, люди прежде всего говорили о волосах ее и глазах.

Ее волосы с медным отливом и красивые серо-зеленые глаза запоминались всеми. Но когда вы ближе с ней знакомились, ваше внимание приковывалось не к волосам и глазам, а к душевным ее качествам... Она напоминала тех кротких женщин, о которых вам приходи-

лось слышать или читать,—женщин, прикладывающих холодную руку к вашему разгоряченному лбу. Всегда она была спокойна и сдержанна.

Мысли ее казались как бы закругленными, словно ее мозг был наделен мягкими, нежными руками. И иногда эти нежные руки сглаживали шероховатость идей Майкеля Уэбба. Прибегая к осторожным и тонким намекам, она удерживала его от слишком грубых насмешек и порицаний, доказывая ему, что они нелогичны, неубедительны и весьма часто несправедливы.

По этому поводу Майкель Уэбб размышлял немало и втайне остался доволен. «Было бы ужасно,—думал он,—если бы и муж и жена называли вещи своими именами.»

Обращаясь к прошлому, он представлял себе Эдит маленькой хрупкой девочкой, с двумя косичками цвета бронзы, болтающимися за спиной. Девочка отвечает урок и читает псалмы и пословицы: «кроткое слово отвращает гнев»... Такова была Эдит. Он не знал ее маленькой девочкой и потому давал волю фантазии... Хрупкая, изящная девочка с ясными глазами... Таких детей мы видим на эскизах Бутэ-де-Монвеля... Les filles gentilles et honnêtes.

3

Майкель Уэбб верил в себя и в свои силы, хотя в начале карьеры у него не было ни капитала, ни авторитета. Он открыл маленькую контору в одном из тех кварталов Нью-Йорка, где люди думать не привыкли. На двери появилась табличка с его фамилией. Ниже было начертано: «Поставка мыслей на день или на неделю».

Сначала дело шло неважно. Его клиентами были дураки, доведенные до отчаяния и покупавшие здравый смысл крохотными порциями, или люди, отравленные ядовитыми максимами. К нему они являлись в состоянии, граничивщем с безумием. Им нужно было срочно оказать первую помощь и не ждать благодарности. Один клиент был отравлен максимой: «Тот, кто хочет быть здоровым, богатым и мудрым, должен рано ложиться спать и рано вставать». Этот яд циркулировал в его крови в течение двадцати лет. Больного, которого столь опасное заблуждение довело чуть ли ни до летаргии, доставили к Майкелю друзья, но из конторы он вышел, повидимому, вполне здоровым. Впоследствии он начинал ругаться всякий раз, когда при нем произносили имя Майкеля; он даже грозил подать в суд на нашего героя за то, что тот лишил его веры в ядовитый афоризм.

Такого рода испытания были в высшей степени неприятны. Из всех интеллектуальных продуктов самым дешевым является здравый смысл; тот, кто им торгует, часто не имеет возможности окупить хотя бы себестоимость продукции. Вскоре Майкель Уэбб убедился, что крупное торговое предприятие не может процветать, если основным предметом торговли является здравый смысл. И клиентура оказалась неудачной: почти все клиенты оставались недовольны своими покупками и, выйдя из конторы, спешили отделаться от здравого смысла.

К здравому смыслу следует относиться, как к искусству, любить его ради него самого, как любят дети вырезывать из бумаги кукол. Он слишком прост, чтобы служить предметом торговли.

Арена человеческой деятельности изобилует тупиками и извилистыми тропами, где великие умы попадают в сети, из которых не имеют возможности выпутаться. И Майкель начинал подозревать, что он вступает на один из этих окольных путей. Он обнаружил, что какое-то невидимое течение все дальше относит его от богатства и славы.

О себе он думал, как о современном Дон-Кихоте, ломающем копья о ветряные мельницы, спасающем людей вопреки их собственному желанию и пускающемся в многословные философские рассуждения; эти рассуждения люди выслушивают со вздохом, чтобы тотчас же о них забыть.

И...

А между тем кто-нибудь другой соберет жатву...

После долгих размышлений он воспрянул духом и сделал то, что сделал бы на его месте любой из полнокровных героев коммерции и крепкоголовых капитанов от индустрии. Он взял быка судьбы за рога и далеко его отшвырнул.

В минуту просветления он понял, что, занимаясь коммерцией, не следует тревожить здравый смысл, и принял решение больше не торговать здравым смыслом и вообще не иметь с ним никакого дела.

В то время его окружала как бы аура суровой и непреклонной решимости и самообуздания; он походил на римского судью, который приговаривает к смерти своего собственного сына.

Тогда-то он и пришел к знаменательному решению, повлиявшему на всю его карьеру дельца.

Он решил торговать величайшей наглостью— самым изысканным и прибыльным продуктом.

Его решение было отнюдь не скороспелое, действовал он не под влиянием импульса или случайной вспышки энтузиазма; своей карьерой он не рисковал. В критические минуты жизни Майкель Уэбб сочетал осторожность с мудростью. Свое решение он принял после основательного изучения духовной жизни и привычек американского народа. Он обнаружил следующее: вряд ли что ценится так высоко, как наглость, а с другой стороны, вряд ли какой-нибудь другой продукт вырабатывается столь неумело.

Нужна ловкость, чтобы стать наглым, ибо Величайшая Наглость должна быть окутана юмором. Тогда только люди смогут ее проглотить, словно хинин, насыпанный в капсюлю.

В этот период своей жизни Майкель Уэбб был отнюдь не нагл, и ему предстояло изучить науку наглости. Он стал учеником, причем сам себя обучал и пользовался каждым удобным случаем, чтобы попрактиковаться в этом искусстве.

Старательно производя эксперименты, он обнаружил, что сумасбродные идеи, приправленные соусом фантастики и юмора, могут показаться весьма вкусным блюдом. Люди покорно проглатывают даже сплошную нелепицу, сдобренную смехом.

Это открытие он считал чрезвычайно ценным. Пожалуй, оно и в самом деле не лишено смысла, но ничего оригинального в нем нет. Много лет назад Джордж Бернард Шоу сделал то же открытие, а за сто лет до Шоу ту же теорию широко применял к жизни один француз, называвший себя Вольтером.

4

Овладев искусством Величайшей Наглости, Майкель Уэбб снял контору. Да, снова снял контору, но не ту, какую занимал раньше. Теперь его контора была роскошна, и помещалась она очень высоко, словно паря над городом дерзновенных исканий.

Но... один момент... Мы должны излагать события в хронологическом порядке.

Еще до открытия новой конторы Майкель Уэбб написал и издал монументальный трактат, озаглавленный «Как важно быть второсортным».

Это было произведение сатирическое, но автор с такой точностью проследил развитие практической американской мысли, столь ярко изобразил сокровенные помыслы честолюбивых граждан, что на сатирический характер книги никто не обратил внимания; сатиры не заметили— ее прозевали. Там, где она бросалась в глаза, читатели Майкеля усматривали лишь своеобразную остроту стиля.

Через короткий промежуток времени всеобщее внимание сосредоточилось на авторе книги «Как важно быть второсортным». Люди практичные сообразили, что появился, наконец, человек поистине великий, имевший право судить о поведении людей,—человек, который мог выбросить за окошко нелепый идеализм.

Майкель Уэбб подметил, как жестоко третирует жизнь людей талантливых и чутких, мужчин и женщин, преследующих высокие и благородные идеалы. Это наблюдение он положил в основу своей философии второсортности.

«Зачем быть талантливым и всеми ненавидимым?— говорит наш герой.—Зачем любить неблагодарное че-

ловечество? Зачем возносить на пьедестал великие идеалы, которые обречены погибнуть во прахе? Не лучше ли сразу стать второсортным, иметь в запасе хитроумные трюки, копить деньги и носить бриллианты?»

Книга была насыщена оптимизмом. Исключительная ее популярность объяснялась главным образом тем, что автор сообщал людям то, о чем они сами думали.

Столько говорилось в печати о трактате «Как важно быть второсортным», так тщательно анализировались крупными писателями изумительные выводы автора, что в настоящих строках было бы непростительно утруждать внимание читателя и излагать содержание этой книги.

Тем не менее не мошает здесь привести мнения лиц авторитетных, заинтересовавшихся этим замечательным литературным произведением.

Старлинг Хэч, редактор «Континентального Журнала», писал в одной из своих хлестких, задорных передовиц:

«Слушайте, люди энергичные и честолюбивые! Сейчас я вам предложу нечто заслуживающее особого внимания. Вот книга «Как важно быть второсортным», написанная Майкелем Уэббом. Я хочу, чтобы вы ее прочли. Заглавие претенциозное, скажете вы? Ну, так знайте, что в этой книге нет ни одной претенциозной фразы! Автор не знает манерных жестов. Этого вам бояться нечего.

«Книга, написанная честным человеком для блага ближних. Майкель Уэбб припирает вас к стенке и приводит неопровержимые доказательства. Он вам объясняет, почему человек должен стать второсортным, если хочет добиться успеха. И это затрогивает лично вас! Мало того—он дает указания, как сделаться второсортным!

Гадать вам не приходится; он отвечает на все ваши «как» и «почему».

«Вы, что́ метите в администраторы крупных предприятий,—вам не добиться этого поста, если вы не прочтете «Как важно быть второсортным»! А дочитав до конца, начинайте снова, с первой страницы.

«Выучите эту книгу наизусть!

«Едва ли не каждый может стать второсортным. Для этого вам даже не нужно кончать колледж.»

5

Все это прекрасно, но послушайте-ка профессора Джельспара, знаменитого социолога. О профессоре Джельспаре говорят, что «он может нырнуть глубже, пробыть под водой дольше и выбраться на берег ловчее, чем любой профессор американского университета».

«Характернейшие для м-ра Уэбба рассуждения,—пишет профессор в своей интересной критической статье,— мы находим в главе, носящей несколько туманное название: «Как примириться с судьбой, если обстоятельства вам не благоприятствуют?»

«В этой главе м-р Уэбб с прозорливостью ума зрелого и практичного намечает линию поведения, необходимую для того, чтобы вы чувствовали себя удовлетворенным (в тех случаях, когда нет никаких оснований быть довольным собой).

«Его анализ всегда глубок. Его рассуждения всегда телеологичны. Несомненно, он находится под влиянием Гегеля, что особенно сказывается в той части, где м-р Уэбб касается вопроса о феноменологии духа.

«В общем эта книга является продуктом ума высокого

и практичного, но критик не может не отметить некоторых недостатков. Vitus nemo sine nascitur!

«Одним из ее недостатков является неуместная шутливость, возникшая, несомненно, вследствие печальной тенденции автора прибегать к юмору, дабы в наиболее легкой форме подать читателю проблему великой важности.»

Прекрасный отзыв, несмотря на то, что статья заканчивается едкой придиркой критика!

Сенатор Лимэн, Демосфен Среднего Запада, более чистосердечно высказал свое одобрение. Его замечания менее глубокомысленны, чем анализ профессора Джельспара, но зато бьют в самую точку.

На собрании фабрикантов лака и масляных красок сенатор произнес речь на тему «Американские идеалы» и характеризовал книгу «Как важно быть второсортным». Приводим отрывок из его речи:

«Меньше всего склонен я умалять значение литературы. Подобно тому, как женщина—прекраснейшее творение божие—должна быть спутницей мужчины, его помощницей и утешительницей, так литература и искусство даны нам для того, чтобы развлекать нас в часы досуга, пробуждать в человеческом сердце чувства высокие и благородные, дарить отдых после серьезной дневной работы.

«Вряд ли кто относится к литературе с бóльшим уважением, чем я. Вряд ли кто с бóльшей радостью возложит лавровый венок на чело гения.

«Не допустим, чтобы рука вандала коснулась увитого гирляндами храма поэзии! Не допустим, чтобы дерзновенный хулитель оскорбил Клио, суровую музу истории, восседающую на троне в мавзолее славного прошлого!»

(Одобрительные возгласы.)

«Но трактат «Как важно быть второсортным»—не только литература,—это нечто большее. И не простая книга! Это—голос эпохи, обращающейся не только к живым людям, но и к поколениям еще не родившимся.

«Устами одного человека говорит нация, как некогда бог говорил устами младенцев. Дадим же клятву перед лицом этого национального пророка стать отныне второсортными! Ибо быть второсортным, значит выявлять в практической жизни самую сущность демократии.»

(Аплодисменты.)

«Что же касается меня, то я чистосердечно могу признаться—и готов это подтвердить перед властителями моей судьбы—перед избирателями моего штата,—что я являюсь человеком второсортным, всегда им был и всегда им буду.

«Мои политические враги, защитники вульгарных интересов, эгоисты, грабители, наемники желтой прессы,—эти люди не остановились перед клеветой, перед искажением фактов и гнусным злословием. Но даже и они не посмели оспаривать мою второсортность!

«Да, друзья мои, есть бог на небе и есть вечная истина, и этого не могут отрицать даже самые подлые субъекты!»

(Громкие аплодисменты.)

«Великую книгу Майкеля Уэбба можно сравнить с пером, которое обронил парящий орел.

«Пока солнце сияет на синем небе и заливает светом эту свободную и плодородную страну, книга «Как важно быть второсортным» не перестанет волновать умы и сердца и пробуждать энергию людей.»

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Снова открыв контору, Майкель Уэбб разослал циркуляр представителям финансовой аристократии. Результат был поразительный.

Подобно многим рекламам, циркуляр начинался с вопроса наглого и эпатантного:

«Чего у вас больше — денег или мозгов?»

В таком дерзко-дружелюбном тоне выдержано было все послание. Говорилось о том, что если денег у вас больше, чем мозгов, то вы должны, во что бы то ни стало, заглянуть в контору Майкеля Уэбба; там будут за вас думать, а вам остается только договориться об условиях.

Это предприятие увенчалось блестящим успехом. Контора Майкеля была битком набита хорошо одетыми клиентами; секретари назначали дни консультаций; случалось, что советы давались заочно. Все это может показаться удивительным, если мы не учтем того, в каком состоянии находились господствующие классы в начале двадцатых годов нашего века.

Интеллектуальная жизнь состоятельных классов едва тлела; оскудение духовное привело к анемии эстетиче-

ской и полному упадку морали. Кое-где на павианов взирали с восхищением и завистью. Люди с тусклыми глазами, увязшие в духовной тине, перелистывали день за днем свои чековые книжки и тщетно пытались с помощью этих нелепых клочков бумаги противостоять натиску сил экономических и социальных.

Не удивительно, что они бросились к Майкелю Уэббу! Они готовы были иметь дело с каждым, кто бы предложил за деньги снабжать их мыслями.

Люди, которые в течение всей своей жизни ни о чем не думали, имели теперь возможность щегольнуть идеями. В распоряжении Майкеля был многочисленный штат служащих. Открылись отделения в Цинциннати, Чикаго и Лос Анджелосе. Нихоласс Мюррэй Бётлер, страж духовной жизни Америки, финансировал предприятие Майкеля Уэбба.

Внимание всей Америки сосредоточилось на этом предприятии; заинтересовалось им даже брюзгливое общество «Долой мысль». Эта ассоциация готова была скрестить оружие с Майкелем на том основании, что Майкель несет гибель американским идеалам. Выяснилось, однако, что многие патроны Майкеля Уэбба являются в то же время членами общества «Долой мысль», и потому недоразумение было улажено.

Были у Майкеля и кой-какие затруднения; так, например, его клиенты находили, что он думает слишком быстро, а консультации отнимают слишком мало времени. Вначале кой-кому казалось, что они переплачивают. Многие чувствовали себя так, словно их все время торопят и понукают; при такой спешке они едва могли устоять на ногах. Клиенты привыкли к более деликатному обращению.

От этого недостатка Майкель вскоре избавился и приучился говорить медленно. Когда ему задавали самый простой вопрос, он задумчиво поглаживал рукой подбородок и выжидал, раньше чем ответить. Ему даже пришла в голову мысль отрастить длинную бороду, но, поразмыслив, он решил, что можно обойтись и без бороды.

Предприятие так разрослось, что одному человеку не под силу было им руководить, и Майкель сделал жест, достойный Наполеона,—организовал «Мыслящую корпорацию Америки.»

Когда акции новой компании были брошены на рынок, газеты отметили, что публика приняла их с энтузиазмом... Акции быстро раскупались... Миллионы акций.

Проспект компании был составлен блестяще. Доводилось до сведения публики, что компания не только поставляет мысли «на день или на неделю», но и готова снабжать клиентов идеями, заимствованными у великих людей.

Допустим, вы хотите подражать историку Гиббону. В таком случае компания охотно познакомит вас с исторической перспективой и латинской культурой и научит говорить и писать в стиле Гиббона. После этого вы приступите к писанию исторического трактата и можете быть уверены, что ваши читатели признают вас не имитатором, но учеником Гиббона, унаследовавшим его стиль.

Скажем, далее, вы предпочитаете мысли Ринга Ларднера,—мысли легкие и веселые. Ну, что ж, компания придет вам на помощь... Вы даже можете купить умственный багаж Фрэнка Мёнсэя и отныне произносить глубокомысленные, своеобразно построенные фразы.

Что же касается материального благополучия, то, по

мнению Майкеля, он сделал все, чего можно требовать от человека. «Мыслящая корпорация Америки» была поставлена на рельсы, загребала деньги и работала лихорадочно и бестолково, подобно всем крупным предприятиям.

Через некоторое время Майкель Уэбб решил удалиться от дел... Было ему только сорок лет, и тем не менее он отказался от своего поста, продал свои акции и уехал, напутствуемый наилучшими пожеланиями.

2

Подобно очень многим людям, которые работали упорно и энергично, Майкель Уэбб воображал, что счастье можно обрести, лишь прогуливаясь по тропе праздности, а неувядаемую радость дарит нам только безделие. Разочарование не заставило себя ждать.

Быть может, на свете нет ничего более раздражающего, чем невозможность использовать праздные мысли. Представьте себе такую картину: штук двадцать или тридцать неугомонных ирландских терьеров бегают по всему дому, кладут лапы на стол, хватают людей за ляжки, заливаются лаем в ванной, рвут газеты, охотятся за курами, тащат съестное из кухни. Теперь представьте себе вместо этих терьеров мысли человеческие, и вы поймете, что̀ происходило в голове Майкеля Уэбба. Чтобы убить время, он снова стал изучать искусство здравого смысла и прежде всего постарался избавиться от всех интеллектуальных фетишей.

Культ здравого смысла далеко не так прост, как кажется, хотя на товарном рынке здравый смысл расценивается низко. Положение Майкеля было в высшей сте-

пени затруднительным, ибо он слишком долго находился в контакте с представителями финансового мира и утратил чуть ли не последнюю крошку здравого смысла. Впрочем, Майкель имел возможность практиковаться в этом искусстве, сколько его душе было угодно, ибо в дом его в Нью-Йорке стекались интеллектуальные люди и прочие фантазеры.

Людей он любил и всегда был ими окружен. Он любил книги и идеи, но меньше, чем людей. Однажды он сделал открытие: идея не имеет самостоятельного бытия. Мало того: мы не можем понять идею во всей ее полноте, если не исследуем ее происхождения и роста. Вот почему так называемые историки ограничиваются нагромождением голых и мертвых фактов. Идею порождают обстоятельства, а человеческий интеллект играет роль неведомого фактора. Идея живет и растет в человеке, как дерево, посаженное в землю.

Каждый год, весной и летом, Майкель Уэбб проводил четыре или пять месяцев в гостинице «Горное Эхо», расположенной среди Коннектикутских холмов, неподалеку от деревни Старый Хэмпден.

Своей собственной виллы он не имел и предпочитал останавливаться в гостинице, ибо здесь он встречался с самыми разнообразными людьми. Все случайное его привлекало, а встречи в гостинице почти всегда бывали случайными.

Там, где появляется философ, обычно завязываются бесконечные разговоры,—если этот философ не принадлежит к категории мудрецов, которые большей частью ворчат и любят жить в неудобных пещерах. Майкель был философом, но не мудрецом, и в гостинице «Горное Эхо» люди спорили с воодушевлением.

Те, что обычно проводят лето в загородных отелях, почти никогда не посещали гостиницы «Горное Эхо». Здесь не было усталых фабрикантов кофе, которые, прикрыв лицо воскресным номером газеты, дремлют в гамаках; не видно было и старых дев, молчаливо подавивших томление плоти и агонизирующих над рукоделием; не было никаких толстых мамаш и людей вялых и брюзгливых.

Очень многие из тех, что приезжали в «Горное Эхо», столько видели на своем веку, столько прочли и столько планов привели в исполнение, что были как бы ошеломлены бесконечным разнообразием жизни и только об этом и могли говорить. Либо они ощущали такую усталость и скуку, что по целым часам толковали со всеми, кто соглашался их слушать, о том, как они устали и как им скучно.

Гостиница была невелика. Жить в ней могли только двадцать шесть человек, но этого было вполне достаточно.

С течением времени Майкель, изучавший здравый смысл, привык практиковаться на обитателях гостиницы и на тех, что жили по соседству; так молодой врач, приготовляя микстуры и препараты, практикуется на членах своей собственной семьи.

3

Любопытен случай с Вильямом Бриллем, жившим по соседству. Этот здоровый, голубоглазый, развязный юноша часто приходил в гостиницу «Горное Эхо» поиграть в теннис на прекрасном корте.

Повидимому, Вильям Брилль смотрел на Майкеля, как

на глубокого старца, и долгое время Майкель не понимал, притворяется ли юноша или и в самом деле считает сорок два года почтенным возрастом.

Обутый в теннисные туфли без каблуков, Вильям входил во двор и, размахивая над головой ракетой, кричал Майкелю, сидящему на веранде:

— А, здравствуйте! Ну, как себя чувствует сегодня великий философ?

Майкель, наклонившись вперед, прикладывал правую руку к уху и нетвердым старческим голосом говорил:

— А? Что? Н-не с-слышу.

Вильям повышал голос, и Майкель обычно отвечал, что чувствует себя недурно, вот только поясницу ломит, и ревматизм одолел! В присутствии Вильяма Брилля он часто бродил, опираясь на палку и волоча ноги. Ему нравилось играть, ибо в душе его таились семена нерожденных поэм. Поэмы, обреченные не увидеть света, препятствуют людям стать взрослыми, и человек до конца дней своих остается ребенком.

Вильям Брилль был так красив и так жизнерадостен, что умные молодые женщины, часто останавливавшиеся в гостинице, дорожили его обществом, хотя он сам был отнюдь не умен... Майкель, который хорошо знал людей, чувствовал, что жизнерадостность Вильяма объясняется только его молодостью. В этом смеющемся молодом человеке были заложены семена грубости и жестокости, и достаточно было лишь слегка удобрить почву, чтобы семена проросли. Но на отношение Майкеля к Вильяму эти соображения нисколько не повлияли.... Нужно принимать человека таким, каков он есть.

Когда Вильям Брилль играл в теннис, юные леди испытывали какую-то волнующую радость. В этом они

бы не признались даже самим себе, но Майкель замечал, что в присутствии Вильяма Брилля молодые леди склонны были к болтливости, повышались их звонкие голоса, а на щеках выступал яркий румянец. Вильям был словно окутан сексуальной аурой; когда такой человек входил в комнату, женщины вспоминают об Эросе.

Однажды Майкель вошел в свой кабинет, находившийся во втором этаже, подсел к столу и, занятый своими мыслями, раскрыл книгу; тогда только заметил он Вильяма Брилля, сидевшего в углу. Вильям молчал и, рассеянно помахивая ракетой, смотрел на Майкеля Уэбба; вид у него был хмурый, и Майкель невольно представил себе человека, посаженного в бутылку, которую кто-то наполняет меланхолией.

— Ну-с, молодой человек...—весело заговорил Майкель, забыв о своей роли восьмидесятилетнего старца.

— М-р Уэбб,—начал Вильям с несвойственной ему серьезностью,—мне нужно с вами поговорить... Я думал....

Он замялся и на секунду умолк.

— Вопрос очень серьезный... т. е. я хочу сказать, что для меня он очень серьезен... Вот я и решил поговорить с вами... попросить у вас совета. Мне бы не хотелось злоупотреблять вашей любезностью, но я слыхал, что вы снабжаете людей здравым смыслом... И я хочу получить хоть немного здравого смысла, если это вас не...

— Нет, нет, нисколько, Вильям,— поспешил успокоить его Майкель.— Здравым смыслом я снабжаю только своих друзей, но вас я, конечно, считаю другом. Выкладывайте все, что у вас на уме. Но не просите у меня глу-

бокомысленных рассуждений; за них я всегда требую платы.

— О, нет, м-р Уэбб,— ответил молодой человек,— никаких глубокомысленных рассуждений мне не нужно; в сущности я не знаю даже, что это такое. Я прошу у вас хоть крупицу самого обыкновенного здравого смысла.

— Отлично,— ободрил его Майкель,— с такими просьбами ко мне не раз обращались.

— Да, должно быть,— согласился Вильям,— но видите ли, если случается о чем-нибудь подумать, я всегда впадаю в уныние, и...

— Не падайте духом... Вряд ли вы вынуждены будете предаваться размышлениям.

Майкель взял папиросу из серебряного ящика и протянул ящик своему гостю:

— Курить хотите?

— Да, благодарю вас. Положение дел таково: мне двадцать один год, я получил образование—окончил колледж. Теперь я должен завоевать себе положение, найти работу. Вот я и подумал: вы, человек опытный, можете посоветовать, как мне за это дело взяться.

Майкель улыбнулся.

— И это все?— заметил он.— Да ведь для такого здорового молодца, как вы, работы сколько угодно.

— Дело в сущности не в этом,— прервал его Вильям. Простите, м-р Уэбб, что я вас перебиваю. Конечно, работу я могу получить. На-днях м-р Блекфорд из деревни Старый Хэмпден предложил мне место в своей конторе по продаже недвижимого имущества. А мой дядя, мировой судья в Уинстэде, хочет, чтобы я по-

шел по юридической части. Но хорошим юристом я никогда не сделаюсь.

Он снова приостановился и задумался; вид у него был страдальческий.

— Дело вот в чем: мне нужно такое место, где бы я мог заработать много денег в короткий срок... ну, скажем, в два года... Эта мысль не дает мне покоя... Очень много денег. А ведь обычно работа оплачивается плохо, и нужно работать много лет, чтобы продвинуться.

— О, понимаю,— сухо сказал Майкель. Он задумчиво потирал правой рукой подбородок; эта привычка сохранилась у него с тех пор, как он работал в «Мыслящей Корпорации».—Мы должны разрешить проблему быстрого обогащения. Но к чему такая спешка, Вильям?

Молодой человек секунду помолчал.

— Я вам объясню, м-р Уэбб,—сказал он с необычной для него торжественностью.— Я должен помогать матери и сестрам. Быть может, вам известно, как обстоит дело. Ведь мы—люди небогатые. Не знаю, известно ли это вам?

Майкель кивнул головой. Ему это было хорошо известно. Уэббы были знакомы с матерью Вильяма—увядшей нервной вдовой, измученной будничными заботами и нуждой.

— Большого труда ей стоило поместить меня в колледж, и иногда мне становится стыдно при мысли, как долго я учился. Только этим летом я узнал, что наша земля заложена и матери пришлось делать долги, чтобы платить за меня в колледж. Теперь вы понимаете, м-р Уэбб, каково мое положение. Деньги—великая сила, быть может, вы знаете, что должен делать молодой

человек, который хочет быстро разбогатеть? Я было подумал о спекуляции, об Уолл-стрит. Как вы думаете, могу я таким путем нажить состояние?

Через секунду он добавил сконфуженным тоном:

— Конечно, я понятия не имею о биржевых сделках, но могу научиться.

— Нет,— ответил Майкель,— на вашем месте я бы этого делать не стал.

— Хорошо, не буду,— поспешил согласиться покорный Вильям.— Но что же вы мне посоветуете, сэр?

— Мы этот вопрос обсудим и что-нибудь придумаем, Вильям,— сказал философ, небрежно затягиваясь папиросой.— Посмотрим, к чему у вас есть способности. Какие таланты проявились у вас, когда вы были в колледже?

— Никаких,— откровенно признался честолюбивый молодой человек.

— Ну, а чем вы любите заниматься? Ведь есть же у вас какой-нибудь талант!

У Вильяма вид был испуганный. Он выпрямился и погрузился в размышления, а Майкель понял, что этому молодому человеку еще ни разу не приходилось размышлять о своих талантах и способностях.

— Никакого таланта у меня нет,— медленно произнес он наконец.— Ни одного таланта, м-р Уэбб! Приходится говорить откровенно.

— Пустяки, Вильям, не может этого быть,— возразил Майкель.— Наверное, вы хоть что-нибудь умеете делать.

— Нет, сэр, решительно ничего.

— Ну, знаете ли, это совершенно исключительный случай. Я ни разу не встречал человека, который бы

не считал себя специалистом в какой-нибудь области... Послушайте... конечно, вы заблуждаетесь! Вы хорошо играете в теннис и прекрасно танцуете...

Унылая физиономия Вильяма осветилась улыбкой.

— Ну, еще бы! На это я мастер. Я не знал, что вы шутите... Но право же, м-р Уэбб, для меня это вопрос чрезвычайно серьезный.

— Понимаю. Я тоже говорю совершенно серьезно. Кроме того, я заметил, что вы пользуетесь успехом у женщин.

«Шутки... неуместные шутки...»—Так думал Вильям, слушая Майкеля. В ответ он только усмехнулся при упоминании о женщинах.

— Мать хочет,—продолжал он,—чтобы я поступил в банк. Не в маленький банк, вроде здешнего деревенского, но в большой нью-йоркский, где есть возможность продвинуться.

— Понимаю. Ну а вы как не это дело смотрите?

— Сказать по правде, м-р Уэбб, мне это не нравится. Вопервых, меня не привлекает работа клерка, а вовторых... видите ли, служить в банке не так уж плохо, но ведь мне придется начинать с низших должностей, и одному богу известно, когда я выдвинусь.

Майкель покачал головой и вздохнул.

— Да, сказал он,—это не годится. Не имеет смысла начинать с низших должностей... Но ведь вы бы ничего не имели против банковских операций, если бы могли сразу занять высокий пост?

— Ну, еще бы! Но ведь об этом и речи быть не может. Никто меня не назначит директором банка.

— Ну, это еще неизвестно,—ободрил его Майкель.— Разные бывают пути и средства.

— Я ничего не смыслю в банковских операциях, м-р Уэбб, решительно ничего!

Через секунду он добавил:

— Мне кажется, это интересное дело.

Майкель улыбнулся и посмотрел на своего гостя. «Красивый профиль,—подумал он.—Здоровый сильный юноша. Пожалуй, он может сделать блестящую карьеру в кино. Белокурый герой... смельчак... прыгает через пропасти... спасает девушек... Нет, занимаясь этой профессией, разбогатеешь нескоро... Кроме того, это рискованно: он может потерпеть неудачу... Ага! Нашел!» И Майкель с такой силой ударил кулаком по столу, что Вильям подскочил на стуле.

— Вильям, слыхали ли вы когда-нибудь о почтенном китайском философе Каи-Лунге?

Вильям Брилль стал припоминать, уставившись в потолок.

— Нет, сэр,—сказал он, наконец,—кажется, не слыхал. В коллэдже мы проходили Аристотеля и... и... еще кого-то... ах, да!.. Локка. Аристотеля и Локка.

— А я говорю о Каи-Лунге. Его мудрые изречения собраны в книге, озаглавленной «Золотые часы Каи-Лунга». Мне кажется, один из его афоризмов можно применить к данному случаю. Каи-Лунг говорит: «Только одни ворота открыты в Шен-Фее, но много дорог ведет к этим воротам». Говоря простыми словами: если человек имеет в виду какую-нибудь цель,—есть много способов ее достигнуть.

— Да, сэр,—согласился озадаченный Вильям.

— Мы обсуждаем вопрос, как вам быстро разбогатеть. Вот наша конечная цель, не так ли?

— Совершенно верно,—подтвердил Вильям.

— И мы должны нащупать правильный метод, дабы в самом непродолжительном времени достичь цели. При этом следует принять во внимание ваши индивидуальные особенности.

Майкель приостановился и неожиданно спросил:

— Кстати, вы умеете управлять автомобилем?

— О, да, конечно... Я прекрасно справляюсь с машиной,—заявил Вильям.

— Отлично,—сказал Майкель.—А теперь запомните, мой мальчик: все зависит от вас. Решительно все! Все мы строим свою жизнь... каждый из нас... хотя я и могу вам сказать, что нужно делать, но мой совет ничего не стоит, если вы окажетесь неспособны ему следовать. И...

— О, конечно! Я понимаю, м-р Уэбб. Я буду стараться.

— Отлично,—отозвался философ. Мой совет: сделайтесь шофером.

У молодого человека вытянулась физиономия.

— Шофером!—заикаясь, повторил он.—Чорт возьми! Да ведь шоферы зарабатывают очень мало. Я...

Очевидно, он был глубоко разочарован.

— А, понимаю!—воскликнул он через секунду.—Вы хотите, чтобы я начал с шофера, а затем вошел в какое-нибудь автомобильное дело!

— Нет, не беритесь за автомобильное дело,—возразил Майкель.—Получите место шофера в самой богатой семье, какую только можно найти. Но не забудьте, что в этой семье должна быть дочь—красивая, жизнерадостная и незамужняя. Раньше, чем поступить на место, вы должны навести справки... А затем положитесь на волю судьбы.

Вильям был не так туп, как большинство красивых молодых людей. В разговоре с Майкелем он, казалось, соображал туго, но это объясняется тем, что он стеснялся открывать великому философу свои планы. Предложение Майкеля он понял моментально и громко захохотал.

— Хо-хо-хо! Вот это здорово, м-р Уэбб! Я вас понял. Стать шофером и жениться на дочери хозяина.

— Вот именно,—подтвердил Майкель, вставая из-за стола и опираясь на палку.—Вот именно.

— Но, послушайте, мне не очень-то хочется продавать себя.

У Вильяма вид был обиженный, словно он вспомнил, наконец, о чувстве собственного достоинства.

— У меня есть гордость!

— Продавать себя! Да разве вы себя не продаете, когда поступаете в банк или в железнодорожную контору? Не говорите глупости, мой мальчик... Конечно, вы будете влюблены в девушку, когда вы на ней женитесь. Ну, еще бы! Здоровый молодой человек может моментально влюбиться в каждую хорошенькую девушку.

У Вильяма засверкали глаза. Идея показалась ему ослепительной, и он, словно зачарованный, тщательно ее обдумывал.

— Мне кажется, человек может понастоящему любить богатую девушку... точно так же, как любил бы бедную?—осведомился он.

— Конечно,—лаконично ответил Майкель и, взяв шляпу, направился к выходу.

— Послушайте, м-р Уэбб,—продолжал молодой человек, следуя за Майкелем,—представится ли мне случай

заговорить с девушкой? Ведь на шоферов не обращают внимания.

Майкель взглянул на юношу и горестно покачал головой.

— Вильям, Вильям, не глупите!—укоризненно произнес он.—Можно ли задавать такие вопросы? Если такой красивый молодой человек, как вы, не может познакомиться с девушкой, у которой служит шофером, ему остается только умереть... Спасите ее от бродяги, свирепого бродяги! Вот один из способов.

— Эх, бродяги теперь ни на кого не нападают,— возразил циник Вильям.

— Неужели? Боюсь, что вы не в курсе дела. В кино тысячи девушек ежедневно подвергаются нападению бродяг... Но вам даже этого не нужно. Вы можете повезти ее одну на прогулку, и где-нибудь в пустынной местности, в пяти милях от человеческого жилья, мотор откажется работать. Но выберите для такой прогулки ясный день...—И Майкель предостерегающе поднял палец...—ясный день, когда на небе сияет солнце, а ветерок колышет траву... Но напрасно я это говорю. Почтенный мудрец, Каи-Лунг, которого я только что цитировал...

— Да, Каи-Лунг...—прошептал Вильям.

— Каи-Лунг сказал, что «однажды лягушка повредила себе голосовые связки, стараясь научить орла искусству летать». В данном случае, когда речь зашла о том, как познакомиться с юной леди, уважаемой дочерью вашего будущего хозяина, лягушкой являюсь я, а вы— орел.

— Благодарю вас, сэр,—любезно ответил Вильям.

Результаты этой беседы оказались в высшей степени

удовлетворительными. В течение года Майкель не видел Вильяма Брилля и слышал о нем только от его матери и сестер. Как-то утром, просматривая нью-йоркские газеты, Майкель прочел о переполохе, имевшем место в Туксидо, в колонии миллионеров. Скандал был вызван тем, что дочь крупного банкира Пempля вышла замуж за шофера своего отца.

Газеты утверждали, что то был настоящий брак по любви, и девушка убежала из родительского дома.

М-с Пемпль, мать новобрачной, сидела, увешанная бриллиантами, в кресле обитом роскошной материей, и заливалась слезами; горничная подавала ей нюхательную соль.

— Этот человек имел какую-то странную власть над моей дочерью,—рыдая, говорила она выстроившимся перед ней репортерам.—Кажется, она даже имени его не знала. Нет, Мод слишком хорошо воспитана и не способна на такую выходку. Несомненно, он ее загипнотизировал!

4

Мод Пемпль—а теперь м-с Вильям Брилль—прекрасно владела собой и была великолепно настроена, когда репортеры явились к ней в отель Ритц, где она занимала шесть комнат. Мод курила папиросу и занималась примеркой туфель. Приказчик из обувного магазина достал из чемодана пятнадцать пар туфель с серебряными пряжками и на высоких каблуках.

— Мы—Милли и я—решили пожениться, вот и все,—объяснила она.—Послушайте, что это такое поваше-му—новое орудие пытки?—Эти слова относились к тер-

пеливому приказчику, стоявшему перед ней на коленях.—Я все же хочу иметь возможность двигаться...

— Но ваша мать говорит, что вы были загипнотизированы,—объявили репортеры.

— Пожалуй, она права,—сказала молодая м-с Брилль, выпуская колечками дым.—Я чуть не впала в гипнотическое состояние от скуки и однообразия нашей жизни. Мне кажется, Билли—единственный настоящий мужчина из всех, кого мне приходилось встречать.

5

— Имя Пемплей не должно быть втоптано в грязь подобным мезальянсом,—заявил в своем клубе на Пятой Авеню Фредерик Пемпль, дядя новобрачной.

Его прадед, который заложил фундамент пемплевским миллионам, некогда продавал виски индейцам, вернее—обменивал виски на меха. Он был женат на сквау, и по сей день Пемпли утверждают, что в них течет кровь индейской принцессы.

6

— Она поступила посвоему и пусть за это расплачивается,—сказал отец Мод, мрачный человек, писавший в газеты письма о правах собственников и об упадке нравственности. Он имел обыкновение говорить высокопарными фразами, словно повитуха, присутствующая при рождении разума.

— Иными словами—вы хотите от нее отречься?

М-р Пемпль ответил уклончиво:

— Если дочь захочет меня видеть, я ей не смогу

отказать, но я не допущу, чтобы этот человек переступил порог моего дома.

Эти слова звучали грозно, предвещая лишения наследства, нищету и прочее, и прочее...

Но вскоре газеты узнали, что у новобрачной есть отдельный капитал—пять миллионов долларов, а кроме того, она получает ежегодно двести тысяч долларов с капитала, завещанного ей бабушкой.

— Они меня не запугают,—сказал молодой Вильям Брилль, когда ему сообщили, что Пемпли отказываются признать его своим зятем.—Пока я здоров,—я сам себе господин. Ради женщины, которую я люблю, я готов исполнять любую черную работу, лишь бы это был честный труд. Я могу содержать свою жену. Любовь в коттэдже... это не так уж плохо, не правда ли, моя куколка?

И он посмотрел на сияющую м-с Брилль.

— Конечно, цыпочка!—ответила та, нимало не стесняясь репортеров.—Я умею печь чудесные оладьи!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Затем в дело вмешалось нью-йоркское «Обозрение». Эта солидная газета считает сенсацию синонимом новостей. Специальность ее—возбуждать интерес в публике, а в мире она не видит ничего, кроме вожделений, окрашенных эмоциями. «Обозрение» положило начало новой эре. До возникновения этой газеты желтую прессу рассматривали, как нечто позорное. Теперь желтая пресса—одно из изящных искусств.

«Обозрение» послало в Старый Хэмпден блестящего репортера, Сэмуэля Харлея, которому поручено было собрать сведения о Вильяме Брилле. Впоследствии Харлей стал редактором воскресного журнала при газете «Обозрение».

Бродя по тихой деревне, Сэмуэль Харлей походил на человека, упавшего с неба. Обитатели Старого Хэмпдена лишь смутно помнили Вильяма Брилля, энергичного, атлетически сложенного юношу, который любил при случае пошутить, очень недурно умел свистеть, но других способностей не проявлял.

В течение двухсот лет деревня мирно дремала в долине, заросшей вязами, и кленами, и ей и в голову не

приходило встать, зевнуть и потянуться. Живописное местечко! Издали новоанглийские коттэджи напоминали кубики белого и желтого сыра в чаше с салатом.

В ответ на вопрос Харлея, где живет м-с Брилль, жители жестикулировали или давали многословные и туманные указания. Часа два блуждал он по фиалетовым холмам матери-земли, пока случайно не наткнулся на гостиницу «Горное Эхо». Здесь он нашел Майкеля Уэбба, сидящего на террасе и перочинным ножом вырезывающего из бамбука свистульку для Томми Уэбба, которому в ту пору было пять лет.

Сэмуэль Харлей назвал свое имя и устало начал стирать с лица пыль и пот; полотняный носовой платок он достал из кармана и развернул с такой осторожностью, словно извлекал какую-то драгоценность. Он был человек аккуратный, а аккуратные люди не любят блуждать по проселочным дорогам.

— Пожалуй, я рад, что заблудился,—сказал он наконец, хотя чувствовал себя не в своей тарелке,—раз благодаря этому мне посчастливилось познакомиться с вами, м-р Уэбб.

Он привык думать фразами, напоминающими газетные заголовки, и в голове у него уже мелькали слова: «Известный философ говорит»... Но закончить фразу он не успел.

— Пожалуйста, садитесь,—вежливо предложил Майкель Уэбб.—Не хотите ли лимонаду или чаю?

— Очень вам благодарен, вы так любезны,—пробормотал Харлей.—Пожалуй, я бы выпил чего-нибудь холодного—воды или лимонаду. А я и не подозревал о существовании этой гостиницы...

— О, гостиница невелика, и ее мало кто знает!

— Местоположение прекрасное,— продолжал Харлей.— Она прячется здесь, среди холмов. Этот длинный дом оригинален; все окна разной величины и формы.— Он поднял голову и окинул взглядом темную крышу, дымовые трубы и воркующих голубей.— Какие развесистые деревья! И подступают они к самому дому...

— А вот и лимонад!— перебил Майкель.— И Гюс идет к нам... Вы непременно должны познакомиться с Гюсом.

Харлей увидел очень толстого, массивного человека. Казалось, природа обрекла его быть толстяком и, имея в виду эту цель, вылепила его фигуру. У Гюса были огромные руки и ноги, широкие плечи и добродушная, круглая, ребяческая физиономия толстяка.

— Кто это—Гюс?—прошептал Харлей.

— Папа, папа!—закричал Томми Уэбб.—Можно мне лимонаду?

— Это наш хозяин... Да, можешь налить себе лимонаду... Владелец гостиницы...

— Папа, можно мне положить кусок льду в стакан?

— Нет, нет... льду нельзя!.. Это Гюс Бюфорд, вернее—Август Бюфорд, который... Нет, малыш, довольствуйся одним лимонадом...

2

М-р Бюфорд говорил хриплым голосом, словно горло у него было устлано мехом. Он выразил свое удовольствие по поводу знакомства с м-ром Харлеем; когда-то он сам работал в газете. Быть может, м-р Харлей помнит ресторан Бюфорда в Вашингтоне? Да, он был

владельцем этого ресторана. А не хочет ли м-р Харлей осмотреть дом?

— С величайшим удовольствием,—ответил Харлей, допивая свой лимонад.

— В таком случае идемте...

Двое мужчин и Томми, следуя за толстяком, вошли в дом.

— Это гостиная,— говорил хриплым голосом.— Как видите, я забочусь о комфорте... кресла, подушки, пепельницы...

Гостиная была очень велика. Харлей с удивлением посматривал на удобную мебель, прекрасные ковры и картины. Он думал, что в деревенской гостинице украшением комнат служат сувениры вроде морских раковин и литографии, на которых изображены Скалистые горы.

На первой площадке лестницы м-р Бюфорд приостановился.

— М-р Харлей,—прохрипел он,—женщины были проклятием моей жизни... В течение многих лет я бесновался... женщины сводили меня с ума...

— У него очаровательная жена,—сказал Майкель.

— Так было до тех пор, пока мне не перевалило за тридцать,—продолжал толстяк.—Сейчас мне сорок лет. Да, из-за женщин я бесновался.

— Печально,—заметил Харлей.

Очки в золотой оправе делали его непроницаемым.

— Да, сэр... Мне нравилось все, что имело отношение к женщинам. Иногда я простаивал час... нет, пожалуй, не так долго... десять минут перед витриной и разглядывал розовые шелковые рубашки и прочие принадлежности дамского туалета.

— И мысленно наряжал в них женщин,—подсказал Майкель.—Томми, сынок, беги на лужайку и там поиграй!

— Не пойду,—категорически отказался Томми.—У Китти Болэнд есть розовая ночная рубашка с карманами. Я сам видел, когда она уложила меня к себе в постель.

Голос у него был пронзительный, а последние слова Томми прокричал во все горло.

— Ради бога, не говори об этом, Томми,—пристыдил его м-р Бюфорд.—Запомни, что о таких вещах говорить не принято... И знаете ли, м-р Харлей, все это рассеялось, как сон, когда я открыл гостиницу «Горное Эхо». Раньше меня преследовали неудачи... женщины, женщины, и все, что за этим следует... выпивки, безденежье, потеря места... одно вслед за другим... Пока я не приобрел этого дома.

И с этими словами он любовно провел рукой по обоям.

— Теперь, лежа ночью в постели, я думаю не о женщинах, а об этом доме, о тех переделках, какие нужно сделать, о стенах, с которых облезает краска...

— Его жена—очаровательная маленькая леди,—заметил Майкель.—Все посетители ее обожают.

— Шарлотта?—с легким раздражением отозвался Гюс: толстяки не любят, когда их перебивают.—У вас тоже хорошая жена,—добавил он, обращаясь к Майкелю.—А теперь пойдемте, я вам покажу несколько комнат.

— Обратите внимание на дверь. Допустим, вы занимаете этот номер и хотите завтракать в своей комнате. Видите, здесь снаружи прикреплена к двери маленькая никелированная рамка? А в каждой комнате вы найдете в ящике письменного стола несколько карточек,

которые как раз подходят по размеру к этой рамке. Понимаете? Вам остается только написать, в котором часу вы будете завтракать и что хотите получить на завтрак; затем вы вставляете карточку в рамку... А дальше уж наше дело... Ха-ха! Как видите, идея недурна, потому что люди часто не знают заранее, где им хочется завтракать—у себя или внизу, и только перед сном принимают решение.

«Почти все мужчины спускаются к завтраку вниз, но женщины завтракают, лежа в постели... Большинство во всяком случае. У нас есть специальные подносы для завтрака, которые прикрепляются к постели. Когда горничная приносит завтрак, даме не приходится держать поднос на коленях. Это большое удобство.

«Комнаты мы обмеблировали недурно,— продолжал он, открывая дверь и пропуская вперед своих гостей.— Две кровати, книжный шкап, письменный стол, телефон; при каждом номере ванна... Обращаю ваше внимание на освещение. Как раз над изголовьем кровати находится лампочка, которую можно поворачивать, как угодно. Если вы лежите в постели и читаете, лампу можно повернуть так, что она будет находиться на расстоянии шести дюймов от книги. Остроумно, не правда ли?

«А теперь посмотрим на это круглое стекло в потолке. Как вы думаете, что это такое?

Харлей поднял глаза к потолку.

— Похоже на часы,—сказал он.

— Совершенно верно,—подхватил м-р Бюфорд.—Видите ли, ночью многие хотят знать, который час... Они нажимают кнопку у изголовья кровати, и часы на потолке освещаются.

Он нажал кнопку, и часы уставились на них, словно холодный глаз большой рыбы.

— Половина четвертого!—заметил м-р Бюфорд.— Кроме того, на полке камина стояли еще одни электрические часы, соединенные с часами внизу. А здесь ванная... Зеркала. В этой зеркальной двери человек может осмотреть себя с ног до головы... Вот зеркало для бритья... Пожалуйста, обратите внимание на освещение ванной... Как вам известно, ванные обычно освещаются плохо. Но не у нас...—Он зажег свет.—Конечно, сейчас день, но все-таки вы можете составить представление. Здесь всегда светло, как днем... А вот весы... Многие, знаете ли, любят взвешиваться...

— Гюс, а вы когда-нибудь взвешивались?—спросил Майкель.

— Разумеется; сейчас во мне около трехсот фунтов. Мне не хочется, чтобы перевалило за триста. При моем росте это может повлиять на здоровье. Ведь рост у меня средний—всего шесть футов...

— Что это такое?—спросил Харлей, указывая на никелевый ящик, вделанный в стену около ванны.

— А я знаю!—закричал Томми.—Здесь спички!

— Видите ли, м-р Харлей,—пояснил толстяк,—многие мужчины, а иногда и женщины, любят курить в ванне. А это неудобно—спички сырые, некуда сбрасывать пепел. Вот я и придумал...

Он провел рукой по шкапику, и распахнулась маленькая дверца. Харлей увидел спички, пепельницу и отделение для сигар и папирос.

— А это что за штука?—осведомился Харлей, указывая на какую-то раму, висевшую на стене ванной.

— О, это стойка для книг,—ответил владелец гости-

ницы. Сняв раму, он приспособил ее к ванне.—Вот в чем тут дело: если вы хотите принимать ванну и в то же время читать, вы укрепляете эту раму поперек ванны, а на нее кладете книгу. Таким образом книга не может упасть в воду, и вы не рискуете ее испортить.

— Я еще не видывал таких чудес!—воскликнул Харлей.—Как это вам пришло в голову, м-р Бюфорд?

— Зовите меня Гюсом,—мягко сказал м-р Бюфорд.— Все зовут меня Гюсом... Поверьте, все это очень просто. Я—ленивый толстяк, вот и все. Лень—это моя специальность, а большинство ленивых людей—дилетанты.

«Я решил оборудовать эту гостиницу и приводил в исполнение все свои планы. По моему мнению, следует издать закон или постановление, чтобы гостиницы строились по планам, составленным ленивыми толстяками... Такого закона не существует, и в этом наша беда. Знаю я их—людей, которые строят гостиницы! Все они—люди проворные! А что выходит на поверку. Кроме приспособления для холодного ду́ша да столов с мраморными досками они ничего не могут придумать!»

Он умолк и несколько секунд размышлял, самодовольно поглядывая на ванну. Затем снова заговорил:

— А их столы и приспособления для душа такие тяжелые, что стены сотрясаются, если попробуешь сдвинуть их с места.

Эти ребята похожи на Рэнни Киппа... тощие, проворные парни...»

— Кто этот Рэнни Кипп?—поинтересовался Харлей.— Архитектор или поставщик мебели?

— Нет... он живет в бёнгало, в полумиле отсюда. Как только утром встает так и начинает орать и петь. Я вам правду говорю. Если ветер дует в эту сторону,

у нас здесь слышно, как этот парень воет... И ведь распевает-то он для собственного удовольствия... Ему все равно, какую ванну принять—горячую или холодную, и он не обращает внимания, мягкая ли у него постель.

— Рэндольф Кипп,—пояснил Майкель,—наш местный бутлегер*. В этих краях он весьма важная особа.

— Вы бы посмотрели, в каком доме он живет,—продолжал хозяин гостиницы.—Ужас! Мебель разваливается, крыша протекает, почти все стулья расшатаны.

— Но чего же вы хотите от бутлегара?—заметил Харлей.

— Рэнни—не простой бутлегер!—воскликнул Майкель.—И вообще он—человек необыкновенный.

Харлей прислонился к облицованной белой черепицей стене и снял очки. На носу у него виднелись две красные полоски. Зорко посмотрев на Майкеля, он спросил:

— Но что же это за человек?

— Прежде всего он—доктор философии,—начал Майкель.—Окончил один из наших университетов... я не помню, какой именно. Затем изучал в Германии химию и в Англии—физику.

— И он—бутлегер!—недоверчиво воскликнул репортер.

— Да, пожалуй. В сущности он—изобретатель. Будущий изобретатель. Он старается найти такой состав, который заменил бы газолин. А пока он зарабатывает себе на жизнь тем, что изготовляет виски.

Харлей улыбнулся и сказал:

---

* Bootlegger — самогонщик либо торговец спиртом. Неологизм вошедший в язык после издания „сухого" закона в С. Ш. *Прим. перев.*

— М-р Кипп—интересный субъект. О нем можно было бы написать.

— Изучив химию, он обнаружил, что на химиков нет спроса. Получил место, где ему платили тридцать долларов в неделю, а на большее нечего было надеяться. Некоторое время он работал; это было крупное предприятие. Он должен был исследовать двууглекислую соль в пробирке или что-то в этом роде. Рэнни говорит, что любой пятнадцатилетний мальчишка может этому научиться в четверть часа. Наконец он не выдержал и отказался. Стал делать опыты, отыскивая, чем бы заменить газолин. Но должен же он как-то жить! Вот почему он стал бутлегером.

— Наверно, многие об этом знают,—заметил Харлей.—Почему же его не привлекут к суду?

Толстяк громко захохотал; приятно было слушать, как он смеется: он казался олицетворением смеха.

— Ха-ха-ха!—кудахтал он.—Вот была бы потеха!

— Видите ли, Рэнни может опубликовать фамилии всех своих клиентов,—заметил Майкель.—Его боятся арестовать. В городе произошел бы переворот. Я бы хотел познакомить вас с Рэндольфом Киппом. Он говорит, что бросает вызов цивилизации. Своей профессии он не скрывает. Рэнни все делает открыто.

— Даже ухаживает за девушками,—сказал Гюс, мрачно покачивая головой.—Впрочем, виски он изготовляет неплохо. Хотите попробовать? У нас есть.

— Нет, благодарю вас... не сегодня. Боюсь, что мне пора уходить.

— Подождите, подождите,—захрипел Гюс и, переваливаясь, вышел из ванной.—Вы не все еще осмотрели.

— Дом старый, не правда ли?—спросил Харлей.

— Центральная часть дома,—ответил толстяк,—построена лет двести пятьдесят назад. Позднее были сделаны пристройки. То крыло, где мы сейчас находимся,— новое. Я сам его пристроил. Этот дом я купил у одной женщины—мисс Марты Треллис, вернее—у ее опекунов, или как они там называются... Она—буйная помешанная и помещена в лечебницу для умалишенных. Дом принадлежал еще предкам мисс Треллис. Она—старая дева. Здесь, в этом доме, она и сошла с ума. Ей являлись привидения... Должно быть, одиночество на нее подействовало...

— А вы никогда не видели здесь привидений?

— Нет... не видел. Я бы не прочь был завести в гостинице хорошее привидение... Это действует возбуждающе. Я было подумывал об этом, но слишком много возни.

«Сейчас я поведу вас вниз, но раньше посмотрите на этот чуланчик...—Он открыл дверь...—При каждом номере имеются два таких чуланчика в шесть квадратных футов. Свету здесь так же много, как и в комнате... А вот еще одна моя выдумка. Нет ничего неприятнее, как наклоняться и разыскивать башмаки, валяющиеся на полу в чулане. Я приспособил для них козлы в фут вышиной; на эти козлы вы можете класть запасную обувь.

«Обратите внимание на крючки; это мое изобретение. Как вам известно, костюмы часто срываются с обычных крючков, но мои крючки защелкиваются. Я взял патент. И ваш пиджак никогда не валяется на полу.

«В каждой комнате есть календарь и письменный стол...»

Толстяк указал на большой, поместительный стол с многочисленными ящиками.

— Это вам не какой-нибудь хрупкий столик, на котором едва может уместиться лист бумаги.

Он с силой ударил по столу своим тяжелым кулаком.

— У меня мебель солидная, прочная. А вот туалетный стол и бюро для леди и шифоньерка для ее супруга.

Он выдвинул ящик бюро.

— Сделано по особому заказу. Взгляните! Я сам все придумал. Вот отделение для перчаток—как раз подходит по величине. А здесь должны лежать носовые платки. Этот ящик предназначается для драгоценностей, колец и часов.

Толстяк восхищался своими хитроумными выдумками, словно ребенок, показывающий свои игрушки.

Затем нужно было осмотреть библиотеку, бильярдную и столовую.

— Покажите ему нашу справочную доску, Гюс,— посоветовал Майкель.—Это вы здорово придумали.

Гюс, переваливаясь, вышел в вестибюль и указал на доску, висевшую на стене.

— Здесь, с правой стороны мы отмечаем все, что необходимо знать нашим гостям, а слева записаны имена всех проживающих в доме. Как только кто-нибудь приезжает в гостиницу, мы заносим его фамилию на эту доску, номер комнаты, которую он занимает, и город, откуда приехал. Вот гость, проживающий здесь дольше всех,—усмехнувшись, добавил толстяк, указывая на верхний край доски.

Харлей прочел: «Майкель Уэбб... М-с Майкель Уэбб (Эдит)... Томми Уэбб... Из Нью-Йорка».

— У нас такое правило,—продолжал Гюс:—гости между собой разговаривают, не будучи друг другу представлены. Им не приходится разузнавать имена и фамилии—достаточно взглянуть на эту доску... А вот библиотека.

«Сейчас у нас около двух тысяч книг, м-р Харлей, и каждую неделю мы покупаем десять книг—не больше, не меньше».

— Гюс придумал превосходный способ выбирать те десять книг, какие он каждую неделю покупает,—сказал Майкель.—Гости голосуют за ту книгу, какую хотят прочесть. Каждый пишет на листке названия книг и подписывает свою фамилию. Затем опускает листок в этот ящик на стене. В понедельник утром мы вынимаем листки, и десять книг, получившие большинство голосов, выписываются немедленно.

— Это очень забавно,—вставил Гюс.

— Выписываются только новые книги?—осведомился Харлей.

— Нет, вы можете выписать все, что вам угодно,—пояснил Майкель.—В прошлом месяце я всех уговаривал голосовать за Рейнака «Краткая история христианства» и Стекеля «Странности поведения». Эти книги я читал, но, мне кажется, они должны быть в библиотеке.

— Соберите голоса, и я куплю,—сказал владелец гостиницы.—Мне все равно. А вот что вас заинтересует, м-р Харлей: обратите внимание, что в этой комнате, битком набитой книгами,—и он указал на заставленные книгами полки,—нет библиотекаря. Постоянно жильцы приносят сюда книги и берут новые. Если бы мы не следовали определенной системе, здесь был бы

устрашающий беспорядок. Чтобы найти какую-нибудь книгу, пришлось бы все перерывать.

«Я разработал любопытную систему... Как видите, все полки разбиты на отделения. Всего здесь сорок отделений. Обратите внимание, что над каждым отделением висит на стене раскрашенная карточка. Здесь справа вы видите на карточке зеленую и белую полосу. Эти цвета означают американскую историю, и под цветными полосками так и написано: «История Америки». На каждой книге, находящейся в этом отделении, вы видите наклейку с зеленой и белой полосами. Эти наклейки сделаны по заказу. Прочтя книгу, вы помещаете ее в соответствующее отделение, руководствуясь цветом наклейки... Вот здесь у нас американские романы—цвета зеленый и красный, здесь английские романы—цвета голубой, белый и café-au-lait. Поняли мою мысль?»

— Конечно, понял,—сказал Харлей,—Это очень остроумно.

— Гм... не знаю. Во всяком случае система простая. Избавляет от хлопот. По утрам горничные обходят весь дом, собирают книги и ставят на место. Им не нужно соображать, к какому отделу относится книга. Они смотрят на наклейку.

— Как-то в прошлом году,—вмешался Майкель,—мы все голосовали за книгу: «Ешь, и все-таки похудеешь!» Мы хотели, чтобы Гюс ее прочел и воспользовался указаниями, но боюсь, что он ее не читал.

— Конечно, не читал,—отозвался Гюс.—Господи боже мой, зачем мне худеть? Пожалуй, мой вес чуть-чуть больше нормального. Двести семьдесят пять фунтов—вот, когда я себя прекрасно чувствую. Несколько лет

назад я спустил до двухсот шестидесяти, и все время ощущал слабость... А вот наша столовая...

«На стол мы обращаем большое внимание... И повар у нас прекрасный, можете мне поверить. Каждый день у нас подается, по крайней мере, одно новое блюдо. Это совсем несложно. Сезон продолжается сто пятьдесят дней, а повар заранее придумывает сто пятьдесят различных блюд».

Майкель снова вмешался в разговор.

— Гюс, расскажите ему о списке нелюбимых блюд.

Повернувшись к Харлею, он добавил:

— Этой гостиницей я интересуюсь не меньше, чем сам Гюс.

— Видите ли,—начал Гюс,—все это очень просто. Очень многие не едят тех или иных кушаний. Когда приезжает новый посетитель, мы посылаем к нему в номер карточку, на которой он записывает названия всех своих нелюбимых блюд. Этот список заносится на большую таблицу, которая вставлена в раму и висит в кухне. Наверху столбца написана фамилия гостя, а дальше следует перечисление нелюбимых им кушаний. Так, например, некоторые не едят баранины, и в те дни, когда у нас готовят баранину, им подают что-нибудь другое... Удобно, неправда ли?

Харлей согласился с этим, а затем объявил, что ему пора итти. Дело Вильяма Брилля, о котором он не забывал во время осмотра дома, постепенно вытеснило все прочие мысли.

— Если я сейчас не уйду, я могу опоздать к шестичасовому поезду, идущему в Нью-Йорк.

— Если хотите, я пойду с вами к м-с Брилль,—вызвался Майкель,—и покажу вам дорогу.

— Благодарю вас, я буду очень рад.

Хозяин гостиницы был явно разочарован и обижен.

— Как, вы не хотите осмотреть цветники, площадку для тенниса, бассейн?—воскликнул он.—А театр? Да, мы устроили прекрасный театр в риге... Настоящая сцена, опускающийся занавес, кулисы—все, как следует... Многие из наших гостей проявляют драматический талант, а иногда у нас останавливаются настоящие актеры...

— Знаете ли, что я вам скажу, Гюс?—перебил Харлей.—Мне бы хотелось здесь пожить. Нельзя ли мне приехать к вам как-нибудь в конце недели? Вы меня примете?

— Ну, конечно... если найдется свободная комната. Обычно дом переполнен, но я вас устрою, если вы меня предупредите заранее.

3

Майкель с Харлеем брели по склону холма, поросшего травой, направляясь к коттэджу м-с Брилль.

— Удивительная гостиница,—говорил Харлей.—Впервые вижу такой дом. Этот человек обо всем подумал. А ведь он—ленивый толстяк...

— Нет, он не ленив,—заявил Майкель.—Он только считает себя лентяем, в действительности же он очень энергичен. Гюс—человек одержимый; его мания—эта гостиница: дом, сад, пансион. Его жена тоже до известной степени помешана, впрочем, она может говорить и на другие темы. А Гюс не может. Иногда он ужасно надоедлив, потому что интересуется только своим домом и лишен чувства юмора.

«Нет, он не ленив... Лентяи—или больные люди, или же они ненавидят свою работу».

— Но он считает себя лентяем,—заметил репортер.— Толстые люди обычно бывают ленивы.

— Ошибаетесь. Толстяки ленятся не больше, чем все остальные. Они любят комфорт, а на любовь к комфорту принято смотреть, как на предрасположение к лени. Вот почему торговые агенты, комиссионеры и выскочки—вся эта банда—суетятся и делают вид, будто презирают комфорт. Все представления у них перепутаны, и любовь к комфорту они принимают за леность. Вы понимаете, что я имею в виду? Утром холодная ванна, пятнадцать минут на завтрак... «У меня деловой день... ничего не откладывай на завтра»... до четырех часов продиктовано восемьдесят пять писем... и прочий вздор! Они считают себя людьми энергичными, а в действительности лишь непроизводительно тратят энергию. Гюса все называли лентяем, и он сам этому верит.

«Всем заправляют люди, которые работают по два часа в день, но бывают дни, когда они совсем не работают».

— Я с вами согласен,—отозвался Харлей.—Все великие люди, каких я встречал или интервьюировал, казалось, имели в своем распоряжении много свободного времени.

— Гениальность—это мания,—сказал Майкель,—и устремленность к определенной цели. Гюс—гениальный хозяин гостиницы. Его мания—заботиться о комфорте гостей.

— Кто живет в этой гостинице? Что это за люди? Принадлежат ли они к какой-нибудь определенной категории?

— Гм... все они—люди с ярко выраженной индивидуальностью,—ответил Майкель.—Люди чуткие... писатели, артисты, независимые женщины... бывают и дельцы... Но здесь нет вялых тупиц.

— Когда такие люди живут вместе,—сказал Харлей,—всегда что-нибудь случается.

— А здесь все ограничиваются болтовней. Это самый тихий уголок на земном шаре. На-днях мы с Гюсом рассуждали на эту тему и пришли к тому заключению, что для развлечения нам не повредил бы какой-нибудь скандал на территории гостиницы. Это подействовало бы возбуждающе. Я намекнул Гюсу, что все бы встрепенулись, если бы дом сгорел, но Гюса чуть не хватил удар. Немного спустя я видел, как он бродил по дому и осматривал дымоходы... Нет, здесь мы довольствуемся болтовней...

4

Майкель Уэбб и Сэмуэль Харлей вместе явились с визитом к матери Вилльяма Брилля. В тот день Сэмуэль Харлей держал себя в коттэдже м-с Брилль очень решительно и самоуверенно. Вежливо задавал он наглые вопросы. Он хотел знать, всю ли свою жизнь прожил Вилльям в этом доме; говорил ли когда-нибудь о своем намерении жениться на дочери миллионера; чей портрет висит над камином—не дедушки ли Вилльяма; помогал ли Вилльям матери; случалось ли ему раньше попадать в беду.

Его мать, раскрасневшаяся от смущения, сказала, что Вильяму никогда не случалось попадать в беду.

— А вы находите, что сейчас он попал в беду?— грубо спросила Маргарэт, сестра Вильяма.

На это репортер не обратил внимания и продолжал развязно задавать вопросы.

— Вчера я проинтервьюировал Пемплей,— продолжал он.— Они говорят, что мисс Пемпль сделала мезальянс. Не желаете ли вы высказаться в свою очередь?

Нет, м-с Брилль нечего было сказать, но мисс Брилль пожелала высказаться. Говорила она горячо и пространно, столь пространно, что историк может привести лишь отрывок из ее речи.

— Гм... Сделала мезальянс, вот как? Эта некрасивая...

— Вы с ней когда-нибудь встречались, мисс Брилль? Репортер говорил спокойным, бесстрастным тоном.

— Нет, никогда, но я видела снимки в газетах. Она всюду старается пристроить свои карточки...

И мисс Брилль стала язвительно перечислять:

— «Мисс Пемпль со своим отцом Д. Александром Пемплем на Пятой Авеню»... Скажите, пожалуйста!.. «Мисс Мод Пемпль на скачках»... Как шикарно!.. «Мисс Пемпль в Париже входит к Ритцу * выпить чаю»...

— Успокойся, милочка, успокойся,—прошептала м-с Брилль.

— Она не говорит, что сделала мезальянс,—заявил Харлей.—Это мнение ее родителей.

— Вилльям для них недостаточно хорош, да? Потомок человека, приехавшего на «Mayflower'е» **, не угодил

---

* Самый фешенебельный отель Нью-Иорка и многих европейских столиц. *Прим. перев.*

** Корабль высадивший в 1637 г. в Нью-Плимуте 40 колонистов-пуритан. *Прим. перев.*

семье Пемпль? Предок Вильяма Брилля высадился на Плимут-Роке. Он помогал...

Услышав это, Сэмуэль Харлей просиял.

— Будьте добры повторить, мисс Брилль. Вы уверены в том, что предок вашего брата был одним из первых поселенцев, приехавших на «Mayflower'е»?

— Ну, конечно! Наши предки возделывали землю, которой завладели теперь эти разбойники с большой дороги!

Харлей шепнул Майкелю Уэббу:

— Теперь кое-чего мы добились! Здорово! Можно будет написать любопытный фельетон.

— Пусть они этим подавятся!— воскликнула мисс Брилль, которая умела выражаться по-мужски.—Можете напечатать в вашей газете все, что я вам сказала.

— О, я этого не сделаю, мисс Брилль! Зачем разжигать вражду?

— Мне все равно, если хотите, можете напечатать.

— Успокойся, милочка, успокойся.

Действительно, предки Бриллей приехали на «Mayflower'е». Высадившись на Плимут-Роке, они обосновались в новой стране и триста лет просидели на одном месте, ничем не проявив себя.

5

В сущности м-р Харлей был благодетелем Пемплей и Бриллей, ибо статья его, помещенная в воскресном журнале, немало способствовала примирению этих двух семей.

Бракосочетание мисс Пемпль он определил не как скандальную, а как романтическую историю.

Он изучил родословную Виллььяма Брилля и говорил об этом молодом человеке, как о представителе американской аристократии.

Пемплей он называл финансовыми королями.

Он утверждал, что мисс Мод Пемпль была самой красивой девушкой в Нью-Йорке.

Род Бриллей,—заявил он,—мощный ново-английский род, благодаря которому наша страна стала великой и свободной. (Жители Новой Англии, по Харлею, всегда происходили из «мощного» рода.) Ловко упомянул он в своей статье о Плимут-Роке, о Хауторне, Эмерсоне, Джоне Хэнкоке и Сэмуэле Адамсе.

Пемплям статья очень понравилась, и они изменили мнение о своем зяте—бывшем шофере.

Что касается предка Пемплей—он не был в числе тех, кто приехал на «Mayflower'е». И тем не менее, этот предок достиг известности. Вскоре после войны за освобождение приплыл он к нашим берегам. Это был бедный, молодой, трогательно-невежественный немец-эмигрант. К жизни в суровой стране он оказался совершенно неподготовленным; у него не было ничего, кроме узелка с платьем и бешеного стремления к наживе.

Через три месяца мы находим его в индейском поселке, где он обменивает виски на меха.

Не имея капитала, лишенный поддержки влиятельных лиц, он должен был действовать чрезвычайно осторожно, но молодой Пемпль был наделен коммерческими способностями и твердо решил победить. Впоследствии, когда Пемпль разбогател и стал важной особой, он частенько за бутылкой мадеры вспоминал со смехом, как ему приходилось просиживать ночи напролет и разбавлять водой виски для индейцев. Вода, красный перец

и табак,— красный перец для вкуса, табак для цвета.

Быть может, все это—только миф, но неоспоримо то, что предок Пемплей был исключительно талантливым дельцом. Такой вывод блестяще был подтвержен во время парламентского расследования его деятельности в 1802 году,—расследования, произведенного по настоянию конкурентов.

Было установлено на следствии, что м-р Пемпль убеждал индейцев обменивать меха, стоящие семьдесят пять долларов, на двухдолларовую бутылку виски.

Итак, нью-йоркское «Обозрение» высказало свое мнение о романтическом побеге мисс Мод Пемпль. Когда эта газета вмешивается в дело, она шлет или благословения или проклятия, и никто не может предугадать, как отнесется она к тому или иному событию. Не знают этого даже сотрудники газеты.

Когда газета шлет благословения, она уподобляется сказочному принцу или Гарун-аль-Рашиду, который неожиданно встречает вас на улице и дает вам драгоценный камень... Когда же «Обозрение» шлет проклятия, его можно сравнить только с грязной старой ведьмой, выкрикивающей вам вслед ругательства.

«Обозрение» умеет делать и то и другое, хотя беспристрастные зрители склонны думать, что проклятия, изрыгаемые газетой, звучат энергичнее, чем благословения.

Отношение этой газеты к событиям зависит от того, достаточное ли количество сенсационных новостей имеется в ее распоряжении. В разгар выборной кампании вы можете убить жену и убежать со своей стенографисткой, и газета ограничится коротенькой заметкой, в крайнем случае—поместит ваш портрет. Но остерегай-

тесь сделать что-либо подобное в скучные июльские дни, когда нет никаких происшествий! «Обозрение» не только будет посвящать вам ожедневно по нескольку страниц, но, невзирая на большие расходы, разошлет своих фотографов и сыщиков, которые вас разыщут, хотя бы вы удрали в Мексику.

М-р и м-с Брилль были прощены и получили приглашение явиться в отчий дом. После краткого «обучения» Виллььям Брилль был избран вицепредседателем и директором солидного банка Пемплей. Событие это вызвало немало толков. Утверждали, что м-р Брилль был самым молодым директором банка в Нью-Йорке.

Многие высокопоставленные финансисты и капитаны от индустрии являлись пожать ему руку и пригласить в свой дом. Кое-кто обращал внимание на его скромность и мужественность, а другие восхищались его проницательностью и умом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

На севере, в этой стране холмов, лето пролетает быстро.

В мае начинаются дожди; блестят мокрые, скользкие крупы лошадей, впряженных в плуг. Теплый дождь—дождь, пропитанный запахом свеже вспаханной земли.

После ливня показывается солнце, горячее и ослепительное. Сверкают серебряные лужи на дорогах и лужайках, и грациозные кошки совершают экскурсии, осторожно перебираясь с одного сухого местечка на другое.

В начале июня поток зелени заливает долины и поднимается на вершины самых высоких холмов. Словно наступает молчаливая армия с зелеными знаменами.

В теплой земле, в свежем воздухе бьется пульс молодой жизни.

Наступают дни, когда земля изнемогает под лучами августовского солнца. Пылью окутаны дороги. Коричневые поля стали зелеными, потом золотыми. Жирные, сытые поля, вскормленные летней жарой! Люди отдыхают в креслах. Лежат в глубокой тени деревьев и говорят о дожде.

В гостинице заняты все комнаты, и кое-кто огорчен, потому что не имеет возможности приехать.

Некоторые из обитателей гостиницы жалеют о том, что приехали. Им бы хотелось быть в каком-нибудь другом месте, где можно повеселиться. Они живут в гостинице, и у них есть комнаты, но они были бы не прочь отсюда уехать. Те, у кого нет комнаты, хотят сюда приехать; те, у кого комнаты есть, хотят жить где-нибудь в другом месте.

Слышится смех и шелест платьев. Чистое белье и духи. Платья из тонких, дорогих тканей. Красивые платья и смех. Одушевленные куски мяса гуляют и разговаривают. Куски мяса, наделенные чем-то, что заставляет их думать и чувствовать. Чувствующее, мыслящее мясо. Куски смеющегося мяса в светлой одежде. Мясо, в состав которого входят различные химические соединения: входит известь, углерод, кислород, железистые и иные соли, фосфор, натрий.

Заняты все комнаты, и люди живут близко друг от друга. Иные живут очень близко, иные—подальше. Куски мяса лежат друг подле друга. Много народу живет в этой гостинице.

Душа человеческая набирается сил, ибо вокруг так много людей. И благодаря этому человеческая душа ширится и растет. Становится сильной. Очень сильной. Заполняет дом и изгоняет душу дома. Овладевает домом, растворяя камень и дерево. Душа дома отступает все дальше и дальше, уходит в небытие. Нет больше души дома, остается лишь душа человеческая, растворяющая камень и дерево.

Наделенная разумом и силой, она растворяет камень и дерево. И бессильной злобой объята душа дома,

душа вещей. Во всем мире злобствуют бессильные души вещей.

В гостинице слышен тихий шопот, шелест платьев и смех. Сверлит острая мысль.

В августе закат солнца подобен красочным хоралам; полосы пурпурные и золотые плывут по небу. Зрелище, достойное внимания... Гости выходят на террасу и смотрят на небо... Люди с чашками кофе и папиросами следят, как золотые знамена угасают в звездной ночи. Женщины—в легких платьях и ярких шарфах, мужчины—в черных костюмах.

Одни говорят, что закат солнца не особенно красив: можно было ожидать лучшего. Другие находят его великолепным. А некоторые любуются заходящим солнцем, но утверждают, что на своем веку видали коечто получше.

Бесконечные разговоры, а темой служит закат солнца. Удостаивается похвалы закат солнца в Санта-Барбара, где солнце погружается в пурпурные воды Тихого океана... А закат солнца в Сорренто!.. Упоминают и о других местах... Кое-кто хвалит, кое-кто критикует.

Теплые летние ночи напоены запахом листьев и цветов... И молчаливы... Они молчаливы и... многозвучны. Шелестят и перекликаются живые существа в черном лесу, но эти звуки не проникают в твердую плоть молчания. Они падают на ее поверхность... Серебристые звуки выгравированы на поверхности молчания, словно арабески на гладком темном металле.

А люди лежат в своих постелях, лежат в ночи, словно на дне океана.

Проходит лето, и понемногу гости разъезжаются. Теперь люди живут дальше друг от друга; они разделены

расстоянием. Бродят задумчиво, вспоминая иные места, иных людей... Снова душа дома трепещет в холодном воздухе и проникает сквозь стены гостиницы.

В октябре—холодные ночи, и призрак зимы носится над холмами, освещенными желтой луной. Молчаливая жизнь природы увядает; жизнь убывает, как вода в морской отлив.

Теперь закат солнца не похож на красочный хорал. Небо, печальное и серое, не радует людей. Ночь опускается, как стрела на-излете.

Люди бродят по дорогам, ищут колючие кусты паслена. Смеясь и болтая обламывают они ветки. Они восхищаются пасленом. Не обращают внимания на острые колючки. В поездах и на железнодорожных станциях ягоды паслена, золотисто-оранжевые, хрустят под ногами. Люди увозят в города ветки осеннего паслена и вешают их над камином. Бродят по холмам в поисках паслена.

Сухие листья кружатся и пляшут в холодном воздухе. Падают на лужайки, словно хлопья бурого снега.

Когда уезжает последний гость, толстяк и его красивая жена обходят все комнаты, запирают двери и ставни, укладывают вещи и беседуют о поездке в Миами Дайтону, Тампу, Орландо. На цыпочках бродят по дому. Беседуют задумчиво, заглушенными голосами. Они не кричат и не поют. Вместе входят они в комнату. Не по одиночке, а всегда вдвоем. В доме очень тихо и очень светло.

Когда все приведено в порядок и все двери заперты, они покидают дом.

Там, где дорога сворачивает в сторону, они останавливаются и оглядываются. Первые хлопья снега пор-

хают в воздухе, падают на их лица и руки. Обнаженные деревья скрипят и стонут. Глядя на эти ветви, толстяк и его жена думают о японских гравюрах.

Дом в тяжелом молчании словно припадает к земле; так старое животное поджимает лапы, укладываясь спать.

2

В Дайтоне толстяк в своем необъятном купальном костюме каждое утро бродит с сигарой во рту по пляжу. После полудня играет в шашки на веранде, усыпанной песком и обвеваемой ветром.

Он бродит по Дайтоне, разговаривает с людьми. Дружелюбно кладет свою тяжелую руку на плечо собеседника. Разговаривает с мужчинами и женщинами, но чаще с мужчинами, чем с женщинами.

Он ведет беседу с людьми и размышляет о том, что они ему говорят, но в то же время не перестает думать о доме, спящем под холодным небом, среди Коннектикутских холмов, где дует пронизывающий ветер и пляшут снежинки, словно песок на дайтонском пляже.

Когда поблизости никого нет и толстяк уверен, что никто его не услышит, он говорит вслух:

— Спи, милый дом, спи крепко...

Вслух говорит он эти слова; ему становится стыдно, и он добавляет:

— Какой я болван!

Толстяк боится фантазий. Боится, стыдится фантазий, стыдится того, что нашептывает странный внутренний голос.

3

Дом был построен в 1672 году поселенцем Треллисом. В эту дикую страну Треллис перебрался из колонии у Массачузетского залива,—приехал с женой, детьми и со всем своим имуществом. Десять поколений Треллисов жили в старом доме—отец и сын, отец и сын, отец и сын—с 1672 до 1910 года, когда в доме устроили гостиницу.

Остов дома был примитивно прост, но каждое поколение пристраивало к нему то комнату, то крыло; теперь вас на каждом шагу ждет сюрприз—вы натыкаетесь на лестницу или попадаете в извилистый коридор. Чтобы войти в комнату, нужно спуститься вниз или подняться на несколько ступенек, ибо комнаты расположены не на одном уровне.

Вам кажется, будто дом медленно и упорно вырастал из земли, а корни его глубоко уходят в землю, будто корни гигантских кленов, подступающих к стенам дома. Крыша словно плащом покрывает; двери массивные, прочные; в оконные рамы вставлены маленькие стекла ромбоидальной формы, и окна открываются наружу. Местные знатоки старины, проживающие в Старом Хэмпдене, утверждают, что самой старой частью дома является столовая; впрочем, эта догадка необоснована. Несомненно одно: некогда здесь была кухня. Под потолком проходят почерневшие от дыма деревянные балки; пол деревянный, темный.

Огромный очаг, сложенный из серого камня, наводит на мысль о мужчинах и женщинах, которые жили в давно прошедшие времена. Здесь, у очага, сидели они в семейном кругу, а трепещущие отблески пламени па-

дали на их лица и руки, на темные платья из домотканной материи. Зимний ветер выл в трубе, стонала метель, и снег заносил окна... а там, за окном, раскинулись холодные, белые поля.

Эти мужчины и женщины голыми руками сражались с Природой. Они познали дьявольские соблазны дикой страны.

Когда вы подходите к Природе вплотную, когда на вашу долю выпадает изнуряющий труд разбивать тяжелые глыбы земли, тогда слышите вы ленивый и недобрый шопот—голос Природы, насыщенной похотью: «Будь естественным... живи, как живут звери».

В темных лесах скрыты тайные соблазны... золотые солнечные пятна на опавшей листве... теплый мех и трепещущая звериная плоть... безмолвная жестокость... тихая ласка дождя... Вот что заменяло пионерам женщин и вино.

Но все это относится к области далекого прошлого.

Много времени прошло с тех пор, как пионеры отошли в землю, с которой вели борьбу. Даже воспоминаний они о себе не оставили. На кладбище в Старом Хэмпдене они лежат в могилах под каменными плитами, исхлестанными дождем. Надписи, вырезанные на камне, стерлись и не заставляют больше праздного гуляку напрягать память.

Те, что приезжают теперь в старый дом, ведут борьбу с идеями так же, как раньше пионеры вели борьбу с неподатливой землей. Твердо стоят они на земле, но мысль их стремится ввысь. Они размышляют о Поле Верлене и раскрашенных веерах; говорят высокопарные фразы о долгах Германии и о Джемсе Джойсе; противопоставляют Кэльвина Кулиджа Аврааму Лин-

кольну и сравнивают заслуги обоих; размышляют о спекуляции и о теории атомов; изучают биологию, физиологию и психологию любви; анализируют трогательные трепетные эмоции; верят, что всему есть причина, и ищут ее. Эти люди имеют за собой ряд поколений.

4

Мисс Марта Треллис была последней представительницей рода Треллисов, построивших старый дом.

Судьба ее по меньшей мере печальна. Одни называют ее трагической, другие—печальной; никто не скажет, что на долю мисс Марты Треллис выпала легкая жизнь. Многие из тех, что знали Марту, никогда о ней не вспоминают. Она—живой мертвец. Ее не хоронили, но она умерла. Мертвец, который ходит, говорит, ест.

Когда она родилась, родители ее были уже стары. О них она всегда думала, как о глубоких стариках. Они были так стары, что успели забыть свою молодость и потеряли способность воспринимать что-либо новое.

Марта была единственным ребенком. Двадцать лет жила она с родителями в старом доме, и еще двадцать лет прожила в этом доме совсем одна. Ее родители не поняли стремлений молодости. Они замкнулись в себе. С ней они говорили мало, и она почти никогда с ними не разговаривала.

Мисс Марта Треллис была очень одинока. Жизнь ее не знала почти никаких событий. Один день походил на другой. Однообразна была жизнь мисс Марты Треллис, но кое-какие события все-таки случались.

Как-то она влюбилась в молодого человека. И она и молодой человек были застенчивы и чувствовали

себя неловко. Встречаясь, они никогда не говорили о любви.

Хотя при встречах они не говорили о любви, но думали о ней всегда—и у себя дома, и при встречах. Они думали о том, как ведут себя люди, которые влюблены... Что полагается делать влюбленным... Какие слова и фразы должны они говорить. О словах и поступках влюбленных думали они постоянно, но ничего не говорили и ничего не делали.

Так продолжалось некоторое время; затем молодой человек со своими родителями, братьями и сестрами должен был уехать в штат Айова. Они были фермерами и решили переселиться в Айова, потому что там земля плодороднее и земледелием заниматься выгоднее, чем в Коннектикуте. Накануне отъезда молодой человек пришел попрощаться с Мартой. Вдвоем ушли они в фруктовый сад. Цвели яблони, и в саду было очень красиво.

Долго сидели они на большом камне и вели беседу, но о любви они не говорили. Они толковали о ценах на землю и о продолжительном путешествии по железной дороге, предстоявшем молодому человеку; о собаке Шет, которую молодой человек должен был оставить здесь, в Коннектикуте. Эти темы их мало интересовали; в сущности, говорить им хотелось о любви, но перед ними словно вставала стена, разрушить которую они не могли.

Они условились писать друг другу каждую неделю; она будет писать ему, а он—ей. Молодой человек сказал, что ему хочется знать все здешние новости, а так как у нее свободного времени больше, чем у кого бы то ни было из жителей Хэмпдена, то будет очень мило,

если она согласится ему писать. Она сказала, что с удовольствием будет писать и сообщать все новости.

А потом, когда они встали, чтобы попрощаться, какое-то безотчетное чувство охватило молодого человека. Он обнял ее и поцеловал в губы.

Когда он ее поцеловал, она почувствовала, как забилось ее сердце. Страшное сердцебиение. Это ощущение не было ни мучительным, ни приятным. Но у нее закружилась голова... и по всему телу пробежала дрожь. Этого она никогда еще не испытывала. Лицо ее покраснело, как свекла. Поцеловав ее, молодой человек выбежал из сада и ни разу не оглянулся.

В тот вечер, за ужином она ничего не ела. Она не могла думать о еде. Мысли ее сосредоточились на молодом человеке. Дом был тускло освещен керосиновыми лампами, и в полумраке родители не видели ее лица; вот почему они не обратили внимания на ее волнение. Отец, сидевший против нее и медленно пережевывавший мясо, сказал, видя, что она ничего не ест:

— Чорт возьми, что случилось с девчонкой?..

А мать решила, что ей нужно принять лекарство.

После ужина она потихоньку выскользнула из дому, пробралась в сад, и остановилась под тем деревом, где он ее поцеловал. Ей хотелось постоять на том самом месте, где он поцеловал ее в губы. Рукой она коснулась дерева. Над ее головой благоухали белорозовые цветы яблони.

Сначала молодой человек писал ей каждую неделю, а она писала ему. Потом письма начали приходить все реже и реже, все реже и реже, и, наконец, он совсем перестал писать...

Года через два после того, как оборвалась переписка,

пришла весть, что он женился. В штат Айова,—туда, где жил молодой человек, переселились многие из Коннектикута. Они написали о женитьбе молодого человека. Писали, что он нашел себе хорошую жену.

Мисс Марта Треллис попрежнему жила со своими старыми родителями. Жила с ними и думала о том, о чем они никогда не думали... Но писем она никому не писала.

Потом отец и мать умерли. Умерли тихо и мирно, как умирают старые деревья. После их смерти мисс Марта Треллис осталась жить в старом доме.

Почти каждый день уходила она в фруктовый сад и становилась под тем самым деревом, где стояла в тот день, когда молодой человек ее поцеловал. В сад уходила она даже в дождливые дни. Иногда ложилась на землю под той самой яблоней и каталась по траве. Но сначала она внимательно осматривалась по сторонам—нет ли кого поблизости.

Соседи приходили и давали ей советы. Советовали переселиться в деревню, поближе к людям. На этом они упорно настаивали. Советовали продать дом. Советовали заняться делами церкви. Сделаться школьной учительницей. Советовали жить в деревне. Все советовали ей выехать из старого дома. Настойчиво советовали.

Она не хотела покинуть дом, ибо не смогла бы тогда уходить в фруктовый сад и стоять под яблоней. Вот какова была причина, но не ее она выставляла, разговаривая с людьми, дававшими советы. Она говорила им, что любит старый дом. Когда советчики возвращались к себе домой, они сообщали своим родным, что она любит унылый старый дом и потому не хочет

жить в деревне. Они ничего не знали о яблоне в саду, не знали и о том, как мисс Марта Треллис целует траву, растущую под яблоней.

Почти все считали ее взбалмошной.

Она много думала о мужчинах и о любви, но никому не открывала своих мыслей. Людям она говорила, что ей нет дела до мужчин, замуж выходить она не хочет, и присутствие мужчины в доме кажется ей невыносимым. Вот что она говорила, хотя почти всегда думала о мужчинах, и о том, как они любят женщину. Любовь и мужчины ежедневно занимали ее мысли. Она старалась себе представить, как бы она поступила, если бы какой-нибудь мужчина стал за ней ухаживать: как бы он себя держал и что чувствовали бы они оба.

Она старалась не думать о каком-нибудь определенном мужчине, ибо тогда, ее мысли сосредоточивались на том молодом человеке, который поцеловал ее в саду, а о нем она думать не хотела. Думала она о каком-то абстрактном мужчине.

Она смотрела на снимки и изображения мужчин и думала о них. Они ее интересовали. Ей нравились журналы с картинками, изображающими мужчин. Просматривая журналы, она всегда думала о мужчинах.

Вскоре же мисс Марта Треллис открыла тайный способ вызывать мужчин. Тайный способ, о котором она решила никому не говорить до конца своей жизни. Способ загадочный и странный, до которого она дошла самостоятельно. И благодаря этому тайному способу она заставляла мужчин являться к ней. Казалось, она могла бы к ним прикоснуться. Тайный способ... Иногда она вызывала мужчин, гуляя по саду. Иногда вызывала их в то время, как рассматривала картинки в журналах.

Никогда не вызывала она какого-нибудь определенного мужчину; мужчины, которые ей являлись, были, так сказать, абстрактны.

Люди, навещавшие ее и советовавшие, как ей жить, перестали давать советы. Перестали не сразу, а постепенно. И больше к ней не приходили. Ей было все равно... В сущности она не нуждалась в их советах. К тому времени она интересовалась только своими тайными способами. Что бы она ни делала, для всего у нее был тайный способ.

Случалось с ней то, что не часто случается с людьми. Шопот доносился к ней со всех сторон. Шопот словно висел в воздухе. Когда она бродила по дому или гуляла в фруктовом саду, она слышала, как люди перешоптываются и разговаривали. Даже стены что-то шептали. Ночью, лежа в постели, она слышала в комнате шопот. Воздух был насыщен шопотом. Иногда даже комната что-то нашоптывала. Нашоптывала, словно у нее были губы.

Мисс Марта Треллис никому не говорила об этом шопоте. Сначала она решила, что галлюцинирует. Шопот не может быть слышен, если в комнате нет никого. Это казалось несомненным. Мисс Треллис была в этом уверена. Вот почему она подумала о галлюцинациях.

Кроме нее, в доме жила только служанка, старая, неповоротливая служанка, которая ухаживала за мисс Мартой с тех пор, как та была ребенком. Мисс Треллис не рассказала о шопоте даже старой своей служанке, ибо к тому времени привыкла хранить тайны.

Многое делала она тайком. Много тайных способов было ей известно.

А затем однажды произошло удивительное событие. Я хочу сказать, что все сочли бы это событие из ряда вон выходящим, но не так отнеслась к нему мисс Треллис. Сначала она была ошеломлена и сбита с толку, но вскоре поняла, в чем тут дело.

В тот день она увидела на лестнице маленькую девочку. Ребенка лет трех. Когда Марта ее увидела, малютка спускалась с лестницы, медленно, как спускаются очень маленькие дети. Осторожно перебираясь со ступеньки на ступеньку, она одной рукой цеплялась за перила. В другой руке малютка держала старую тряпичную куклу. Это был прелестный ребенок... да, прелестный ребенок... прелестный, как ангел... Золотистые кудряшки и красивые голубые глаза.

В первый момент мисс Треллис ничего не могла понять. Не могла вспомнить... сильные, красивые мужчины, с которыми она... мечты и реальные факты—все переплелось... и этот шопот, и бормотанье... быть может, это ее ребенок... две жизни... и тайна. О, все это—фантастические бредни! Старая служанка привела в дом дочку кого-нибудь из соседей, вот и все...

— Милая моя крошка!—воскликнула она.—Откуда ты пришла?

Девочка ничего не ответила. Маленькие башмачки шаркали по деревянным ступенькам.

— Дай, я тебе помогу,—сказала Марта и протянула руки, но ребенка уже не было на лестнице. Малютка исчезла! Тусклый день, старый тихий дом, нет никого на лестнице; мисс Марта Треллис стоит с простертыми руками... и слышится шопот... бормотанье... бормотанье... бормотанье...

Старая служанка, возившаяся в кухне, заявила, что

никаких детей в доме не было. Сказала, что мисс Марте все это приснилось.

— Вы должны почаще уходить из дому,—прибавила она.—Не годится, чтобы люди сидели взаперти и никого не видели.

Мисс Треллис вернулась в свою комнату и глубоко задумалась. И внезапно она поняла все. Поняла, что ее оплели паутиной лжи. Старая служанка все время ее обманывала. Ребенок действительно существует... Ее ребенок... Руководствуясь какими-то соображениями, старая служанка делала вид, будто у Марты Треллис нет ребенка.

Две жизни... она жила двумя жизнями... обе жизни переплетены. Шопот—это слова людей, которых она знала в той, другой жизни... шопот раздается со всех сторон... все громче и громче... бормотанье, бормотанье, бормотанье, бормотанье...

С тех пор она каждый день искала малютку и часто видела ее мельком... иногда в комнатах, но большей частью—в саду. Белое платьице мелькало среди деревьев. Мисс Марта протягивала руки и ласково окликала девочку, но та никогда к ней не подходила.

Отца ребенка она назвала Альбертом Мэннингом. Сначала она думала, что его зовут Альбертом Манчестер, но Мэннинг звучало лучше. Красивое имя. Девочку звали Альбертиной; она была незаконным ребенком.

Теперь она никогда не думала о других мужчинах. Все ее тайные помыслы были сосредоточены на Альберте Мэннинге. Многое знала она об Альберте Мэннинге, а он многое знал о ней.

Иногда она заговаривала о малютке со своей старой служанкой и следила за выражением ее лица.

— Сегодня я видела Альбертину,—неожиданно сообщала она.—Я видела малютку в фруктовом саду и разговаривала с ней. У нее сильный насморк, нужно было бы одеть ее потеплее.

Произнося эти слова, она всматривалась в лицо служанки,—как отнесется старуха к тому, что Марта узнала правду. Старуха выглядела очень расстроенной и смущенной.

«Она стыдится своей лжи»,—думала мисс Марта.

В глубине души она ненавидела старуху за то, что та пытается скрыть ребенка.

Так в старый дом проник дух ненависти.

Печаль, ненависть, подозрение и смятение... да, но все это тлело где-то в глубине, придавленное повседневной жизнью, как уголь тлеет под золой.

Каждый день старуха рассказывала мисс Марте, о чем толкуют в деревне. Кто женится, кто умер, кто родился. Рассказывала обо всем, что слышала от почтового чиновника, от грека, торговавшего фруктами, от молодого человека в аптекарской лавке, от молоденьких приказчиц в мануфактурном магазине «Парижские моды». Рассказывала о людях, которые ведут себя не так, как бы следовало; о женщинах, забывших о насущной добродетели—скромности, и о мужчинах, отступивших от правил чести. Иногда говорила она о людях, лишенных здравого смысла... но о них упоминала она редко. Обычно речь шла о безнравственности да о рождениях и смертях.

Она была жалкой старухой, изможденной и усталой. Ночью лежала она в своей маленькой комнатке и плакала. Не было у нее ни друзей, ни родных. Не было никого, кроме мисс Марты.

Однажды она сказала мисс Марте, что из штата Айовы приехала молодая девушка погостить к своим родственникам. Восемнадцатилетняя девушка. Она была дочерью того молодого человека, который поцеловал мисс Марту Треллис под яблоней в саду.

— Может быть, вы его помните, мисс Марта?—спросила служанка.—Он отсюда уехал лет двадцать тому назад. Тогда он был красивым молодым человеком. Говорят, там, в штате Айова, он нашел себе богатую жену. А это его дочка. Вылитый портрет своего отца. Она проходила мимо почтовой конторы; идет и смеется, болтает с молоденькими девушками и парнями, а я и говорю себе: «Господи боже мой, кто бы мог подумать, чтобы у этого мальчишки была такая взрослая дочь?» Я его мальчиком помню... Быть может, и вы вспомните, мисс Марта... Такой широкоплечий, белокурый, а глаза голубые... Ну и дочь его стала взрослой девушкой...

Мисс Треллис вышла из дому и направилась в фруктовый сад. Там остановилась она под яблоней, на том самом месте, где много лет назад, поцеловал ее молодой человек. Легкий весенний ветерок обвевал яблоню, покрытую белорозовыми цветами.

«Не может этого быть, — думала она...— Это неправда»... Вчера молодой человек ее поцеловал, и она почувствовала, как забилось ее сердце... вчера... на этом самом месте. И яблоня цвела, и... Снова видела она, как он бежит по саду, освещенный яркими лучами солнца.

Его дочь... взрослая восемнадцатилетняя девушка... глаза и волосы такие же, как у отца... О т е ц... Не может этого быть... ведь он—молодой человек... Вот

он идет по холмам, а на ее губах еще не остыл его поцелуй...

Ветер развевал ее волосы. Она высвободила одну прядь, и посмотрела на нее, словно никогда раньше не видела. Прядь была седая... Грязновато-серая с черными нитями... Грязные седые космы волос... седые волосы...

И тогда она внезапно поняла, что все было ложью... И Альберт Мэннинг, и прелестный ребенок, и все эти тайные способы, и горячие нежные поцелуи, и книги, и люди... все—ложь.

Ложь... ложь!..

Ничего у нее не осталось... только грязные седые волосы да старая служанка с грустным лицом... и мрачный дом... и шопот... шопот... бормотанье, бормотанье, бормотанье...

Не осталось ничего... не было даже воспоминаний. Никаких воспоминаний. О, если бы были у нее воспоминания!

Когда она вошла в дом, большие часы в вестибюле пробили пять. Торжественно прозвучали пять ударов. Звуки, вибрируя, вползали в комнаты. После каждого удара—пауза...

Мисс Треллис вспомнила: били часы, когда она вернулась домой после того, как молодой человек ее поцеловал... Били те же часы; мелодичный бой вползал в комнаты... А она стояла в дверях—так же, как стоит сейчас,—и слушала бой часов... Молодая девушка с бьющимся сердцем... Молодая трепещущая девушка.

Спокойно, не спеша, мисс Треллис взяла каминные щипцы и ударила по циферблату часов. Разбила часы.

Она действовала спокойно и решительно. Разбила старинные часы... Звеня посыпались осколки стекла. Циферблат был продавлен, стрелки уродливо искривлены. Тогда она оторвала маятник и швырнула его на пол.

На пороге стояла старая служанка. Лицо ее побелело, как мел; узловатые пальцы нервно теребили передник из бумажной материи.

Потом мисс Треллис неожиданно очутилась в гостиной. Спокойно сидела в гостиной и пила чай, а подле стояла встревоженная служанка. В доме стояла необычная тишина.

— Разве часы в вестибюле остановились?—спросила мисс Треллис.

Всю жизнь слышала она несмолкаемое тиканье, и теперь тишина казалась зловещей и жуткой.

— Да, остановились, мисс Марта,—сказала служанка.—Вы их разбили каминными щипцами.

Марта досадовала на себя, зачем она разбила часы. Она была удивлена и рассержена. Не понимала, зачем она это сделала, и старалась найти объяснение. Мысли ее были удивительно ясны, словно ветер рассеял туман в голове, но она не могла понять, что̀ побудило ее разбить часы.

Потом пришли какие-то мужчины...

И женщина... Трое мужчин и одна женщина.

Пришли дня через три-четыре после истории с часами.

Она не знала, зачем они пришли. Втечение многих лет ее никто не навещал... Они ей представились. Эти люди жили в деревне. О них она слышала раньше. Симпатичные люди. Трое мужчин и женщина из деревни.

Они были вежливы и любезны. Сказали, что пришли с визитом. Все четверо были очень вежливы, хотя выглядели испуганными и озирались по сторонам.

Мисс Треллис была рада, что они пришли. Она побежала к себе наверх причесаться и надеть лучшее свое платье. Старомодное платье—узкий корсаж и рукава буфами. Она не знала, что оно вышло из моды; платье было совсем новое—только один раз она его надела много лет назад.

Трое мужчин и женщина разговаривали с мисс Треллис о погоде, о соседях, о том, как она проводит время.

Старая служанка подала им чаю, и все были очень вежливы и любезны. И много говорили о часах... Иногда задавали странные вопросы. Казалось, они считали, что она не имела права разбивать часы... Но ведь часы принадлежали ей, и она могла ими распоряжаться; конечно, она имела право их разбить, если ей этого хотелось. Так она и сказала своим гостям. Но она понимала, что у них на уме.

Они задавали странные вопросы. Настаивали и придирались. Теперь они были не так вежливы, как раньше.

Она твердо решила: какие бы вопросы они ей ни задавали, она ни за что не откроет своих тайных мыслей, ни слова не скажет о тайных способах.

Об этом они ее и не спрашивали. Они задавали нелепые вопросы... странные вопросы... и много говорили о часах.

И тогда она поняла... поняла, что им известны все ее тайные мысли и тайные способы. Каким-то образом они обо всем разузнали. Она была ужасно огорчена. Чувствовала себя униженной и начала дрожать.

Но больше всего говорили они о часах.

И вдруг ей все открылось...

О!.. Теперь она знала. То были не часы; то была вселенная! Вот почему они так встревожены. Часы были вселенной... миром...

Марта Треллис разрушила мир... Каминными щипцами уничтожила она вселенную!

О, как она была рада! Как была рада! У нее началось сердцебиение. Дрожь пробежала по всему телу.

Марта Треллис разрушила вселенную!

Она встала из-за стола и во весь голос крикнула, что она—Марта Треллис—уничтожила вселенную... Она кричала пронзительно... Приблизившись к своим гостям, она кричала, что мир уничтожен... И все повышала голос... Она хотела, чтобы жители Бомбея знали, что она разрушила мир.

Она думала о Бомбее, хотела, чтобы узнали жители Бомбея, чтобы все люди узнали, но прежде всего—жители Бомбея. Она повышала голос, чтобы услышали ее в Бомбее.

Немного спустя гости ее успокоили, заставили принять лекарство... И тогда она перестала дрожать.

Долго говорили они, убеждали ее итти с ними... развели какой-то белый порошок в воде... заставили ее выпить. Ей захотелось спать. Больше она не кричала, но спокойно твердила, что она уничтожила вселенную и очень этому рада.

Наконец она согласилась итти с ними, хотя никак не могла понять, почему дала она свое согласие. Ей было все равно: она очень устала и хотела спать.

Они увели ее с собой и оставили в каком-то доме,

где было много народу и где все бормотали, бормотали, бормотали...

Проходили ночи и дни, а она слышала только бормотанье, бормотанье, бормотанье...

5

Многие из тех, что приезжали в гостиницу, никогда не слыхали о мисс Марте Треллис.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Майкель Уэбб встал рано, когда все еще спали, и спустился в гостиную. Он никогда не мог спать после шести утра. Организм его протестовал против позднего вставания. Организм, но не рассудок.

Не имея возможности спать по утрам и, следовательно, бодрствовать по ночам, Майкель вынужден был отказаться от наиболее занятных развлечений. Тому, кто рано встает, трудно вести порочный образ жизни, ибо почти все развлечения, связанные с такой жизнью, развертываются в промежуток времени от двух до трех часов ночи. Как бы сильно ни было стремление его к разврату, но Майкель Уэбб не мог бодрствовать после полуночи.

Порок—в идее—привлекал его, хотя Майкель был лишь дилетантом и зрителем. Часто приходилось ему слышать об оргиях в модных кабарэ и танцовальных клубах, где шампанское льется, как вода, где смеются и пляшут очаровательные девушки, где грохот дикого джаз-банда доводит мужчин и женщин до сумашествия, и где добродетель рвется в клочья.

Это звучало соблазнительно. Пожалуй, он был бы не прочь участвовать в таких оргиях. За советом он обра-

тился к прожигателям жизни и мужьям актрис из музыкальной комедии. От них он с грустью узнал, что добродетель рвется в клочья не раньше половины третьего ночи.

Ему пришлось отказаться от своего плана... Оргии созданы не для него, раз они протекают в промежуток времени от полуночи до рассвета.

Обрядовая сторона порока приводила его в ужас. Чем больше он о ней думал, тем сильнее она ему не нравилась. От участников оргии требовалось поедать огромное количество пищи, сидеть в комнатах, душных, прокуренных, битком набитых людьми... Часами просиживать за столом... И все это проделывать после полуночи... Зевать, дышать испорченным воздухом и поедать жирные блюда...

Он задумался над тем, какие реформы следует ввести в обрядовую сторону. Пришел к мысли открыть кампанию за усовершенствование разврата и перенесение оргий на вечер. Что бы вы ни говорили, но развратники— тоже люди, имеющие свои неотъемлемые права. Майкель Уэбб был прирожденным мятежником и всегда восставал против всех видов угнетения и несправедливости. Он не мог понять, почему люди, задавшиеся целью быть безнравственными, вынуждены разрушать свои легкие, портить пищеварение, страдать от бессоницы и тратить большие суммы денег.

Эти обстоятельства делали порок чрезвычайно непривлекательным и грозили окончательно его погубить.

Какие разумные доводы можно привести против того, чтобы оргия начиналась в семь часов вечера? Шампанское может литься, как вода, ну,—скажем—в половине восьмого; в десять часов добродетель рвется в клочья, а в полночь все участники оргии спят в своих постелях.

В то утро, проснувшись в своем номере, он размышлял на эту тему и задавал себе вопрос, принесла ли бы какую-нибудь существенную пользу кампания за усовершенствование разврата. Ведь люди так дорожат своими привычками...

Накануне вечер был теплый и душный. Ночью разразилась гроза, сверкала молния, и гром грохотал над холмами. Все обитатели гостиницы проснулись и, лежа в темноте, прислушивались.

Вскоре молнии надоело пугать людей, и гроза удалилась, ворча, как сердитый старый пес. Но ливень не прекращался, не смолкало журчание и плеск воды, и словно чьи-то мокрые руки ощупывали дом.

И на следующее утро дождь шел до полудня. Рассвет наступил своевременно, но появился он в таком жалком виде, что, казалось, следовало бы ему посочувствовать и отослать домой. Это был тусклый серый свет, слозно страдающий анемией. Как призрак, пробрался он в дом, стыдясь своей собственной слабости. И несмотря на все его усилия, в углах комнаты все еще дремали темные тени, черные пауки ночи, и рассвет бессилен был с ними бороться.

Майкель встал рано и спустился в тихую гостиную. Грязный, серый день... запах сырой шерсти и кожи. Конечно, комната имела вид скучающий и тусклый. Скучали стулья, часы, рояль, книжные шкафы, ковры. Все выглядело тупым и неподвижным, все казалось тусклым и инертным... Майкель взглянул на холодный камин... огромный камин, словно разинувший пасть. Изредка шлепались тяжелые капли дождя, попавшие в дымоход.

— В такую погоду следовало бы растопить камин,— вслух сказал Майкель.— Теплые желтые языки пламени...

Что вы на это скажете, столы и стулья? Не правда ли, огонь исправит дело? Немножко нас оживит... А ты какого мнения придерживаешься, ковер?

Столы, стулы и ковры молчали. Быть может, они были слишком тупы, чтобы иметь вообще какое-нибудь мнение по этому вопросу, или же они считали Майкеля болтливым демагогом, с которым не стоит вступать в спор.

— Отлично, — сказал Майкель, выдержав соответствующую паузу.—Предложение принято единогласно.

Появился огонь,—вырос, словно какое-то странное и чудовищное тропическое растение. Семя его—голубое пламя спички—пустило корни и побеги, осторожно пробиравшиеся среди смятых бумажных лент и щепок. Через пять минут горячие золотые щупальцы обвились вокруг сосновых досок; то были остатки ящика, положенные Майкелем поверх тлеющих щепок. А еще через десять минут языки пламени окутали полено. Огонь пробрался в дымоход и тихонько заворчал.

По комнате весело запрыгали отблески света, натыкаясь на мебель, играя с корешками книг, скользя по потолку, быстро пробегая по коврам и выгоняя из углов притаившиеся тени.

Комната оживилась и выставила напоказ все свои сокровища: картину Жоржа Сёра—купающиеся юноши и серебристо-туманная вода; литографию Гаварни, на которой суетливый молодой человек в клетчатых брюках и с развевающимся галстуком, какие нравились парижанам сороковых годов, говорит что-то молодой леди с темными локонами и белыми плечами.

Свет упал на гравюру с картины Генсборо—«М-с Сюзэн Гардинер ребенком»; на темный бронзовый бюст Ленина; и несмотря на то, что бюст был отлит из грубого

металла,—чувствовался в этом человеке ясный и точный ум, питаемый великим пламенем сердца. Над камином висела большая картина кисти Мари Лорансен—странная, жуткая картина, на которой изображены были женщины с глазами темными и страстными,—женщины, словно сотканные из лунных лучей.

На столе из резного дуба, длинном и узком, в стиле итальянского ренессанса, лежали журналы: «Поэзия», «Американские Ведомости», «Торговля и Финансы», «Столетие», «Новая Республика» и «Литературный Альманах». И тут же—серебряный ящик с папиросами, три пепельницы, головоломка из медных колец и проволоки и книга Сомерсэта Могхэма «О рабстве», с вложенным в нее разрезательным ножом.

При виде этих журналов Майкель почувствовал какое-то смутное беспокойство. Ему хотелось, чтобы здесь было поменьше... литературы. С помощью печатного слова мужчины и женщины пытаются объяснить тайну бытия; связывая ряд идей, стараются классифицировать и подвести под рубрики необъяснимое. Но необъяснимое неосязаемо и аморфно. Его не выразишь словами, не подведешь под категории. Оно непостижимо; его можно только почувствовать. Тяжесть его велика. Давление его на жизнь хочется сравнить с давлением воды на стенки ящика, который покоится на дне океана.

Иногда Майкель Уэбб чувствовал, как щупальцы человеческой мысли сплетаются вокруг него, словно паутина. Паутину эту можно уподобить липкой бумаге для мух, по которой ползают люди. Чтобы постичь непознаваемое, человек должен отказаться от логического мышления, избрать какой-то иной путь.

Быть может, интуиция...

Размышления на тему о несовершенстве интеллекта действуют угнетающе. Скучные, неприятные размышления... Не следует предаваться им перед завтраком, если человек не хочет испортить себе настроение на целый день.

Майкель обрадовался, услышав шаги Мередита Купера, спускавшегося с лестницы. Он догадался, что это Мередит, ибо тот, кто спускался с лестницы, неожиданно остановился на площадке, а затем вернулся назад. Мередит по обыкновению что-то забыл... быть может, забыл надеть воротничок или пиджак.

2

Мередит Купер отличался исключительной способностью забывать. Всем известно, как он, отправляясь в путешествие, приезжал на вокзал без шляпы, без чемодана и без денег. Второпях он часто адресовывал письма самому себе, и они регулярно к нему возвращались для просмотра. На нем целиком оправдалось представление карикатуристов о рассеянных профессорах. Он забывал все, кроме абстрактных идей и философских концепций.

Специальностью Мередита были... идеи. Тридцати двух лет он получил место профессора философии в одном из университетов Среднего Запада. Он был самым молодым профессором в этом университете. Все свои познания он классифицировал и разбил на категории, и они отличались удивительной ясностью. Глубокие идеи, которые в головах других людей уподоблялись грузным толстым птицам, с трудом перебирающимся с места на место, в его мозгу превращались в легких проворных ласточек.

Все, что знал Мередит, было словно размещено по

полкам; в любой момент он мог извлечь нужную ему мысль. Такая способность, размышлял Майкель, может быть свойственна лишь человеку, находящемуся в полной гармонии с самим собой. Сейсмические колебания, вызываемые честолюбием, завистью, унынием, похотью, ненавистью, оставляют трещины в душе человека и препятствуют процессу мышления... Этих невзгод не ведал Мередит Купер.

3

Ветчина и яйца послужили темой их разговора. Различные способы приготовления ветчины и яиц... Виргинская ветчина... печеные яйца и вареные... Вынесено было порицание яичницам, приготовленным без грибов... Затронут вопрос о булочках и поджаренном хлебе... Следует ли намазывать маслом ломтики поджаренного хлеба?

— Я считаю, что нужно намазывать хлеб маслом и в таком виде подавать его к столу,—заявил Майкель.— Но намазывать умело! Это избавляет от лишних хлопот.

— Я ничего не имею против того, чтобы самому намазывать маслом,—сказал Мередит,—следовательно...

— Беда в том,—продолжал Майкель, не обращая внимания на слова Мередита,—что теперь никто не умеет хорошо намазать хлеб маслом. Видимо, это искусство в загоне. Не так обстояло дело до войны. Тогда за это дело брались специалисты. Теперь все, кому не лень, намазывают хлеб маслом.

— По утрам я всегда ем овсянку,—сказал молодой профессор.—Овсянку с сахаром и густыми сливками... затем два яйца и поджаренный хлеб. Масло я намазываю сам... Кофе, конечно... А по воскресеньям ем ветчину...

— Хорошо, что в этой гостинице вам всегда подают свежие яйца,—заметил Майкель.

— Пожалуй, сегодня я возьму кусочек ветчины, хотя день не воскресный,—сообщил Мередит.—И закушу вафлями с вареньем. Утро такое холодное и сырое, что...

— Гюс никогда не покупает яиц,—продолжал Майкель.—У него на ферме есть куры. Сколько бы ни приехало гостей, куры всегда на высоте положения.

— Да, пожалуй... Кстати, раз уж речь зашла о яйцах, рассказывал ли я вам об Уифере, сделавшем карьеру на корме для кур?

— Нет, не рассказывали,—ответил Майкель.

— Ну, так я сейчас расскажу,—объявил профессор философии.—С Уифером я познакомился, когда занимался коммерцией.

Получив диплом доктора философии, Мередит Купер в течение трех лет служил в различных конторах. Он намеревался вернуться в университет и заняться профессорской деятельностью, но предварительно хотел узнать, что представляет собой коммерция. И узнал. Своей коммерческой деятельностью он гордился чрезвычайно.

В конторе огромной колониальной фирмы на Гудсон-стрит в Нью-Йорке до сих пор вспоминают мечтательного молодого человека, который так и не научился складывать столбцы цифр.

— Задолго до того, как я познакомился с Уифером... пожалуй, лет двадцать тому назад... думаю, сейчас ему лет сорок пять...—начал Мередит Купер...—он служил клерком в Филадельфии и получал восемнадцать долларов в неделю. Вместе с женой он жил в одной или двух комнатах в рабочем квартале на окраине города... Еже-

дневно работал в конторе... клерк... восемнадцать долларов в неделю...

— Да, да, эти факты вы установили,—сказал Майкель Уэбб.—Из ваших слов я понял, что лет двадцать назад м-р Уифер служил клерком в конторе в Филадельфии. Это вымышленная личность или же он действительно существует?

— О, м-р Уифер — отнюдь не вымышленная личность,—отозвался Мередит.—Разумеется, он существует. Сейчас я вам сообщу то, что он сам мне рассказал. Однажды он прочел в газете, что птицеводы бьют тревогу, ибо куры отказываются нестись регулярно. Яиц нехватает. Миллионы птицеводов сидят на мели и терпят убытки. Наверно в этом вопросе вы разбираетесь лучше, чем я...

— Да, да, я все понял. Рынок не мог удовлетворить спрос на яйца. Вероятно, вы хотите мне рассказать, как м-р Уифер просиживал ночи напролет, изучая химию и стараясь усовершенствовать корм для кур. Наконец он добился своего: заставил кур нести вдвое больше яиц, чем раньше. Теперь оставалось только бросить это новое средство на рынок; задача нелегкая...

— Кто будет рассказывать—вы или я?—перебил молодой профессор философии.—Если вы, то продолжайте, я вас слушаю.

Майкель заявил, что такого намерения у него не было.

— Я и не собирался рассказывать. Мною руководило похвальное желание вам помочь.

— Но вы искажаете смысл, — возразил Мередит.— Впрочем, я нисколько не удивляюсь: ведь этой истории вы не знаете.

— Простите, пожалуйста,—сказал Майкель.

— Так вот, говорю я, м-р Уифер прочел в газете, что птицеводство приходит в упадок, ибо куры перестают нестись. Мало яиц. Он этим делом заинтересовался, заглянул в редакцию журнала по птицеводству и осведомился у редакторов, проверены ли эти сведения. Редакторы заявили, что сведения самые точные, и птицеводы не знают, что делать, к кому обратиться за помощью. Люди, занимающиеся разведением кур, терпят убытки, ибо куры не желают нестись.

«Дня два Уифер это дело обмозговывал, а затем ему пришло в голову, что министерство земледелия Соединенных Штатов... Отдел птицеводства... или как он там называется... может дать кое-какие сведения...

— Простите, что перебиваю,—сказал Майкель,—но почему Уифер заинтересовался птицеводством? Быть может, у него были свои куры?

— О, нет! Случайно ввязался в это дело. Хотел попробовать, не удастся ли ему таким путем заработать...

«Как бы то ни было, но он считал вполне возможным, что в министерстве земледелия знают какое-нибудь средство заставить кур нестись. И, действительно, так оно и было.

«В ответ на его запрос специалисты, работающие при министерстве, заявили что у них имеется прекрасный рецепт. Этот рецепт они вложили в конверт вместе с ответным письмом и дали указания, как им пользоваться. Средство было очень простое и стоило дешево... Нужно было примешивать к корму какой-то порошок.

«М-р Уифер купил запас порошка, дал ему причудливое название и распределил по маленьким пакетикам; каждый пакетик он решил продавать по доллару. Он намерен был широко рекламировать препарат. «Если вы

хотите, чтобы ваши куры неслись, пришлите один доллар и ваш адрес»... Или что-нибудь в этом роде... Но у него было только двестипятьдесят долларов—для рекламы сумма ничтожная. Однако он ухитрился взять взаймы у одного друга еще двести пятьдесят долларов. Эти пятьсот долларов пошли на объявления в журналах по птицеводству... Вот и весь капитал, вложенный Уифером в его грандиозное предприятие.

— Оно увенчалось успехом, не так ли?—спросил Майкель.

— Ну еще бы! Вот что он мне рассказал: как-то утром, вскоре после того как в журнале появились первые объявления, он по обыкновению работал в конторе. Вдруг жена звонит ему по телефону и сообщает, что получено семьдесят пять писем, в каждое письмо вложено по одному доллару. Уифер немедленно отказался от места в конторе и посвятил свои силы быстро разрастающемуся предприятию. Теперь это солидная фирма, и реклама у них широко поставлена. Их товар имеет прекрасный сбыт.

— Любопытная история,—заметил Майкель.—Следовало бы напечатать ее в каком-нибудь крупном журнале. Она будет способствовать торжеству американских идеалов.

Мередит на секунду задумался.

— Нет, это не годится... Уифер—радикал. Если, излагая эту историю, он выскажет свою точку зрения,—журнал может лопнуть.

— Радикал! Несмотря на такой грандиозный успех!—воскликнул Майкель.

— Да, несомненно... Вам следует с ним познакомиться. Даже вас он может кое-чему научить... Странный человек! Главный его интерес в жизни—это дети. Он и

м-с Уифер бездетны, но он усыновил пятерых детей. Почти все свободное время он посвящает детям: нянчит их, учит, водит гулять в парк. Всем заброшенным детям он готов заменить мать... Коммерцию он считает одним из видов анархии... хаоса.

— Правильно,—заявил Майкель.—Все действительно способные дельцы с этим согласны и по мере сил стараются поддержать анархию. Почему? Да потому, что именно это и дает им возможность делать дела. До тех пор, пока производство и распределение товаров проводится беспорядочно, как попало, до тех пор, пока существует конкуренция, а коммерческий успех обусловливается неведомыми факторами, ловкие и жадные дельцы имеют возможность сколотить капитал.

«Следующее поколение восстанет против существующего порядка вещей. Следующее поколение заставит человека объяснить, каким путем достаются ему деньги, и если деятельность его окажется неплодотворной, не приносящей никакой пользы человечеству,—капитал будет у него отобран. Да, следующее поколение именно так и поступит».

Мередит Купер вопросительно на него посмотрел.

— Но почему не это поколение? Ваша точка зрения кажется мне вполне разумной. Но почему же эти идеи ничего не говорят нашему поколению?

— Сейчас я вам объясню,—ответил Майкель.—Люди, которые формируют общественное мнение нашего поколения (заметьте, ими же контролируются творческие силы цивилизации), эти люди слишком ограничены, слишком узколобы... Главным образом они интересуются своей собственной судьбой... Иными словами, они слишком жадны, чтобы поверить в реальность этих идей.

— Вы хотите сказать, что они—реакционеры, консерваторы?

— Нет, этого мало,—возразил Майкель.—Эти слова не точно выражают мою мысль. Консервативный ум делает обзор идеям разного порядка и приходит к тому заключению, что консервативные, реакционные идеи являются наилучшими. Представители же господствующего класса Америки никогда не занимались переваривание духовной пищи. Никакого обзора они не производили. Им и в голову не приходит, что мнения радикалов—наши мнения—зиждятся на каком-то реальном базисе.

«Позиция, какую они занимают, исключает возможность обсуждений и дискуссий. Тем хуже для них, ибо в конце концов мы без всяких рассуждений отберем у них награбленное добро.

«Растет новое поколение, у которого кругозор шире... И представители этого поколения не разрешили бы вашему приятелю Уиферу воспользоваться добычей».

Мередит засмеялся.

— То же самое и он говорит. По его мнению, в любой цивилизованной стране министерство земледелия должно рекламировать корм для кур и продавать его за четверть доллара или десять центов.

4

— Ваш рассказ об Уифере,—продолжал Майкель,—напомнил мне об одном эпизоде, имеющем отношение к капитану Фокскрофту. Здесь также речь идет о накоплении денег, но этим и исчерпывается сходство.

— Кто этот капитан Фокскрофт?—спросил Мередит.

— Живет в Нью-Йорке... Вы его не знаете... Он не принадлежит к категории людей высоко интеллектуальных.

«Фокскрофт получил наследство... солидный капитал. Живет с женой в прекрасном доме, держит шофера, лакея... Не знаю, почему его величают капитаном, ни на какой войне он никогда не был.

«Будь он паяльщиком или надсмотрщиком в артели каменщиков, он бы себя чувствовал счастливейшим человеком, но родители навязали ему деньги, и он очень несчастен, хотя сам не знает почему... Быть может, он не знает и того, что он несчастен.

«И тем не менее он чувствует себя прескверно в своей крахмальной сорочке и смокинге; он томится на музыкальных вечерах, какие устраивает его жена, томится на собраниях и в клубах, где люди беседуют о политических событиях. Фокскрофт глубоко несчастен и хочет допиться до белой горячки, это желание свойственно несчастным людям.

«Он—здоровый, сильный парень и может вместить огромное количество спиртного. Напивается он ежедневно, иногда два раза в день... Обычно я встречаю его в клубе часов около пяти, он сильно пьян, но говорит более или менее членораздельно.

«Года два назад я наткнулся на него в клубе впервые. Он прислонился к моему плечу и стал бормотать что-то невнятное. На меня повеяло запахом спирта. Вскоре я сообразил, что он хочет сообщить мне какие-то ценные сведения—последнюю биржевую новость.

— Ладно,—говорю я.—Выкладывайте.

— Продапшени,—сказал капитан Фокскрофт.—Продапшени... только узнал... разбогатееете...

— Что такое?—спросил я.

— Продапшени,—повторил он очень выразительно.— Или вы английского языка не понимаете?.. Пшеницу, пшеницу... Знаете вы, что такое пшеница?

— Пшеница? Да, знаю.

— Ну, так продавайте ее,—пробормотал капитан Фоксрофт.—Цены падают.

«И он удалился.

«Конечно, никакой пшеницы я продавать не стал. На следующий день встречаю капитана на Пятой Авеню. Как это ни странно, но он был совершенно трезв. Гетры на нем жемчужно-серые, в петлице гвоздика, в руках трость.

«Внезапно меня осенило вдохновение. Я его остановил.

— Капитан,—говорю,—я вам хочу сообщить последнюю биржевую новость... Продавайте пшеницу... понимаете?.. Продавайте пшеницу... цены падают... последние сведения.

«Капитан схватил меня за руку и отвел в сторонку, где нас не толкали прохожие.

— Слушайте,—говорит,—а ведь, пожалуй, это не утка. Я еще вчера получил эти сведения из Миннеаполиса. А вы откуда?

— Из Чикаго,—отвечаю я.—От сведущих людей.

«Капитан ушел и поспешил продать пшеницу. Цены начали падать на следующий же день, и в течение нескольких недель капитан Фоксрофт заработал восемьдесят тысяч долларов. Сведения самые точные,—я их получил от его маклера.»

— Да неужели?—воскликнул Мередит.—А сколько заработали вы?

— Ничего... Я не продавал пшеницы. К делу я отнесся несерьезно. Для меня это был забавный инцидент, а для капитана Фокскрофта—восемьдесят тысяч долларов.

5

Явился м-р Приделль. Стуча каблуками, спустился с лестницы и, хлопнув дверью, вошел в комнату.

М-р Теодор Придделль—ударение он ставил на последнем слоге—избрал своей специальностью подражание покойному президенту Рузвельту. Лицом он несколько походил на Рузвельта, но ростом был ниже. То обстоятельство, что его звали так же, как и президента, казалось ему странным совпадением, имеющим какой-то тайный смысл. Но о своих догадках он никому не говорил из боязни показаться смешным.

Другой его специальностью была аггрессивная практичность. На Майкеля Уэбба он смотрел, как на человека непрактичного, но тем не менее достойного симпатии. Он считал Майкеля Уэбба дураком и очень его любил.

Себя м-р Придделль считал умнее м-ра Уэбба, а м-р Уэбб считал себя умнее м-ра Придделля. Сознание собственного превосходства нередко является фундаментом прочной дружбы. Частенько они вдвоем бродили по проселочным дорогам.

— Эй, вы, бездельники!—крикнул м-р Придделль, появляясь в дверях.—Как поживаете? Вижу, вижу! Вы затопили камин... Неженки!.. поджариваетесь у камина в теплое летнее утро!

С этими словами м-р Придделль вошел в комнату и приблизился к камину, чтобы погреть спину.

— Да, я затопил камин,—сказал Майкель.—Я до такой

степени изнежен, что в сырое темное утро не прочь погреться у огня. А где же ваш костюм для верховой езды, Теодор? Неужели сегодня утром вы не хотите проехаться перед завтраком?

Утренние поездки м-ра Придделля занимали всех обитателей гостиницы. Он нанял на весь сезон смирную крестьянскую лошадку. Неотъемлемыми принадлежностями его костюма для верховой езды были шпоры, широкополая фетровая шляпа и красный шелковый платок, который он повязывал вокруг шеи.

— Пусть ливень вас не смущает,—сказал Мередит Купер.

— О, Теодор ездит и в дождь,—объявил Майкель.— Для него это никакого значения не имеет. Ведь вам все равно—дождь ли льет, солнце ли светит, не правда ли, Теодор?

— Ну, конечно,—отозвался новоявленный Рузвельт и хлопнул почему-то в ладоши.—Чепуха! Маленький дождик мне не помешает. Я не еду до завтрака только потому, что проспал. Слишком поздно проснулся. Будет дождь итти или нет, но сейчас же после завтрака я отправляюсь в путь... Ну, а вы что тут делаете? Должно быть, бреднями занимаетесь?

— Да, занимаемся бреднями,—ответил Майкель.— Рассуждаем на тему о душе.

Эти слова Майкель произнес по вдохновению. Внезапно ему захотелось узнать мнение м-ра Придделля о душе.

— Как вы думаете, Теодор, есть ли у вас душа?

Голос Майкеля прозвучал мрачно и глухо.

— Я не думаю, я знаю,—с торжеством заявил м-р Придделль.—Конечно, у меня есть душа... Я верю в

Библию. Вам, старина, не удастся напичкать меня вашими недопеченными атеистическими и социалистическими идеями.

Эту речь он произнес громко и с увлечением, словно хотел, чтобы весь дом его слышал. Держал он себя чрезвычайно дружелюбно и, закончив фразу, с размаху хлопнул Майкеля по плечу.

Майкель Уэбб знал, что м-р Приддelль—человек значительно более способный, чем кажется или он сам себя считает. Думая о м-ре Придделле, как о дураке, Майкель всегда делал оговорку: м-р Придделль—дурак только потому, что хочет быть таковым.

М-р Придделль не подозревал о своем желании быть дураком, ибо принял это решение подсознательно, как принимаются все великие решения. А так как м-р Придделль не знал даже того, что он наделен подсознательным умом, то, очевидно, все подсознательные решения обречены были остаться для него тайной.

Как бы то ни было, но много лет назад он принял решение стать дураком на всю жизнь... Впрочем, была одна область, в которой он не желал быть дураком. Это исключение он сделал для финансовых операций и закладных.

Когда м-р Придделль проводил финансовые операции, самый злостный циник не мог не признать его умным человеком. И тем не менее... он подражал Рузвельту и был насыщен глупостью, как насыщен духами будуар леди.

Но почему решил он стать дураком?

Основания у него были—не одно, а несколько,—но все они до такой степени переплелись, что желающий распутать этот клубок должен старательно отделять

каждую нить. Боязнь реального—вот одно из оснований. М-р Приделль боялся, как бы реальность не уничтожила его иллюзий, а ведь гибель иллюзий повлечет за собой и гибель карьеры... Будучи дураком, человек может избежать реальности; в сущности это самый верный путь.

Этот вывод не дошел до его сознания. Вернее, то был не вывод, не мысль, а ощущение—туманное ощущение, позолоченное такими словами, как «специалист», «концентрация», «динамическая энергия», «делай свое дело».

Вдобавок он смутно сознавал, что современная цивилизация есть компромисс между противоборствующими разновидностями лицемерия, в которых легко может увязнуть любой человек. О, конечно, нетрудно избрать себе путь, если заранее знаешь, какой из видов лицемерия окажется наиболее действенным. Но кто может знать заранее?

Итак, карьеристу рекомендуется быть дураком во всем, кроме своей специальности. Однако не стоит подавать вид, что ты—дурак. Чрезвычайно непрактично вмешиваться в споры, от которых никакой выгоды быть не может. М-р Приделль понимал это чутьем... не сознавал, но чувствовал.

Но... немыслимо жить среди людей и занимать солидное положение—а м-р Приделль намерен был занять таковое,—если ты не можешь высказать по тому или иному вопросу свое мнение. Здесь ему на помощь пришла гениальная идея подражать Рузвельту. От Рузвельта никто никогда не ждал действительно глубоких и волнующих слов. Весьма вероятно, что м-р Приделль чутьем понял натуру Рузвельта, понял, что эта роль

спасет его от опасной реальности и в то же время даст возможность прослыть простым и добрым малым.

Постоянно кружился он в пенистом водовороте фраз; тысячу раз повторял в течение дня: «Вздор!», «Вот это здорово!», «Какое безобразие! За такую штуку парня следует посадить в тюрьму!»... Безобидные пустые слова, создававшие ему репутацию человека мужественного и откровенного.

Вряд ли нужно упоминать, что он стоял за «хороших граждан», «демократические идеалы» и за формулу: «Каждому свое место». В политике он был либералом. Решение стать либералом было им принято после долгих размышлений и расследований. Эти расследования он проводил до тех пор, пока не убедился, что намеченная им линия поведения является правильной. Он не нашел ни одного человека, который не был бы либералом в политике. Этот вопрос он обсуждал со слесарями, директорами колледжей, репортерами и со своими друзьями коммерсантами. Все они оказались либералами.

Он стоял во главе одного банкирского дома и безупречно выполнял свои обязанности. Это дело он знал досконально. Кроме того, прекрасно играл в бридж и в теннис.

Но в вопросах религиозных он был круглым дураком; а представления его о демократии, литературе, половой проблеме, иностранной политике, искусстве и правах человека давали повод заподозреть его в слюнявом идиотизме.

И тем не менее Майкель Уэбб видел в Придделле не только дурака. Он подмечал такие извилины его ума, о которых сам м-р Придделль даже и не подозревал.

Однажды Майкель написал статью для «Нью-Йорк Таймса», которую м-р Придделль прочел медленно и вдумчиво. Затем вернул газету Майкелю и сказал:

— Майк, знаете ли что... вы сделались бы прекрасным писателем, если бы у вас было поменьше идей.

Эту критику Майкель счел наилучшей и в высшей степени обнадеживающей.

6

— Ну-с, что же вы говорили о душе?—воинственно спросил м-р Придделль.

Все его вопросы звучали воинственно,—такая была у него привычка. Осведомляясь, пришла ли почта, он задавал этот вопрос таким тоном, словно заранее сомневался в правдивости ответа. Казалось, он был окружен неисправимыми лжецами.

— О, я рассуждаю, не является ли тело лишь орудием души, как бы телеграфным аппаратом,—сказал Майкель,—и если душа, о которой мы в сущности ничего не знаем, существует реально...

За спиной м-ра Придделля он подмигнул Мередиту Куперу.

— ...то, знаете ли, Теодор, быть может, тело—одна иллюзия. Быть может, у нас вообще никаких тел нет. Обман зрения. Существует только душа.

— Мне это кажется слишком хитроумным,—объявил м-р Придделль.—Я человек практичный... Впрочем, я готов допустить, что есть доля истины в теософии и мистицизме... Моя жена в это верит... Но чтобы убедить меня, нужно привести доказательства... Дайте мне что-нибудь такое, что бы я мог потрогать, почувство-

вать, увидеть... Да, джентльмены, раньше вы мне должны доказать. Я говорю от лица всех практичных людей. Ваше заявление кажется мне слишком хитроумным.

— Да, оно хитроумно,—согласился Майкель.—Очень хитроумно! Потому-то я и заинтересовался.

— Друзья мои, я вам расскажу об одном случае, имевшем место прошлой весной,—продолжал м-р Придд-дель.—Вас это заинтересует. Я прозрел! Ей богу прозрел! И это подтверждает мои слова: чтобы в чем-нибудь меня убедить, вы должны привести веские доказательства... показать мне нечто осязаемое... Всякий может толковать о карме и о различных духовных планах, но я, человек практичный, рассматриваю это, как пустую болтовню.

«Воскресите мертвого,—вот, что я вам скажу. Принесите мне весть с того света. Сделайте что-нибудь в этом роде, а затем мы с вами потолкуем.

«Как-то вечером прошлой весной м-с Приддделль и я присутствовали на спиритическом сеансе. Впервые попали мы на такой сеанс. Сначала мы не знали, стоит ли итти. Во всяком случае жена моя колебалась. Она боялась, что публика будет не вполне приличная. Тем не менее мы пошли, и публика оказалась респектабельной.

«О сеансах такого рода мне приходилось раньше читать, и я приблизительно знал, чего следует ожидать. Все мы уселись вокруг стола и, соединив руки, образовали цепь, но предварительно медиум—пожилая женщина, сидевшая за портьерами—был связан по рукам и по ногам.

«В комнате была полутьма, присутствовавшие запели гимн... Через несколько минут за портьерами раздался голос... мужской голос, бас... Он передавал некоторым из присутствующих вести от их умерших друзей»...

— И для вас были вести?—спросил Мередит Купер.

— Нет, для меня ничего не было... на этот раз... Все происходившее на этом сеансе казалось из ряда вон выходящим... Худини, фокусник... вы его знаете... утверждает, что все эти штуки основаны на ловкости рук... Я—самый обыкновенный практичный человек, быть может, чуточку посмышленнее, чем первый встречный, но у меня есть голова на плечах, и хотел бы я посмотреть, как бы этот Худини провел второй номер в программе.

«Не забудьте, джентльмены, что двери и окна были заперты, и перед тем как связать медиума все мы внимательно осмотрели комнату. А эту женщину я сам помогал связывать, и могу вас уверить, что связана она была по всем правилам. Итак, никого не было в комнате, кроме семерых за столом и медиума. Конечно, все мы держались за руки.

«Думайте, что хотите, но внезапно в комнате появилась девушка. Я видел ее ясно»...

— Должно быть, молодая индианка?—сказал Майкель.

— Вот именно, вы меня понимаете! Молодая индианка! Кое-кому я эту историю рассказывал, и мне не поверили, но вы поверите. Вы этот вопрос изучали. Итак, в комнате появилась девушка в белом платье и стала разговаривать с присутствующими.

— Вы уверены, что это была молодая девушка?

— Совершенно уверен... И у меня есть основания. Прежде всего я уверен, что это не мог быть медиум. Заметьте, что я—человек уравновешенный, и одурачить

меня не так-то просто... Портьеры были слегка раздвинуты, и я видел, что медиум сидит неподвижно, связанный по рукам и ногам... Девушка обошла вокруг стола, передавая всем, сидевшим за столом, вести от умерших. Подойдя ко мне, она коснулась рукой моей щеки, и можете мне поверить, что это была рука молодой девушки. Мягкая, нежная рука... и гораздо меньше, чем рука медиума...

— Вам она тоже передала весть?

— Да... Она шепнула мне на ухо: «Винсент говорит, что он счастлив на том свете и думает о вас постоянно»... Конечно, я сразу понял, кого она имела в виду. Винсент Уолкер был моим компаньоном... Умер лет десять назад. Наша фирма называлась «Придделль и Уолкер». Закрылась она так давно, что почти все о ней забыли. Я уверен, что никто из присутствующих—за исключением, конечно, моей жены—никогда не слыхал о Придделле и Уолкере.

«Винсент говорит, что он счастлив на том свете и думает о вас постоянно»—вот что шепнула мне девушка! Впрочем, я его никогда не называл Винсентом. Звали его Винсент Джексон Уолкер, и я всегда звал его Джеком. Да и он сам так себя называл. Но это несущественная деталь. Каким образом девушка проникла в комнату? Я отнюдь не спиритуалист, но факт остается фактом. Молодая девушка индианка. Я прекрасно рассмотрел ее лицо индейского типа. Обойдя всех нас, она остановилась посреди комнаты—мы не спускали с нее глаз—и внезапно исчезла.

«Повторяю,—этот случай заставил меня призадуматься. Меня считают человеком грубым, и скептиком, но не могу же я пренебрегать очевидностью!»

— Скажите мне,—спросил Майкель,—эта девушка била в тамбурин?

— Нет, не била,—сказал м-р Придделль.

— А звали ее...

— Жуанита,—ответил м-р Придделль.—Когда она появилась—словно вышла из какого-то серого облака,—она сказала нежным тихим голосом: «Я—Жуанита, индианка». Так она себя назвала.

Майкель встал и в отчаянии схватился за голову.

— О, боже!—пробормотал он.—Вас обманули, одурачили, обвели вокруг пальца!

— Что вы хотите этим сказать?

— Дорогой сэр, духи девушек-индианок, материализуясь, принимают имя «Ясные Глазки». Неужели вы этого не знали? И бьют в тамбурин. Бывают и другие индианки, но это уже подделка. «Ясные Глазки»—вот единственно подлинные...

— Но ведь я сам видел девушку,—перебил м-р Приддделль.—И она передала мне на ухо весть от покойного друга... Коснулась рукой моей щеки...

— Вздор!—фыркнул Майкель.—Подделка! Бессовестная подделка!

7

Пока протекал этот философский спор и дождь хлестал по крыше дома, двое новых гостей приближались к гостинице.

Их сверкающий лимузин показался на мокрых улицах Дэнбери, и шофер, после долгих расспросов, повернул машину на север, к синим холмам, расплывчатые очертания которых можно было разглядеть сквозь завесу дождя.

Внутреннее убранство автомобиля было выдержано в фиолетовых тонах. Мягкая кожаная обивка, блестящее серебро, вещи, сделанные из хрусталя и золота. Здесь находились часы, электрическая зажигалка для сигар, спидометр, соединенный с наружным спидометром, рупор для переговоров с шофером, термометр и барометр, наполненный красной жидкостью. Предполагалось, что барометр будет предсказывать погоду, но он отказывался выполнять свои функции.

Кроме того, в лимузине можно было найти зеркало, прибор для маникюра, пудру и крем для лица; если нажать кнопку, из стенки автомобиля выдвигался ящик с какими-то баночками в кожаных футлярах.

В лимузине ехали двое пожилых людей—мужчина и женщина. Они сидели, откинувшись на спинку и сложив руки на животе. Вернее—не сидели, а полулежали. Изредка женщина брала рупор и говорила шоферу:

— Осторожней, Виллььям!

На что шофер неизменно отвечал:

— Не беспокойтесь, мадам.

Перед каждым придорожным строением или коттэджем автомобиль останавливался, а шофер окликал человека, стоящего в дверях или под навесом:

— Эй, старина, как проехать к гостинице «Горное Эхо»?

Человек, не вынимая рук из карманов, кивком, указывал на север:

— Поезжайте прямо, пока не увидите столб с надписью: «Дорога в гостиницу «Горное Эхо». Тогда сверните на право.

— Понять не могу, зачем мы туда едем,—недовольным тоном произнесла женщина.

— Доверься мне, моя девочка, доверься мне,—выразительно посоветовал мужчина своей пятидесятилетней спутнице.—Я знаю, что делаю.

— Да... тайный помощник...—помолчав, проговорила женщина.—Но почему Майкель Уэбб? Почему именно он?

— Э... гм... видишь ли, нам нужен философ,—ответил мужчина.—А ведь он—философ, не так ли?

— Говорят, что философ,—отозвалась женщина.

— Философ, запутавшийся в паутине!—с жаром воскликнул мужчина.

— У него и фамилия соответствующая *,—добавила женщина и стала смотреть в окно.

— Славные здесь яблони, м-р Торнтон,—сказала она. Это была одна из тех женщин, которые всегда величают своих мужей «мистерами».

— Гм... да... много яблок... прекрасные фруктовые сады. Я здесь знаю каждую пядь земли.

М-р Торнтон был массивным, плотным человеком с лысиной и густыми черными усами. Замолчав, он обеими руками разгладил усы.

— Должно быть, у них горы яблок,—сказала женщина.—Сколько яблонь!

— О, да... яблоки у них есть... Но главным образом они разводят табак. Он хранится в этих больших красных сараях.

— Я люблю яблоки красные, сочные... Говорят, тот, кто ежедневно съедает одно яблоко, не нуждается в докторах... Когда я была девочкой, у нас в погребе

---

* Web — паутина.

всегда стояла бочка с яблоками... Красные сочные яблоки.

— Здесь в Коннектикуте яблоки кислые,—сказал мужчина.—Предназначаются для сидра. Но чего здесь много, так это табаку. Страна табачных плантаций.

Лимузин, разбрызгивая грязь, промчался по единственной улице Брукфилда; замелькали белозеленые домики и мокрые вязы.

— Если эта ведьма еще не побывала здесь и не рассказала обо всем Майкелю Уэббу, наше дело выгорит!—воскликнул мужчина.

— Лучше было бы продолжать игру со Стэденбери,—горестно отозвалась женщина.—Ведь ему все известно.

Мужчина зажал ей рот рукой.

— Тише!—прошептал он.—Ради бога, тише! Кричишь над самым рупором! Или ты хочешь, чтобы и Вилльям узнал все, что мы знаем? О Стэденбери и обо всем?

— О, пустяки! Вилльям ничего не замечает.

И, словно вспомнив о чем-то, она нервно поднесла рупор к губам.

— Осторожней, Вилльям! Мы спускаемся с высокого холма.

— Не беспокойтесь, мадам,—покорно ответил шофер.

— Почему ты ему не сообщила о крутом повороте у подножья?—саркастически заметил мужчина.—Я отсюда вижу столб с надписью.

Снова женщина заговорила в рупор.

— М-р Торнтон сказал, что у подножья холма крутой поворот. Будьте осторожны, Вилльям.

— Хорошо, мадам,—ответил Вилльям.

— Если б только не эта ведьма!..—сквозь зубы про-

бормотал мужчина и лихо закрутил усы.—Быть может, она туда отправилась с той же целью.

— Куда отправилась?

— В гостиницу... «Горное... Эхо»... повидать... Майкеля... Уэбба,—медленно произнес мужчина, разделяя слова мрачными паузами.

— Но уверены ли вы, что она там побывала?

— Эх!—вздохнул мужчина.—Если б я был уверен, что она не говорила с Майкелем Уэббом, тогда я бы знал, как себя держать. Я бы не стал открывать свои карты.

— Но ведь вы можете спросить его, видел ли он ее?

— Что? И выдать тайну? Ни за что! Могу ли я рассчитывать на твою поддержку?

— Тридцать лет я была вам помощницей, м-р Торнтон,—сказала м-с Торнтон,—и теперь уже поздно задавать такие вопросы.

— Видишь ли, я спросил, чтобы знать наверное.

— Я всегда надеюсь на благополучный исход,—заметила м-с Торнтон.—Одного только я не понимаю,—почему вы внезапно решили ехать к Майкелю Уэббу? Вчера, когда мы укладывались спать в гостинице в Дэнбери, у вас этого и в мыслях не было.

— Да... но сегодня за завтраком мне пришел в голову этот план. Во всяком случае, вреда он принести не может. Мы на пути к цели, и времени у нас много.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Пока гости сидели за завтраком, м-р Бюфорд бродил по дому. Лил дождь, и толстяк подумал: «Сегодня все будут сидеть дома».

В гостиной он привел в порядок журналы. Горничная уже разложила их на столе, но он остался недоволен: ему хотелось, чтобы «Географический Журнал» лежал сверху, на самом виду. Это был его любимый журнал. М-р Бюфорд любил читать о чужеземных странах и о том, как живут там люди.

Иногда, но нечасто, гости беседовали о путешествиях, рассказывали о своих приключениях за границей. В таких случаях толстяк присаживался к гостям и слушал; изредка делился своими впечатлениями, сообщал о том, что случалось с ним в заграничных отелях и гостиницах.

Приведя в порядок журналы, он заглянул в библиотеку, посмотрел, на всех ли столах лежат ручки и журналы. В дальнем углу комнаты он положил на стол шахматную доску и расставил на ней шахматы.

Рядом с библиотекой находилась крохотная комнатка—что-то вроде фонарика,—где обычно играли в покер.

Гюс положил фишки и карты на стол, затянутый зеленым сукном. В покер играли в дождливые дни и по вечерам, когда погода стояла холодная, и всегда Гюс без пиджака сидел во главе стола и держал в своих толстых руках веер карт.

2

Казалось, в гостинице даже воздух был пропитан разговорами об эстетике и литературе. Каждый проницательный человек должен был сразу это почувствовать, хотя бы он понятия не имел о репутации «Горного Эхо».

Почти все гости считали себя людьми культурными, и их разговор вертелся вокруг абстрактных понятий. Они беседовали об основных идеях различных эпох и о влиянии книг на цивилизацию.

Они были убеждены, что кое-кто из писателей и некоторые книги в значительной мере повлияли на человеческий прогресс. Вот, например, Эмерсон... Он, так сказать, помог американскому уму сформироваться и оказал влияние на развитие американской мысли. По их мнению, Вольтер и Руссо сделали французскую революцию. Этого мало: они утверждали будто «Хижина дяди Тома» породила антагонизм, который привел к Гражданской войне.

Все эти рассуждения Майкель Уэбб котировал, как пустую болтовню. «С помощью этих идеалистических бредней,—думал он,—культурные люди обманывают самих себя». По его мнению, литература никогда не оказывала существенного влияния на ход исторических событий. Книги не порождают исторических событий; кни-

ги—это цветы событий, вырастающие из истории, как растения вырастают из земли.

Гражданская война началась в тридцатых годах и была в самом разгаре, когда м-с Стоу написала «Хижину дяди Тома». Отпадение южных штатов и призыв к оружию следует рассматривать как последнюю фазу войны, затянувшейся чуть ли ни на тридцать лет.

Не Вольтер и Руссо вызвали к жизни французскую революцию; они сами были вызваны революцией. В течение многих лет французская революция была дымящимся вулканом, в котором медленно накапливалась огненная лава; из этого вулкана вырвались два столба дыма—Вольтер и Руссо. Мудрые люди сумели бы разгадать это предзнаменование, но у власти стояли отнюдь не мудрецы.

Что же касается Эмерсона, сформировавшего американский ум, то Майкель Уэбб рассуждал так: очевидно Эмерсон занимался своим делом в потемках и по ошибке вылепил не американца, а кого-то другого, ибо американский ум ни в какой мере не отражает того, что когда-либо писал или говорил Эмерсон.

Это развенчивание книг имеет свою хорошую сторону, но иногда приходится делать исключения... Вот, например, Библия... Как насчет Библии?

Размышляя о Библии, Майкель допускал, что его теория имеет свои слабые стороны. Несомненно, некоторые книги оказывают влияние на человечество.

На Майкеля Библия произвела сильное впечатление. Самые интересные места он несколько раз перечитывал и знал наизусть целые главы.

— Ведь вы—знаток Библии. Каким образом удалось

вам так основательно ее изучить?—спросил его однажды Мередит Купер.

— Очень просто. Я читал ее и размышлял,—ответил Майкель.

— Но вы не состоите прихожанином какой-нибудь церкви?—продолжал Мередит.—Не так ли? Вы никогда не ходите в церковь, вот я и решил...

Майкель напустил на себя глубокомысленно-серьезный вид.

— Да, к несчастью, не состою,—сказал он.—Однажды я чуть было не записался в прихожане... во всяком случае сделал такую попытку... но намерение мое было превратно истолковано... Хотите послушать, как это случилось?

Молодой профессор изъявил согласие.

— Дело было так: начитавшись Библии, я пришел к тому заключению, что все христиане должны быть социалистами, ибо социализм есть христианство, переведенное на язык экономики.

— Правильно,—согласился Мередит Купер.

— Вот, вот,—продолжал Майкель,—а так как я уже был социалистом, то решил, что не мешает мне сделаться и христианином. Я и отправился к реверенд доктору Марлоу...

— Священник церкви в Брайан-сквере в Нью-Йорке?

— Он самый. Священник одной из богатейших церквей Нью-Йорка. Как вам известно, я верю в целесообразность вести дела с людьми, имеющими вес. Итак, я отправился прямо к нему на квартиру.

«Меня ввели в кабинет доктора Марлоу, и я увидел достойного священника, сидевшего перед камином и читающего журнал. Доктор Марлоу—крупный мужчина,

довольно красивый и любезный. Встретил он меня приветливо.

«Итак, вы бы хотели сделаться прихожанином нашей церкви?—сказал он, когда я сообщил ему о цели своего визита.

«Затем он изъявил свою радость по поводу моего посещения, приветствовал меня и так далее. Словом, был очень вежлив.

— Ведь вы—христианин, не правда ли?—сказал он, помолчав.—В Библию, конечно, верите?

«Эти вопросы он задал небрежно, словно считал их совершенно излишними, раз я изъявил желание стать прихожанином.

— Да, доктор, в Библию я верю,—сказал я,—но один пункт вызывает у меня сомнения, и я уверен, что вы можете меня просветить.

«Вид у него был внушительный и самоуверенный; взглянув на него, я почувствовал, что он без труда сумеет разъяснить любой пункт.

— Я имею в виду десять заповедей,—сказал я.

— А, десять заповедей!—повторил доктор Марлоу и, молитвенно сложив руки, закивал головой.

«Я ему сказал, что, насколько мне известно, десять заповедей написаны богом, и спросил, так ли это. В ответ на мой вопрос он заявил, что десять заповедей бог вручил Моисею на горе Синай.

— Значит они весьма авторитетны, не правда ли?—спросил я.

— О, да!—ответил доктор Марлоу.— Они даны нам богом. Они исходят не от людей, но от самого бога.

— Одна из заповедей,—сказал я,—гласит: «Не убий»...

А мне кажется, что многих людей следовало бы убить, и я сам охотно взялся бы за это дело.

«Эти простые слова явно шокировали доктора Марлоу. Он даже привстал со стула.

— Ну, знаете ли, м-р Уэбб,—воскликнул он,—я поражен! Неужели вы хотите сказать, что вас влечет к убийству?

«Я ему сообщил, что не стал бы называть это убийством. Убить еще не значит совершить убийство.

— Это одно и то же,—торжественно заявил он.— Дорогой сэр, я не могу принять вас в число прихожан этой церкви, раз вы не верите в десять заповедей. Вы— не христианин, если помышляете об убийстве.

«Я понял, что нужно объясниться до конца. Я не предполагал, что из-за такого пустяка возникнет разногласие.

— Послушайте, м-р Марлоу,—начал я,—странно, что мы с вами расходимся по этому вопросу... Я сам слышал, как вы советовали людям убивать других людей, вот я и решил, что мы сговоримся.

«Он вскипел.

— Прошу прощения, но этого вы не могли слышать!

«Но я действительно слышал и поспешил ему напомнить. Я зашел в церковь и слышал его проповедь. Было это в 1917 году, когда солдат отправляли во Францию. Он говорил солдатам, что германская нация должна быть уничтожена, советовал каждому солдату убить побольше немцев. Вот о чем я ему напомнил.

— Но ведь то была война, м-р Уэбб!—пояснил он.— Война нимало не похожа на убийство!

— Да, но какая же в сущности разница?—поинтересовался я.—Когда бог вручил Моисею скрижали с заповедями, он ни слова не сказал о войне. Бог приказал

только: «Не убий». Вот что приводит меня в недоумение... Заповедь чертовски ясна! А ведь бог должен был предвидеть мировую войну, должен был знать о ней даже во времена Моисея. Ему бы ничего не стоило сказать: «н е у б и й... н о у б и в а т ь н е м ц е в я т е б е н е з а п р е щ а ю.

«Доктор Марлоу снова стал улыбаться, а была минута, когда он едва не потерял самообладание.

— Слушайте, м-р Уэбб,—заговорил он,—наш мир далек от совершенства. Мы с вами как люди культурные, прекрасно это знаем. Война—великое зло. Зло даже в том случае, если ее ведут во имя справедливости. Но можем ли мы что-либо изменить? К убийству я отношусь так же отрицательно, как относится любой человек... как относитесь вы...

— Позвольте,—перебил я,—вы меня не поняли. Я стою за убийство, если убивают тех, кого я не люблю. Основываясь на том, что вы говорили во время войны, я думал—вы со мной согласитесь.

«Он не обратил внимания на мои слова и продолжал:

— К несчастью, наш мир несовершенен. В противном случае не было бы ни войны, ни убийств. Но войны бывают, и люди должны стоять за ту или другую из воюющих сторон. И христиане должны делать выбор, иначе от христианства останется лишь сентиментальная теория. Цивилизация вынуждена защищать себя, м-р Уэбб. Да... и христианство, которому угрожают варвары, вынуждено вести борьбу за существование.

«Я вспомнил, как во время войны он называл немцев варварами... кровожадными гуннами.

— Идеалы демократии подвергались опасности,—

продолжал он.—Мы вынуждены были вмешаться в войну, чтобы защищать демократию.

«Наконец и мне удалось вставить словечко.

— Да, сэр, я это знаю,—сказал я.—Мы вмешались в войну, дабы отразить опасность, угрожавшую демократии. Но вот что меня смущает. Бог даже не заикнулся о том, чтобы мы спасали демократию. Бог сказал: «Не убий». Мне лично кажется, что бог сделал промах, высказавшись столь безапелляционно. Я думаю, что не мешает устраивать изредка хорошую резню..

«Вид у него был раздосадованный, и он выпрямился на своем стуле. Но что мне было делать, Меридит? Не мог же я лицемерить! Итак, я продолжаю:

— Мне кажется, доктор Марлоу, церковь вполне права, допуская убийство... и считая его даже похвальным, если цель его—защита демократии... Но знаете ли, у нас, в Соединенных Штатах, есть люди, которые, несомненно, вредят идеалам демократии. Многих они засадили в тюрьму за то, что те высказывали свое мнение, хотя конституция гарантирует всем американцам свободу слова. Мало того... они мошенническим путем урвали для себя то, что принадлежало нации. Благодаря хитроумным трюкам адвокатов, они обвели вокруг пальца закон, заставив его служить их целям. Как же отнесется к этому церковь? Будет ли хвалить или порицать?..

— Замолчите!—воскликнул он.—Я не могу сидеть здесь и слушать, как вы в доме божием издеваетесь над заповедями.

«Уверяю вас, он был взбешен.

Я попросил его не сердиться. Несомненно, он успокоится, если я ему докажу, что мы с ним смотрим на это дело в сущности одинаково. И я стал доказывать.

— Я слышал,—начал я,—как вы говорили в доме божием, что немцев следует убивать, и посылали солдат на убийство. Вы это говорили перед тысячной толпой, а я говорю только одному человеку—вам.

Он встал и ледяным тоном заявил, что считает бессмысленным продолжать разговор. Мое умонастроение препятствует мне стать прихожанином его церкви, и никакой пользы церкви я принести не могу. Тем дело и кончилось.

— Что же было дальше?—спросил Мередит Купер.

— Я ушел... обескураженный. С тех пор я не пытался сделаться прихожанином какой-нибудь церкви.... Да, пожалуй, меня бы никуда не приняли.

Инцидент с доктором Марлоу не остался без последствий, хотя Майкель не упомянул о них в разговоре с Мередитом Купером... Доктор Марлоу оповестил о визите Майкеля своих друзей, а те рассказали своим друзьям. Добиваясь драматического эффекта, рассказчики приукрашивали инцидент кое-какими дополнениями. Вот каким образом Майкель Уэбб прослыл ненавистником Америки, Англии, Франции и... почитателем Германии и немцев.

3

Гюс положил на стол новые колоды карт, поставил ящик с фишками и вышел посмотреть, как снаряжается в путь м-р Приделль. Предстоящая поездка привлекла внимание почти всех обитателей гостиницы, и они столпились в дверях и на веранде.

М-р Приделль повязал вокруг шеи шелковый платок, надел огромную ковбойскую шляпу и вскочил в седло. Моросил холодный дождь. М-р Приделль сидел,

выпрямившись, в левой руке держал поводья, правой опирался о бедро. Молча смотрел он в туманную даль,— туда, где на востоке вырисовывалась цепь холмов.

Зрелище было внушительное.

— Как! Неужели вы поедете, м-р Приддель? Ведь дождь идет!—крикнул кто-то из стоявших на веранде.

— Конечно, поеду. Дождь мне не повредит. Ведь я не сахарный!

— Суровый, закаленный человек,—сказал один из зрителей, но сказал так тихо, что поклонник Рузвельта его не слышал.

— Кто-то вошел в ворота!—воскликнул м-р Приддель, поднимая затянутую в перчатку руку.

К дому приближался молодой человек, с головой закутавшийся в рваное непромокаемое солдатское одеяло.

— Это Рэнни Кипп!—объявил Рюс.

Со всех сторон раздались приветствия и крики. Кричали исключительно мужчины.

— Молодчина, Рэнни!—воскликнул тощий молчаливый субъект, которого обитатели дома прозвали «Джином»*. Казалось, мрачное его настроение рассеялось, и он замахал рукой.—Кипп заботится о своих клиентах, ему все равно—дождь ли идет, солнце ли светит. И сейчас он нам несет свое лекарство. В такой день оно придется очень кстати!

— Нет, ничего он не несет!—объявил толстяк-хозяин.—Просто пришел провести с нами денек.

«Джин» умолк и насторожился.

— Кто это такой?—осведомился м-р Приддель, наклоняясь к Гюсу.

---

* Gin—можжевеловая водка.

— Один из соседей,—прохрипел Гюс.—Молодой ученый.

— Очевидно, он пользуется популярностью,—заметил м-р Приддселль, когда м-р Кипп остановился на веранде, пожимая руки столпившимся вокруг него гостям.

— Совершенно верно,—согласился Гюс.—Он ее заслужил.

4

Рэндольф Кипп действительно был популярным молодым человеком и вдобавок незаурядным. Он отличался оригинальным умом и был наделен пылким сердцем. Обычно люди оригинальные не могут похвастаться пылкостью, а люди пылкие и жизнерадостные редко отмечены оригинальностью. Таково правило. Но этот молодой человек был исключением.

Он жил в хижине, или бенгало, на расстоянии мили от гостиницы. В доме у него была прекрасно оборудованная химическая лаборатория, а также... аппарат для выгонки спирта. Его положение несколько напоминало положение молодого студента, который должен учиться и в то же время зарабатывать себе на жизнь. Все знали, что м-р Кипп пытается изобрести состав, заменяющий газолин, а источником его доходов является выгонка спирта. Разумеется, все местные жители сочувствовали его похвальным стремлениям.

В «Газете», издававшейся в Старом Хэмпдене, часто упоминали о Рэндольфе Киппе и его научных изысканиях. Иногда в нью-йоркских газетах помещались посвященные ему статьи, но пресса упорно обходила молчанием заслуги его как прекрасного бутлегера. Впрочем, в «Газете» появилась однажды передовая статья,

в которой можно было прочесть: «Мы, жители Старого Хэмпдена, можем себя поздравить с тем, что среди нас живет этот талантливый молодой человек. Наша обязанность—оказывать ему поддержку и по мере сил способствовать его плодотворной деятельности».

В это дождливое утро молодой ученый проснулся, обозрел свое жилище и обратил внимание на струйки воды, просачивающейся сквозь потолок. На полу стояли лужи. Ученый снисходительно на них посмотрел.

— Проклятая крыша опять протекает,—сказал он вслух. Как бы ни был человек весел и беззаботен, но упорно протекающая крыша всякого может вывести из терпения.

М-р Кипп изобрел прекрасный метод борьбы с неприятностями: он спешил подальше от них уйти. Пусть неприятности остаются неприятностями,—ему нет дела до них.

Итак, он решил провести день в гостинице «Горное Эхо» и, заперев дверь на ключ, зашагал по дороге.

Зонта у него не было; он надел обтрепанное непромокаемое пальто, а вместо шали на голову набросил старое солдатское одеяло. Лужи он старался обходить, но иногда шлепал прямо по воде.

Он шел и пел во все горло—распевал песню, слова которой знал плохо.

О дочь Венеции!
Жемчужина морей!
Гм... Гм... Люблю тебя!

— Чорт возьми! А как дальше?

О дочь Венеции!
Жемчужина морей!

Клянусь звездой
Тебя не разлюбить...

пропел он; потом умолк и призадумался.

Мы по морю плывем
По морю мы плывем,
Твоим всю жизнь я
Останусь гондольером...

Словам песни он не придавал особого значения. Среди его знакомых не было ни дочерей Венеции, ни жемчужин морей. Пел он просто потому, что на душе у него было радостно и он вспоминал о многочисленных своих любовных похождениях.

5

Пока Рэнни Кипп стоял на веранде и отряхивался, м-р Придделль направил своего коня к воротам и, под любопытными взглядами зевак, выехал на дорогу. Не обращая внимания на дождь и грязь, он пустил лошадь галопом.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Сидя в своем кабинете, находившемся в амбаре, беллетрист Эрнест Торбэй только что приступил к работе. В одном конце огромного деревянного строения Гюс Бюфорд устроил спальную и кабинет, а между ними—ванну. Чтобы попасть в аппартаменты Торбэя, нужно было пройти через амбар и отыскать некрашенную дверь, которая почти сливалась с темной шероховатой стеной.

Комнаты м-ра Торбэя были оклеены зелено-золотыми обоями. Портьеры были оранжевые, бархатные, пол покрыт коврами, стены завешаны гравюрами и оригинальными эскизами, которые остались здесь от прежних жильцов—художников.

Мисс Джин Кольридж—секретарь м-ра Торбэя, а также его поклонница, рабыня и chère amie—принесла завтрак и ему и себе. Раскрыв зонт, она под проливным дождем пробежала от дома до амбара. Комнату она занимала в главном корпусе.

Ее отношения к м-ру Торбэю почти ни для кого не были тайной, а людей ненаблюдательных просветили те, что умеют разбираться в такого рода вещах.

Хотя мисс Кольридж, уважая представление м-ра Бюфорда о респектабельности, жила в главном корпусе, но бо́льшую часть дня проводила в комнатах м-ра Торбэя, исполняя многочисленные свои обязанности. Утром она приносила ему завтрак, и они вместе закусывали. И с утра до полуночи она состояла при его особе. Отсылал он ее лишь для того, чтобы принять у себя м-с Priдделль, отправиться с м-с Priдделль на прогулку или просмотреть и раскритиковать писания м-с Priдделль... ибо эта лэди также подвизалась на литературном поприще.

Отношения мисс Кольридж к м-ру Торбэю для всех были ясны, но отношения к нему м-с Priдделль оставались под сомнением. Обитатели гостиницы достоверных сведений не имели, но с готовностью предполагали худшее. Подозревали все, кроме м-ра Priдделля, но с ним никто этого вопроса не обсуждал.

Он выражал свое удовольствие по поводу того, что жена его интересуется литературой. Пришпоривая м-ра Торбэя и взяв его, так сказать, под свое крылышко, она как бы оказывала покровительство американской литературе.

Что же касается мисс Кольридж, то, по мнению м-ра Priдделля, все эти скандальные толки ни на чем не основаны. Часто беседовал он с мисс Кольридж и имел возможность убедиться в том, что она—женщина рассудительная и скромная. Он не раз замечал, что многие обитательницы гостиницы увлекаются флиртом,—разумеется, самым невинным,—но никогда не видел, чтобы мисс Кольридж флиртовала. Казалось, она была всецело поглощена своей работой.

Он не скрывал, что его жена не разделяет его мнения

о мисс Кольридж. Она ее недолюбливает и считает хитрой особой. Находит, что мисс Кольридж слишком много времени проводит в комнатах м-ра Торбэя.

Но ведь комнаты м-ра Торбэя—его мастерская,—рассуждал м-р Придделль, а мисс Кольридж—его секретарша. Она всегда на своем посту, вот и все!

Тем не менее м-с Придделль утверждала, что мисс Кольридж должна была бы перенести свой пост подальше от спальной м-ра Торбэя.

2

— Проклятье!—спокойно сказал м-р Торбэй, садясь за стол и принимаясь за восьмую главу своего нового романа.

М-р Торбэй был стройный тридцатилетний человек с темными вьющимися волосами, коротко подстриженными усами и греческим профилем. Лоб у него был высокий, подбородок как бы слегка срезан. Кисти рук, длинные, узкие, изящные, походили на тонкие белые лапки, высовывающиеся из рукавов халата.

Это была натура неуравновешенная, дисгармоничная, но несомненно гениальная. Горечь бытия, большинству людей представляющаяся, как нечто отвлеченное, казалась ему вполне реальной—не менее реальной, чем волк, вцепившийся в горло. Его терзала повышенная восприимчивость, натянутые нервы, похоть, противоречивые желания, странные мысли; иногда он не выносил присутствия людей. Было что-то жуткое в его глубоком понимании человеческой природы. Многих читателей его романы раздражали, как раздражает вас присутствие в спальной невидимого наблюдателя. В резуль-

тате они подверглись остракизму. Оценить его произведения могли только люди, прошедшие хорошую школу жизни. Нет, мало того: он нуждался в читателях не только зрелых, но и чутких.

Иногда ему удавалось писать такой блестящий ритмической прозой, что формальные качества этой прозы—стиль и инструментовка—воздействовали на читателя неотразимо: казалось, такое исключительное с формальной стороны произведение не может быть несовершенным.

Но вдохновение осеняло его редко. Обычно с пера его срывались пустые слова,—какой-то невнятный лепет. Лишенный дара самокритики, он рассматривал эту мазню, как художественное произведение. Правда, в конце концов он частенько уничтожал исписанные листы, но лишь после долгих пререканий с мисс Кольридж. Иногда она сама потихоньку уничтожала его писания, если находила их непригодными для печати.

Часто он бывал обаятельным, блестящим собеседником, но, казалось, не имел никакой власти над собой и своим настроением. Людей, на которых раньше произвел благоприятное впечатление, он не раз шокировал непристойными выходками и нередко являлся к ним навеселе.

Прискорбные инциденты... Вернее, они казались прискорбными всем, кроме самого Торбэя. Раскаяния он не ведал, но понимал это чувство и заставлял героев своих романов испытывать острые угрызения совести, словно прививал их душе рак.

Что же касается его души, то в ее ткань вместе с достоинствами—чуткостью и весьма возвышенными чувствами—вплеталась каким-то непонятным образом

подлинная низость. Низость его отнюдь не походила на смелый вызов; это была самая дешевая простая подлость—анонимные письма, грязная ложь, мелкое вымогательство.

Итак, м-р Торбэй сел за стол и сказал: «Проклятье!» Это восклицание в сущности ни к кому не относилось. Мисс Кольридж, молча приводившая в порядок комнату, не обратила на него ни малейшего внимания.

В мисс Кольридж было что-то напоминающее запах мускуса.

Правда, мускусом от нее отнюдь не пахло; если от нее вообще хоть чем-нибудь пахло, то только чистым бельем... Но было что-то в ее губах с опущенными уголками, в легких скользящих движениях рук, в мягком протяжном голосе, во вгляде полузакрытых глаз,—что-то наводящее на мысль о мускусе.

Торбэй писал очень быстро на маленьких клочках бумаги; на каждом листке помещалось не больше двадцати слов, написанных его неровным почерком. Иногда синий карандаш, которым он писал, разрывал бумагу. Писания его были столь неразборчивы, что, пожалуй, мисс Кольридж, давно изучившая его почерк, являлась единственным человеком, который мог разобрать, где конец и где начало.

Исписывая листки, он злобно бросал их на пол. Немного спустя мисс Кольридж их собирала и складывала по порядку, затем переписывала на машинке, оставляя большие промежутки между строчками.

Дня через два Торбэй эти листы просматривал. Сначала ему казалось, что написанное не нуждается в поправках, не мешает изменить только два-три слова. Но затем начинал изменять фразы, вычеркивал целые абза-

цы и кончал тем, что совершенно исчеркивал каждую страницу.

Снова и снова переписывала мисс Кольридж. Раньше чем глава была окончательно отделана, Торбэй и мисс Кольридж знали наизусть каждое слово. Наконец рукопись отправлялась в издательство, и когда приходили гранки, Торбэем снова овладевала мания изменять и вычеркивать.

Словами он пытался сказать, то, что можно выразить лишь в музыке.

3

В то время как м-р Торбэй и мисс Кольридж работали над книгой, м-с Виола Придделль занималась в своей комнате магией.

Сквозь сон слышала она, как встал ее муж; позднее гул голосов возвестил об его отъезде. Долго еще лежала она в постели; затем подали завтрак. Она ела, погруженная в мрачные размышления. К полудню дождь прошел, выглянуло солнце, и м-с Придделль занялась своим туалетом.

Но сначала она приняла ванну; горничная приготовила все, что нужно: духи, полотенца, губки, мыло. М-с Придделль любила теплые ванны, роскошно обставленные, украшенные высокими зеркалами. В таком гнездышке она проводила около часа, рассматривая свою грудь и ноги, втирая в тело душистые мази. Она знала каждый дюйм своего тела. Мысль о старости приводила ее в ужас. Тело она ощущала остро. Это ощущение свойственно женщинам старше сорока лет. Каждый день она в течение нескольких часов воздвигала баррикады, дабы остановить приближающуюся старость.

Она окружала себя новыми вещами и новыми людьми. Все платья у нее были новые: новый стиль, новая материя. Ее туалетные принадлежности сверкали. Она любила новые и блестящие вещи. Любила новых и оригинальных людей. Старых друзей у нее было мало. Она восхищалась новыми идеями в искусстве и поддерживала знакомство с людьми, которые считались передовыми.

Она не знала, что старость—коллекция воспоминаний, не больше. Как бы ни называли роковую болезнь, приводящую к смерти, но в сущности люди умирают, раздавленные грузом воспоминаний, и лежат, погребенные под этим грузом, как египетские фараоны под своими пирамидами из камней.

Приняв ванну, м-с Придделль надела капот и присела к туалетному столу. Перед ней, словно колбы алхимиков, выстроились стеклянные и хрустальные флаконы, наполненные волшебными составами. Лицо она натирала густым жирным кремом. Кончиками пальцев втирая крем в кожу, смотрела на себя в зеркало и размышляла.

Она сидела спиной к окну; туалетный стол стоял так, что свет падал на зеркало, а не на ее лицо, и м-с Придделль была этим раздосадована.

В большом овальном зеркале даль отражалась, словно мираж. Лицо м-с Придделль выделялось на фоне солнечных холмов и безмолвного, дождем омытого неба. Изредка по сонной поверхности зеркала скользило отражение летящей птицы.

В то утро м-с Придделль не обращала внимания на птиц, холмы и небо. Одеваясь, она обнаружила доселе незамеченную морщину на лице, начинавшуюся от левого уголка рта. Душа смятенная не реагирует на пан-

томиму, разыгрываемую природой. Подумайте об этом, и вы поймете! Допустим, директор английского банка узнает внезапно, что из банка похищен миллион фунтов. Неужели же вы думаете, что он выйдет из дому, остановится на мосту Саутуорк и будет любоваться открывшейся панорамой?

Но у м-с Приделль была еще более серьезная причина не замечать природы... Мисс Джин Кольридж.

— Негодная тварь!—тихо произнесла м-с Приделль.—О, негодная тварь... негодная тварь.... негодная тварь.

Эти слова она повторяла глухо, без всякого выражения, словно читала молитву. Повторяла все снова и снова.

Затем ей пришло в голову, что в эту самую минуту мисс Кольридж находится наедине с Эрнестом, и м-с Приделль, подняв намазанные кремом руки, так и застыла в этой позе, словно вознося мольбу какому-то языческому богу. Эта мысль приходила ей в голову ежедневно... не один раз в день... И каждый раз м-с Приделль, охваченная ревностью и бешенством, как бы обращалась в камень.

— Довольно мне разыгрывать из себя дуру,—бормотала она.—Пора перестать... давно пора!

И с этими словами она выпрямилась и быстро стала втирать крем. Вид у нее был решительный.

— Я с ним порву... сегодня же... я с ним порву... Все кончено. Ты ступай своей дорогой, а я пойду своей... Верю и надеюсь, что я—женщина уважающая себя...

— Вы меня не поняли,—заговорила она громко, словно обращаясь к воображаемому слушателю.—Видимо, приняли за одну из тех женщин, которых можно встре-

тить в отелях и на вокзалах. Non, non, monsieur, vous vous trompez!

С достоинством она поклонилась воображаемому слушателю. Она искренно страдала, но тем не менее подумала о том, как красиво звучит эта французская фраза.

— Я удостоила вас своим вниманием... заинтересовалась вашей карьерой, зная, что талант у вас есть, но я не знала...—она приостановилась и выразительно кивнула,—не знала, что низкие ваши инстинкты вас погубят и лишат меня возможности вами интересоваться... Не размышляя, я вам отдала свою любовь... не размышляя, я вам отдала сердце... нет, это звучит слишком сантиментально... я вам отдала свою любовь... а вы... что вы дали мне взамен? Ложь, презрение, лукавство, дьявольские плутни... вы и ваша мисс Джин Кольридж.

Она задумалась. Мысль о кольце... о бриллиантовом кольце... сверлила ей мозг, как сверлит зазубренное копье внутренности раненного животного. Инцидент произошел неделю тому назад, и с тех пор она ни на минуту не могла о нем забыть. При мысли о своем поражении, она задыхалась от бессильной ревности и злобы.

Вот как это случилось.

С прошлого года, то-есть с тех пор, как она уяснила себе характер отношений между м-ром Торбэем и его секретаршей, м-с Придделль настаивала на том, чтобы мисс Кольридж была уволена. Настаивала все энергичнее и энергичнее, по мере того как м-р Торбэй все больше нуждался в ее... материальной поддержке.

Несмотря на то, что она считала себя особой либеральной и всегда высказывалась за полную свободу в отношениях между полами,—несмотря на это, мысль о

мисс Кольридж была ей невыносима. В таких случаях люди всегда проявляют чудовищную непоследовательность. Она охотно отдавала себя двум мужчинам—к счастью, один из них не подозревал о ее великодушии,—но восставала против того, чтобы Торбэй дарил свою любовь двум женщинам. Понять это нетрудно, если мы вспомним, что сексуальная любовь есть в сущности любовь эгоистическая, хотя, казалось бы, многие ее проявления альтруистичны. Сексуальная любовь—наиболее совершенная форма эгоизма—отнюдь не ставит себе целью счастье любимого. Будь это не так, многие мужчины вынуждены были бы передать своих любовниц людям более благородным и великодушным и давать деньги на их содержание.

Как бы то ни было, но м-с Придделль не намерена была содержать мисс Кольридж.

Наконец Эрнест Торбэй объяснил, что он должен уплатить мисс Кольридж жалование за год и лишь после этого можно будет ее уволить. Тогда м-с Придделль вручила Эрнесту чек на две тысячи долларов.

Через несколько дней у мисс Кольридж появилось прекрасное кольцо, усыпанное бриллиантами и рубинами. Она поспешила показать его м-с Придделль.

— Посмотрите, что мне подарил Эрнест,—сказала она, вертя кольцо.—Я не хотела брать, говорила ему, что это слишком ценный подарок.... Мне кажется, такое кольцо стоит не меньше двух тысяч долларов. Но он буквально навязал его мне. О, Эрнест так щедр!

На секунду м-с Придделль лишилась дара слова. В тоске созерцала она кольцо и уже готова была сказать, от кого получил м-р Торбэй деньги на покупку его. Но она во-время удержалась. Она знала, что мисс

Кольридж с деланным изумлением воскликнет: «Как, м-с Приддель, неужели вы действительно дали м-ру Торбэю денег?..» А через несколько дней это будет известно всем обитателям гостиницы.

— Да, очень красивое кольцо,—с горечью отозвалась она.—Но он слишком беден, чтобы делать вам такие ценные подарки... Вам не следовало принимать... А впрочем, может быть, он это дал вместо жалования?

— О, нет!—с улыбкой заявила мисс Кольридж.—Жалование он мне давно уплатил. И право же я не хотела брать кольцо... Но он настоял... Сказал, что это подарок за сверхурочную работу... Должно быть, вам, м-с Приддель, известно, что у меня часто бывает сверхурочная работа.

Да, м-с Приддель кое-что знала о сверхурочной работе мисс Кольридж.

А затем—через полчаса—явился Торбэй и, целуя руки м-с Приддель, стал объяснять:

— Видишь ли, дорогая Виола, она сказала, что возьмет кольцо вместо жалования...

— Но она говорит, что это подарок!

— О, нет, ты не так поняла... Она не хотела тебе говорить, что я задерживаю выплату жалования.

— Хорошо, но теперь ты с ней расплатился. Мне кажется, ты можешь без всяких разговоров ее уволить.

— Знаешь ли, дорогая моя, положение создалось в высшей степени затруднительное,—объявил находчивый м-р Торбэй.—Оказывается, я не платил ей жалования не один год, а почти два года... Она мне напомнила...

Он приостановился и стал кусать губы, словно ломал себе голову над неразрешимой дилеммой.

— ...Я связан по рукам и по ногам. Мне нужно раз-

добыть еще хотя бы две тысячи, чтобы рассчитаться с ней...

М-с Приддель отняла у него руку, встала и вышла.

4

— Подлая, низкая тварь,—сказала она, глядя на свое отражение в зеркале.—Вздумала показать мне кольцо! Она прекрасно знала, от кого он получил деньги... О, как я им гордилась! Мне хотелось хоть что-нибудь для него сделать, чтобы моя жизнь не прошла бесследно... Сын и любовник... сын и любовник...

Слезы брызнули у нее из глаз и смешались с кольд-кремом. Ее жизнь прошла не без любовных приключений. До встречи с Эрнестом Торбэем она знала других мужчин. Но эти воспоминания нимало ее не утешали. В любви прошлое теряет смысл. Цену имеет лишь настоящее.

— Но теперь все кончено,—с торжеством объявила она.—Я ему скажу, что от меня он больше ничего не дождется. Ни одного цента. Он со своей мисс Джин Кольридж будет валяться в канаве... да... пусть он об этом подумает... в канаве...

Запнувшись, она так и осталась с открытым ртом. Внезапно ей пришло в голову, что, быть может, Эрнест ничего не имеет против того, чтобы очутиться в канаве... Пожалуй, он даже предпочтет канаву.

— О, ведь он—ребенок,—сквозь слезы выговорила она.—И ему нужен человек, который бы о нем заботился.

Она вытерла слезы и грустно начала массировать лицо. Но через секунду снова опустила руки. Она си-

дела безмолвная и неподвижная, а кольд-крем высыхал у нее на лице...

Вдруг она встала, быстро подошла к кровати и упала на нее ничком.

— О, я его люблю, люблю, люблю...

Она была олицетворением отчаяния.

— Люблю, люблю, люблю,—твердила она, захлебываясь от рыданий.

Вы, дети, играющие любовью! Вы, юноши и девушки, встречающие утро жизни! Вы с вашими игрушечными страстями и муками! О, если б вы знали, что несет любовь женщине в сорок пять лет!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

— Я ничего не принес, Блеки,—объявил Рэндольф Кипп бродившему вокруг него «Джину».

— Ну-ну, вы шутите! У вас припрятана в кармане бутылка. Вы меня дразните, Рэнни.

Ученый бутлегер покачал кудрявой головой.

— Нет, Блеки, я не шучу. Поверьте, я говорю истинную правду. Я бы вас с удовольствием напоил допьяна, но право же у меня нет спирта.

Этот разговор происходил в так называемой бильярдной. В сущности, то была не комната: бильярдная помещалась в кухне, где для нее была отведена площадь в виде прямоугольника, обведенного красной чертой. Когда заботливый м-р Бюфорд купил для своих гостей бильярд, оказалось, что некуда его поставить. В течение нескольких дней толстяк нервничал и бродил по всему дому; осматривал ригу, душный чердак, домик, где хранились садовые инструменты, затянутую паутиной комнату над гаражем. Все эти помещения были непригодны: либо пол грозил провалиться под тяжестью бильярда, либо комнаты были слишком маленькие и темные. Но Гюс не почувствовал досады,

ибо ни секунды не предполагал устраивать здесь бильярдную. Бродя по дому, он вынашивал великую идею.

План у него был такой: поставить бильярд в кухне; это он намеревался сделать с самого начала, но какая-то особенность его натуры мешала ему осуществить задуманное. Долго искал он другого исхода для того, чтобы в конце концов, вернуться к первоначальному решению.

Кухня в гостинице была огромная. Кирпичный очаг занимал центральное место, возвышаясь словно гигантская четырехугольная красная колонна. Комнату он разделял на две половины—в одной была бильярдная, в другой кухня. Гюс начертил на полу жирный красный прямоугольник, ограничивающий площадь бильярдной.

По одну сторону очага—кухонное царство, по другую—ряд кресел перед камином, а дальше—бильярд со всеми его принадлежностями.

В это сырое холодное утро Рэндольф Кипп стоял и сушился перед камином.

В бильярдной всегда стоял вкусный запах съестного, а иногда от сковород доносился легкий сероватый дымок. Поварам было строжайше запрещено переступать красную черту, но если они бывали в духе, то частенько передавали игрокам куски курицы и поджаренного хлеба, трубочки с кремом или подрумяненные сосиски.

М-р Кипп окутанный паром, поднимавшимся от его мокрой одежды, откусил кусок сосиски, завернутой в мягкий хлеб, и глотнул кофе. Осторожно поставив чашку на доску камина, он вытер рот и с удивлением посмотрел на «Джина».

— Послушайте, Блеки!—воскликнул он.—На прошлой

неделе... да, на прошлой неделе... вы у меня взяли двенадцать бутылок виски. Где же они?

— Выпил,—ответил Блеки.

— Неужели вы в течение одной недели выпили двенадцать бутылок?

— Это было десять дней назад,—возразил «Джин».— Конечно, я пил не один. Приходилось, знаете ли, угощать...

— Но больше у меня нет, старина... ни капли не осталось,—объявил бутлегер, снова принимаясь за сосиску.

М-ра Киппа отнюдь нельзя было назвать человеком элегантным. Это был рослый, широкоплечий мужчина с грубоватым простым лицом и красивыми серыми глазами. Его синий саржевый костюм, видимо, никогда не бывал под утюгом и выглядел потрепанным и грязным, такой вид имеют все синие саржевые костюмы, на которые их владелец упорно не обращает внимания. Пиджак был надет поверх темного шерстяного свитера, какие носят лесничие и охотники; брюки казались слишком короткими.

Блеки был расстроен и нервничал. Смочил губы языком; медленно провел рукой по лбу.

— Мне кажется, у Гюса есть виски,—заметил Кипп.— Попросите у него.

— У Гюса нет,—мрачно объявил Блеки.—Он говорит, что у него ничего не осталось.

М-р Кипп покончил с сосиской и допил кофе.

— Послушайте, Блеки, неужели вы не можете прожить несколько дней без спирта? Ну, подумайте! Ведь вы же не ребенок, а взрослый человек! Опомнитесь,

Блеки! Неужели вся ваша жизнь зависит от нескольких унций алкоголя?

Со своими клиентами он всегда говорил поучительным тоном. Он хорошо учитывал психологию среднего человека и ухитрялся переложить на клиента ответственность за нарушение закона. Кому бы он ни продавал спирт, покупатель всегда чувствовал себя виновным. В результате такой стратегии наиболее благонадежные из жителей Старого Хэмпдена считали Киппа скорее благодетелем, чем бутлегером.

— Вы слишком пристрастились к спирту,—откровенно сказал он Блеки.

Тот сделал презрительный жест.

— Чорт возьми! Можно подумать, что я—неисправимый пьяница... Дело в том, Рэнни, что утро сегодня сырое, дождливое, а виски предохраняет от простуды... вот и все.

— Что же делать! Виски у меня нет, а то бы я вам дал.

— Но ведь дома-то у вас есть, не правда ли? Я знаю, вы не хотите возвращаться домой под дождем, но если вы мне дадите ключ, я принесу.

«Джин» заметно оживился.

Кипп покачал головой.

— Нет, Блеки, и дома у меня нет виски. Целый месяц я не гнал спирта.

Несколько секунд Блеки тупо глядел на мокрые деревья за окном.

— Ничего не понимаю,—медленно произнес он наконец.—Снабжение всей нации спиртом зависит от таких парней, как вы. Мы вам поручаем это дело, всецело на вас полагаясь, а вы сидите сложа руки.

Вид у него был в высшей степени недовольный.

— Целый месяц не гнал спирта,—повторил он, словно разговаривая сам с собой.

— На прошлой неделе я произвел ряд опытов, и мне некогда было думать о спирте,—пояснил бутлегер.— Кажется, я нашел, наконец, горючий материал, который может заменить газолин и будет стоить не дороже трех центов галлон. Вы только подумайте об этом, Блеки! Состав во всех отношениях хорош, но только недостаточно экономен. Нужно будет его усовершенствовать. Это вопрос серьезный. Мне некогда заниматься другими делами.

— Здорово, здорово, здорово!—одобрил Блеки, дружелюбно кивая головой. На него, как и на большинство пьяниц, достижения науки и искусства производили огромное впечатление. Он любовно положил руку на плечо Киппа.

— Мы все гордимся вами, Рэнни. Следим за каждым вашим шагом.

Кипп на секунду задумался.

— Знаете, что я вам посоветую, Блеки,—сказал он.— Ступайте к Эрнесту Торбэю. Я уверен, что у него есть виски. Не так давно я ему продал целый ящик.

— Гм... он мне не по душе,—возразил Блеки.—Мне не хочется просить у него. Странный он парень...

— Ну, полно! Не робейте!—подбодрил его Кипп.— Скажите ему, что вы хотите купить у него одну бутылку. Не будет ли он так любезен?.. Понимаете? К Эрнесту нужно подойти умеючи. Похвалите его книги.

В кухню вошел Майкель Уэбб с каким-то человеком, которого Кипп никогда раньше не видел. Перешагнув через красную черту, они очутились в бильярдной.

— Рэнни,—сказал Майкель,—я хочу познакомить вас с м-ром Харлеем... Сэмом Харлеем... редактором «Воскресного Обозрения». М-р Кипп... м-р Харлей... Сэм, этот мальчик...—и Майкель ласково положил руку на плечо Киппа,—этот мальчик является одним из крупнейших химиков. Он хочет изобрести состав заменяющий газолин, и, кажется, в настоящее время ухватил его за хвост...

— Да, но хвост-то очень скользкий, Майк,—засмеялся изобретатель,—боюсь, что мне не удастся его удержать.

2

— Когда я приезжаю в гостиницу, мне часто приходится слышать о вас, м-р Кипп,—сказал редактор.— О вас и о ваших интересных изысканиях.

— А приходилось ли вам отведывать мое зелье?— осведомился м-р Кипп.—В настоящее время меня знают скорее как бутлегера, но не как ученого.

Харлей засмеялся.

— Ваше зелье я пил,—ответил он,—и остался очень доволен.

— Я стараюсь изо всех сил,—пробормотал бутлегер.

Редактор заметил, что гонка спирта, кажется, процветает повсюду.

— Вы ошибаетесь,—возразил Кипп.—Очень многие позорят профессию бутлегера, но они—люди, обреченные на неудачу. Должен вам сказать, что профессия эта очень выгодная, если ею занимаются люди ловкие и добросовестные. Энергичным, хорошо образованным юношам открывается широкое поприще... Вы понимае-

те—я имею в виду честных, прямолинейных молодых людей. Я лично занялся этим делом только для того, чтобы прокормиться, пока я произвожу эксперименты и пытаюсь найти дешевый горючий материал для моторов. Но торговля моя развивалась не по дням, а по часам. Да, сэр, развивалась с головокружительной быстротой!

— По субботам и праздникам,—вмешался Майкель,—вы имеете возможность наблюдать, как страдают от головокружения клиенты Рэнни.

— Убирайтесь к чорту,—спокойно сказал бутлегер.

— Выгодное дело, не так ли?—осведомился редактор.

— О, да! Но мне не суждено разбогатеть. Видите ли, весь мой заработок уходит на эксперименты. Это дело открывает широкие перспективы энергичным молодым людям, которые отнесутся к гонке спирта, как к серьезной профессии... Знаете ли, на-днях приехали какие-то дельцы из Нью-Йорка и предложили мне вести курс заочного обучения по выгонке спирта. Я отклонил предложение.

— Почтовое ведомство никогда бы этого не разрешило,—покачав головой, заметил Харлей.

— Я тоже так думал, но эти парни из Нью-Йорка заявили, что у них есть заручка, и они ничем не рискуют. Но я все-таки отказался. Я намереваюсь бросить эту профессию, как только усовершенствую новый горючий материал для моторов.

— Боитесь попасть в беду?—осведомился Харлей.

— Как я могу попасть в беду?

— Ну, знаете ли, это нередко случается с бутлегерами,—сказал Харлей.—За продажу спирта...

— Я ничем не рискую,—возразил молодой ученый.—

Те, что попадают в беду, лишены здравого смысла. Многие из них—негодяи, которые угодили бы в тюрьму, даже если бы открыли булочную. Мы—профессионалы—должны выпалывать сорную траву.

«Прежде всего бутлегер обязан заручиться расположением самых респектабельных граждан. Добейтесь этого и можете считать, что битва почти выиграна. Затем выпускайте доброкачественную виски и продавайте по умеренным ценам.

«Здесь, в Старом Хэмпдене, я забрал в свои руки...— Он перечислял по пальцам...—Конгрегационалистов— наиболее влиятельную церковь; затем—торговую палату; местного судью; редактора деревенской газеты; епископальную церковь... да, и она у меня в руках; деревенский клуб...»

— Забрали в руки? Что вы этим хотите сказать?

— Все они у меня покупают... Я заполучил и майора, еще до того, как он прошел на выборах... В сущности он и теперь состоит моим клиентом, но покупает через третьих лиц... Стыдится... А все-таки он у меня в руках! Несколько месяцев назад сюда явился финансовый агент и напал на мой след, но его заставили убраться восвояси.

Харлей повернулся к Майкелю Уэббу.

— Кажется, вы мне рассказывали о том, как одного здешнего бутлегера засадили в тюрьму...

Майкель улыбнулся.

— Да ведь Рэнни об этом и говорит.

— Агент должен был себя проявить,—пояснил Кипп.—Ему неудобно было вернуться с пустыми руками... Я его понимаю... И даже сочувствую ему... На его месте я бы поступил точно так же. Вот он и подцепил этого итальянца... Несколько месяцев назад

я предостерегал парня, что он попадет в беду за продажу спирта бродягам и бездельникам... Мало того — он продавал спирт рабочим, развращал нравы. Всякий раз, когда по понедельникам рабочий опаздывал на завод, винили в этом итальянца.

Редактор задумчиво посмотрел на бутлегера.

— А вы не имеете дела с рабочими?—осведомился он.

— Конечно, нет! Хвастаться не хочу, но должен сказать, что в наших краях взгляд на профессию бутлегера изменился именно благодаря мне. Я доказал, что бутлегер может занять почетное положение в обществе. Жители Старого Хэмпдена относятся ко мне едва ли ни с таким же уважением, как к председателю «Ассоциации по улучшению быта деревни».

Очевидно, Харлей не поверил такому заявлению.

— Вы слишком уверены в своей безопасности,—сказал он.—Нельзя предугадать, когда грянет гром. В Нью-Йорке два брата—бутлегера, люди богатые и влиятельные, были посажены в тюрьму, а затем переведены в исправительный дом.

— Знаю, знаю,—подхватил Кипп.

— Так-то, сэр... Должно быть, они тоже верили, что находятся в безопасности. Богатые люди, со связями... Состояли в родстве с ректором одного большого университета. Деньги, адвокаты, связи, ректор—ничто не могло их спасти. Отправились-таки в исправительный дом!

Кипп предостерегающе поднял руку.

— А что я им говорил? Разве я их не предупреждал? Конечно, предупреждал. Этих молодчиков в цилиндрах я встретил в Монреале, на съезде «Международной ассо-

циации бутлегеров». И я им предсказал, какая судьба их ждет.

— Но почему?

— Они повинны в угнетении людей! У них не было чувства моральной ответственности. М-р Харлей, запомните: современный бутлегер—слуга общества. Повезло ли им или же так сложились обстоятельства, но одно очевидно: бутлегеры держат в своих руках лакомый кусочек и имеют возможность угощать им публику.

«Эти парни из Нью-Йорка не чувствовали на себе ответственности перед обществом. Они бессовестно попирали неотъемлемые права человечества. Они делали кровопускание промышленному миру. Навьючили на людей груз непомерной тяжести. Продавали за восемьдесят четыре доллара ящик виски, за который я беру тридцать шесть. Людовик шестнадцатый поплатился головой за менее серьезные промахи. Так я им и сказал... А когда их засадили в тюрьму, жители Нью-Йорка вздохнули с облегчением.

«Я поступаю иначе. Жители Старого Хэмпдена не страдают от угнетения: подать, какою я их обложил, невелика. Живи и жить давай другим—вот мой девиз. Люди не сгибаются под тяжестью ноши, здесь все веселы и довольны».

— На съезде Рэнни прочел доклад,—сообщил Майкель,—и этот доклад свидетельствовал о высоком строе души бутлегера. Съезд принес ему благодарность... Расскажите-ка об этом, Рэнни.

— В сущности, не о чем рассказывать,—скромно ответил молодой человек.—Реферат назывался «Бутлегер и его роль в человеческом прогрессе». Я доказал—или пытался доказать,—как бутлегер, одушевленный жела-

нием послужить обществу, не отстает от века, бьется в первом ряду бойцов за социальные реформы и может быть полезен своей общине. Вот и все.

— Послушайте,—прохрипел м-р Бюфорд. В комнату он вошел незаметно, поскольку может остаться незамеченным человек весом в триста фунтов.—Послушайте, быть может, кто-нибудь из вас хочет сыграть в покер?

Гюс приглашал только из вежливости, ибо игроков набралось достаточное количество. Но Сэмуэль Харлей, приняв приглашение за чистую монету поспешил выразить согласие, а Гюс призадумался: что это будет за покер, если за столом сидит восемь человек?

М-р Кипп, дружески придерживая м-ра Бюфорда за лацкан пиджака, задал вопрос:

— Гюс, кто эта красивая молодая леди... брюнетка?

— Та, что сидела на веранде, когда вы вошли?

— Я говорю о брюнетке, Гюс. Брюнетка, брюнетка! А на веранде сидела блондинка.

— Я думал, что ее-то вы и имеете в виду,—заметил Гюс.

— Вы думали, что, говоря о брюнетке, я подразумеваю блондинку, да? Гюс, у вас ожирение мозга! Я вас спрашиваю о красивой молодой брюнетке, которая была в гостиной.

— О-о! Почему же вы сразу этого не сказали?—захрипел Гюс.—Это—Элис Уэйн. Когда вы проходили через гостиную, там сидела брюнетка, вы о ней спрашиваете?

— Ну, довольно!—перебил Майкель и взял м-ра Киппа под-руку.—Рэнни хочет познакомиться с мисс Уэйн, идемте, я вас познакомлю.

3

— Так вот где вы работаете?—произнес «Джин» отправившийся на поиски виски, и, открывая дверь в кабинет Торбэя, нерешительно остановился.

— Алло!—холодно отозвался беллетрист и указал на стул. Блеки, стараясь не наступить на исписанные синим карандашом листки, которыми был усыпан пол, подошел и робко опустился на стул.

— Вы знакомы с моим секретарем—мисс Кольридж?

— Конечно, знаком,—ответил Блеки.—Как поживаете, мисс Кольридж?

Он приподнялся на два дюйма над стулом и снова сел.

— Здравствуйте,—равнодушно отозвалась мисс Кольридж.

— Знаете ли, Эрнест, я ведь здесь еще ни разу не был... Должен сказать, что у вас прекрасный кабинет...—Он окинул взглядом комнату. —Да, очень уютно... Эрнест, я прочел ваш последний роман. Дружище, это замечательная вещь! Я читал до двух часов ночи, не мог оторваться...—Блеки зажмурился и медленно покачал головой.—Великое произведение! И глубокомысленное... вот только синтаксис не понятен...

— Да, синтаксиса очень многие не понимают,—сухо заметил автор.

— Чертовски хорошая книга! Простите, пожалуйста, мисс Кольридж,—и Блеки слегка поклонился в сторону мисс Кольридж.—Нечаянно с языка сорвалось... Знаете ли, Эрнест, я порекомендовал вашу книгу главе фирмы, где я служу... М-ру Кофлер... Он очень интересуется литературой... покупает книги. Следовало бы вам посмотреть его библиотеку. У него есть книги, которые стоят

пять-шесть тысяч долларов... редкие экземпляры... Десять или двенадцать комплектов Шекспира. Это его конек... Я ему говорил о вас и о вашей работе.

— Вот как?

— Да... говорил... Знаете ли, Эрнест, конечно, в литературе я ничего не понимаю, но я часто размышлял, почему бы вам ни написать ходкой книги. Ведь вы же можете это сделать. У вас есть талант, дружище... И только неуверенность в себе мешает вам приняться за дело. Да, вы можете написать прекрасную ходкую книгу и когда-нибудь напишете... Запомните мои слова.

— Вы так думаете?—осведомился хозяин.

— Не сомневаюсь... Вы это сделаете, стоит вам только попытаться. Нужно верить в свои силы... Вы знаете, сколько загребают все эти парни? Ну, конечно, вы это знаете лучше, чем я. Я слыхал, что хорошая ходкая книга дает автору от пятидесяти до ста тысяч долларов, не говоря уже о периодических изданиях и переделках для кино.

— И вы думаете, Блеки, что какая-нибудь из моих книг может принести мне столько же?

— Если она будет написана иначе... Но повторяю вам, старина, вы сумеете дать ходкую книгу... Ваши романы прекрасны, но они предназначены для узкого круга. Конечно, я не говорю о таких читателях, как я, но возьмем самого заурядного парня... Ведь он не понимает, о чем вы хотите сказать. Нужно изучать рынок. Вот, например, наша фирма—шерстяные товары и мужские костюмы—разузнает, что нужно покупателю, а затем выбрасывает товар на рынок. Иди в ногу с веком; это—великая идея. Я уверен, что все эти парни, которые пишут ходкие книги, предварительно изучают рынок.

— Быть может, я бы сумел написать веселую книгу,— заметил беллетрист.— Такую, знаете ли, где все действующие лица веселятся. Как вы думаете, мог бы я на этом заработать?

Блеки секунду помолчал.

— Пожалуй,— нерешительно произнес он,— но, мне кажется, лучше было бы написать книгу таинственную и волнующую. Хотите, Эрнест, я вам назову автора, которого очень люблю? Вы будете удивлены, потому что он не считается первоклассным или серьезным. Вы понимаете, что я хочу сказать? И тем не менее он пользуется успехом. Это Филипс Оппенхейм *. Что бы вы ни говорили, а старина Оппенхейм пишет так, что не оторвешься, пока ни дочитаешь до конца. А как распродаются его книги! Вы что-нибудь читали?

Эрнест покачал головой.

— Нет.

— Следует прочесть. Тогда вы получите представление о том, что нужно публике. Занятные книги! Помню, в одной из них говорится о человеке, который бредет по проселочной дороге в Англии, срывает какие-то ягоды с куста и ест. После этого характер его резко изменяется, все кажется ему не таким, как было раньше. Оказывается, куст, с которого он сорвал ягоды, привезен из Восточной Индии и...

Беллетрист махнул рукой.

— Вздор!— перебил он.— Зачем вы пришли Блеки? Я занят. Говорите прямо, без предисловий.

— Я просто хотел поглядеть на вас, старина. Ведь я еще ни разу у вас не был.

---

* Большой мастер детективных романов. *Прим. перев.*

Торбэй взял синий карандаш и придвинул к себе блок-нот.

— Ладно. Рад вас видеть,—сказал он.—Вы меня простите, я должен писать. Можете осмотреть пока комнату.

— Нет, нет, я не хочу вам мешать... Знаете ли, Эрнест, что мне пришло в голову, пока я здесь сидел? Не продадите ли вы мне бутылочку виски? Кажется, только у вас и есть виски. У Рэнни Киппа не осталось ни одной бутылки.

Торбэй нимало его не обнадежил.

— Нет, сегодня я вам не продам виски, а до завтрашнего дня я пить не собираюсь. Приходите завтра, и я вас даром напою допьяна, но с тем условием, чтобы вы сидели здесь, пили и меня развлекали...

— Я никогда не бываю пьян,—решительно заявил Блеки.—Конечно, я буду рад выпить с вами, старина, когда бы вы мне ни предложили... но мой принцип—умеренность...

— А мой принцип,—перебил Торбэй,—напиваться, как стелька!

— Я хотел вам сказать, что сегодня мне дозарезу нужно немножко спирту. Я думал..., быть может, вы согласитесь продать мне бутылочку. Сделайте такую милость...

Торбэй выразительно произнес:

— Нет.

— Эрнест, ради Христа, не отказывайте! Ей-богу, я бы для вас это сделал. Мне так хочется выпить, что даже под ложечкой сосет.

— Нет,—повторил беллетрист,—мне самому нужен спирт.

— Денег мне не жаль!—вспылил Блеки.—Если вас смущает цена... я готов заплатить вдвое дороже.

— О, нет! Если б я хотел продать вам виски, я бы продал по себестоимости,—заявил Торбэй.—Я не собираюсь зарабатывать на этом деле. А знаете ли, что я вам предложу, Блеки? Если в вас течет кровь спортсмэна, я вам дам возможность получить бутылку даром.

— Каким образом?

— Я платил три доллара за бутылку. Разыграем ее. Возьмем колоду карт. Если вы откроете старшую карту— я вам отдаю бутылку даром. Если же открою я—вы мне даете три доллара и не получаете виски. Поняли?

— Иными словами, я ставлю три доллара против вашей бутылки виски? Ладно, согласен!

— Принесите,—обратился Торбэй к мисс Кольридж,— колоду карт и бутылку виски. Пусть боги нас рассудят... Сейчас мы прочтем роковые письмена, начертанные на скрижалях Сибиллы.

Торбэй вдруг развеселился и стал улыбаться. Он смахнул со стола свою рукопись, и листки рассыпались по полу.

Колода, которую принесла мисс Кольридж, отличалась некоторыми странностями, нимало не бросающимися в глаза. Все тузы и короли были на одну тридцать вторую дюйма длинее, чем остальные карты.

Торбэй протянул их «Джину».

— Тасуйте,—сказал он,—и снимайте, или я сниму первым, как вам будет угодно... Ну, начинайте!

Блеки открыл десятку червей. Когда карты перешли в руки Торбэя, он быстро провел большим пальцем по краю колоды. Длинные карты слегка выдвинулись с

другого края. Это было проделано так ловко, что Блеки ничего не заметил.

Торбэй открыл короля.

— Вопрос решен,—сказал он, пряча деньги в карман.—Можете унести виски, мисс Кольридж.

— Подождите минутку,—взмолился Блеки и вынул из кармана еще три доллара.—Попробуем еще раз. Вам тасовать.

— Все равно, тасуйте вы,—сказал Торбэй.

Снова Блеки проиграл три доллара. Так продолжалось до тех пор, пока пятнадцать долларов ни перешли в карман Торбэя.

— Проклятье!—воскликнул вспотевший «Джин», тасуя карты.—Никогда еще мне не приходилось видеть столько тузов и королей. Даже когда у меня оказался туз, и вы тоже открыли туза.

— Вам чертовски не везет,—заметил Эрнест.—Вот и все!

— Знаю, что не везет, но не может же это продолжаться без конца? Попробуем еще раз.

Торбэй протянул руку и отнял у него карты.

— Нет, нет,—сказал он,—довольно! Я не могу все время отбирать у нас деньги. Слишком уж вам не везет.

— О господи! — пробормотал Блеки. — Пятнадцать долларов я проиграл и спирту не получил.

— Придется мне уступить вам,—отозвался Эрнест.— Раз вы проиграли пятнадцать долларов, я не могу вас отпустить с пустыми руками. Я вам продам эту бутылку по своей цене. Давайте три доллара, и бутылка ваша.

Вскоре после этого Блеки удалился, унося с собой

восемнадцатидолларовую бутылку, завернутую в газету. Он отправился в свою комнату и просидел там целый день наедине с бутылкой.

4

Мисс Элис Уэйн свернулась клубочком в большом кожаном кресле. Она устроилась очень уютно, и поза ее была исполнена грации. Грация вышла из обихода, но мисс Уэйн следовала старым традициям. Когда она сидела в кресле, нельзя было не обратить внимания на ее колени и стройные ноги, обтянутые шелковыми чулками,—в те дни носили короткие юбки,—на изящный бюст и красивый изгиб шеи, на тонко очерченное лицо, склоненное над книгой, и струйку дыма от папиросы... Это был как бы небрежный эскиз. Вокруг нее, на кресле и на полу, лежали тоненькие книжки—шесть или семь книг.

Мисс Уэйн уселась здесь тотчас же после завтрака и раскрыла томик стихов, но раньше чем она успела погрузиться в чтение, около ее кресла вырос Томми Уэбб. Мать внушила ему не мешать взрослым, когда те читают, и Томми несколько минут терпеливо ждал, чтобы мисс Уэйн обратила на него внимание.

— Что тебе, милый?—спросила она, обнимая его и притягивая к себе.

— Элис, знаете, что случилось?

— Что, дорогой мой? Что такое случилось?

— Мышенок всю ночь провел под дождем и весь вымок.

Мисс Уэйн улыбнулась.

— Бедняжка!—ласково сказала она.—Как бы он не заболел!

Все обитатели гостиницы знали странную и героическую сагу о м-ре Мышенке, м-с Мыши и маленьких мышатах.

М-р Мышенок появился у Томми в Италии. Вся мышиная семья состояла из четырех бесформенных и грязных кусков материи. Во Флоренции Томми простудился и два дня пролежал в постели. Мать, желая его позабавить, обернула руку куском шелкового чулка и стала показывать на стене причудливые тени. Томми назвал кусок чулка м-ром Мышенком. На пути в Геную Уэббы с удивлением узнали, что Томми везет с собой м-ра Мышенка, завернутого в папиросную бумагу. Так начались похождения м-ра Мышенка и стали складываться мнения его о людях и вселенной.

В Париже появилась м-с Мышь—кусок бархата величиной с ладонь; оранжевый бархат, из которого делают портьеры.

Томми объяснил матери, что м-р Мышенок встретил м-с Мышь на улице. М-р Мышенок бродил по Парижу и встретил нехороших людей, которые хотели, чтобы он стал пьяницей, и предлагали ему великие сокровища. М-р Мышенок отказался стать пьяницей и убежал. Затем он купил на десять центов конфет и стал их есть на улице. К нему подошла красивая молодая леди и попросила конфету. Он ей дал несколько штук, и она пошла вместе с ним. Выяснилось, что она была дочерью богатого продавца игрушек. Так призвана была к жизни м-с Мышь.

М-с Уэбб, услышав эту новость, высказала предположение, что м-с Мышь—француженка, но Томми это

отрицал. По его словам, она была фланелью, а ее муж—шелком.

На следующий день у них родились близнецы—два кусочка, вырезанные из замшевой перчатки. Близнецов назвали Виолой и Мод.

Во время плавания мышиная семья жестоко страдала от морской болезни и должна была принимать мышиное лекарство. Был момент, когда один из близнецов едва не умер. Вся семья приехала в гостиницу вместе с Томми. Дорогой случались разные происшествия. Между прочим они встретили медведя и жирафа. М-р Мышенок сразился с медведем и убил его из мышиной пушки, а жираф убежал.

— Как же это случилось, что Мышенок всю ночь провел под дождем?—осведомилась мисс Уэйн.

— Он гулял,—объяснил Томми,—и отошел от дома на тысячу восемьсот мышиных милль. Стемнело, пошел дождь, и он заблудился.

— Ах ты, милый мой!—воскликнула мисс Уэйн и поцеловала его в губы.

Он покорно принял поцелуй.

— Сегодня утром я проснулся,—продолжал Томми,—и вижу—Мышенка нет дома, а м-с Мышь плачет.

— Виола и Мод тоже плакали?

— Нет, они не плакали... они сидели за своим мышиным завтраком.

— А что у них было на завтрак?

— Мед и сливки... немножко меду и немножко сливок... а вместо тарелок—кленовые листья.

Мисс Уэйн заметила, что есть с кленовых листьев, наверно, очень приятно.

— Что же ты сделал, когда увидел, что м-ра Мышенка нет дома?

— Я не знал, что мне делать,—ответил Томми.— Не знал где его искать. Но немного спустя он вернулся и сказал, что отошел на тысячу восемьсот мышиных миль от дома и был отрезан от... мм... Элис, как нужно сказать, если ты ушел туда, где нет ни домов, ни людей?

— Заблудился в пустыне?—предположила мисс Уэйн.

Томми покачал головой.

— Нет... не то. Я хочу сказать—отрезан он... От чего отрезан? Папа это слово знает.

— Отрезан от цивилизации?

— Да, да!.. Он был отрезан от цивилизации. Видел много интересного, но ничего не мог рассказать. Он очень устал, проголодался и вымок насквозь.

— Должно быть, теперь он позавтракал,—заметила мисс Уэйн.

— Ну, конечно! Прежде всего он съел три тарелки кукурузных зерен со сливками. А пока м-с Мышь варила яйца, он выловил из аквариума всех золотых рыбок и съел их. Потом ему дали четырнадцать яиц, восемь бифштексов и целую гору поджаренного хлеба; он запил все это кофе. Выпил несколько кофейников.

— Как! А я думала, что он ничего не ест, кроме лепестков розы!—удивилась мисс Уэйн.

— Да, но знаете, Элис, ведь он очень проголодался. И вы бы тоже проголодались, если бы провели целую ночь под дождем. Он позавтракал, а потом заболел... простудился... и пришлось ему лечь в постель.

— А не думаешь ли ты, что у него расстройство желудка?

— Нет,—серьезно ответил Томми.—Он простужен... а м-с Мышь кладет ему припарки.

Голубые глаза мальчика смотрели вдаль. Он замолчал... погрузился в мечты. Медленно высвободился он из объятий мисс Уэйн.

— Элис,—сказал он,—я пойду посмотрю, как он себя чувствует.

Томми вышел из комнаты, и она услышала, как он поднимается по лестнице.

5

— Знаете ли, что я намереваюсь сегодня делать?—сказала мисс Уэйн Мередиту Куперу, появившемуся в дверях гостиной. Она указала на книги, лежавшие у нее на коленях и на полу возле кресла.—Хочу погрузиться в поэзию. Неправда ли, утро поэтичное? Льет дождь, камин затоплен...

Мередит взял несколько книг и стал их перелистывать.

— Вот это настоящий поэт,—заметил он, раскрывая томик мисс Эдны Миллей «Ткач на арфе». Китс нашего поколения.

— Я бы не стала сравнивать ее с Китсом,—возразила мисс Уэйн.—Скорее это—современный Шелли. Хотите, я вам прочту прелестное стихотворение?

Она взяла у него тоненькую книжку.

Я пил от каждой лозы, —
Все были, как одна...
Я не нашел вина
Прекраснее, чем жажда.
Вкушал я каждый корень,
Отведал каждый плод...

Я не нашел плода
Прекраснее, чем голод.
Вкушай бобы и гроздья,
Купец и винодел!
А мне — один удел —
Жить с голодом и жаждой...

— Эти двенадцать строк, которые вы только что прочли, выражают всю философию самоотречения,— сказал Мередит.

— Да,—согласилась мисс Уэйн.—У нее поэмы ...словно—светятся... Как будто освещенные окна дома в темную ночь.

— Америка должна была бы гордиться Эдной Сент-Винсент Милей...

— И, наверное, гордится,—добавила мисс Уэйн.

Молодой профессор засмеялся.

— Нет, американцы ею не гордятся.

— Почему?

— Дорогая моя, да ведь американцы знают об Эдне Миллей не больше, чем о жителях Тибета!

Молодая леди удивилась.

— Все, с кем мне приходилось встречаться, более или менее знают ее стихи...

— Да, но вы встречаетесь с теми немногими людьми, которые интересуются поэзией. И я ею интересуюсь. Но средний американец не читает никаких стихов, кроме стихов Эдгара Геста и тех виршей, какие печатаются в газетах.

«Что же касается Эдны Миллей, то у нее есть несколько тысяч жителей... и еще несколько тысяч знают наизусть стихотворение о свече, которую жгут с обоих

концов — любимое стихотворение маникюрш и молодых вдов, — все остальные обходят молчанием.

«Тем не менее я предсказываю, что лет через сто стихотворения мисс Миллей появятся в учебниках, а журналы будут помещать воспоминания восьмидесятилетних старцев, которые в молодости удостоились видеть мисс Миллей».

— Не понимаю, почему люди не читают стихов, — сказала мисс Уэйн. — Ведь поэзия так вдохновляет! Мне кажется, всем коммерсантам, инженерам, архитекторам следовало бы почитывать стихи, чтобы зарядиться вдохновением для своей работы.

— Прежде всего, они боятся поэзии, — объявил Мередит. — Считают ее опасной. Я знаю одного коммерсанта, которого поэзия погубила. Он состоял членом клуба банкиров в Нью-Йорке и имел обыкновение являться в клуб с томиком стихов в кармане. За завтраком он ежедневно читал Броунинга, Суинбёрна или какого-нибудь другого поэта. В результате он приобрел репутацию ненадежного человека, с которым рискованно вести дела. Суровые и важные дельцы шопотом сообщали друг другу, что он — мечтатель... носит в кармане томик стихов. И дело его лопнуло, ибо люди боялись доверить ему свои деньги. Он опустился, дошел до нищеты... Я слышал, как он в компании молодых агентов и комиссионеров говорил о том, что поэзия его погубила...

— Как странно! — воскликнула мисс Уэйн.

— ...и если б ему пришлось начать жизнь сначала, он ни за что не раскрыл бы ни одного томика стихов. «Достаточно сделать один шаг, — говорил он. — Прочтешь одно стихотворение, а затем это входит в привычку.» По

его мнению, бутылка виски в кармане менее опасна, чем томик стихов.

— Неужели?..—Мисс Уэйн широко раскрыла голубые глаза.—Вы не шутите?

— Нет, не шучу. Я повторяю его слова. Но это заблуждение. Французский коммерсант ведет свои дела не хуже, чем американский, и, однако, во Франции коммерсанты читают за завтраком стихи. Французский мануфактурист Андре Моруа написал прекрасную книгу о Шелли.

— Но американские дельцы не глупее, чем все остальные,—заметила мисс Уэйн.—Почему же их кругозор так узок?

— Я вам объясню, почему. В глубине души американский делец смертельно боится коммерции. У него нет уверенности.

— А я предполагала как раз обратное,—сказала мисс Уэйн.

— Нет, он только делает вид, будто чувствует себя прекрасно, а в действительности дрожит от страха. Очень редко можно встретить дельца, который наслаждается спокойствием, выпадающим на долю плотника или сапожника... А причина та, что американский делец смотрит на коммерцию, как на азартную игру. Дело он превращает в игру. Конечно, бывают исключения, но средний коммерсант может относиться к своему делу, лишь как к вечной игре в рулетку или в футбол.

«Во Франции и в Англии коммерцию принимают, как одну из частей социального механизма. Конечно, и там бывают исключения... Пожалуй английский коммерсант-игрок—самое вульгарное и самое отвратительное существо на земле.

«Страх, какой испытывает американский делец, понятен всем игрокам, если ставки высоки, а игра затягивается надолго. Годам к сорока пяти у среднего дельца развивается настоящая истерия; он без умолку лепечет о продукции, повышении спроса, хитроумной рекламе, гольфе, низости рабочих, талантах собственной дочери, долге всех порядочных граждан. Сообщает вам, где можно достать спирт, рассказывает о старой машине, которая отмахала восемьдесят тысяч милль и все еще остается в строю, о сыне, отличившемся в футбольном матче, о том, как некий проницательный человек завернул пятицентовый кусок мыла в цветную бумажку и теперь продает за пятнадцать центов и в результате такого мошенничества зарабатывает триста тысяч долларов в год...»

— Вы недолюбливаете дельцов?—спросила мисс Уэйн.

— Нет, я их люблю... очень люблю. И у меня много знакомых коммерсантов. Хоть я и профессор философии, но никогда не был затворником. Знаете ли, в числе моих слушателей есть один коммерсант... Сейчас ему сорок восемь лет. В прошлом году он бросил свое дело только для того, чтобы... конечно, это кажется неправоподобным... только для того, чтобы пройти курс философии...

— Но ведь это опровергает вашу теорию.

— О, он—исключение из правил. Я люблю средних коммерсантов, потому что они в сущности славные парни. Соскребите с дельца налет глупости, и вы доберетесь до настоящего человека. Он запуган, вот и все... Боится думать, боится рассуждать; если он начнет думать, это повредит делу. Он боится досуга, боится безделья. И несмотря на все это, в самом заурядном среднем

дельце есть что-то честное, здоровое и порядочное. Не на поверхности, а где-то в глубине. С первого же взгляда он производит впечатление человека вздорного, начиненного предрассудками и глупостью.

«Да, такие дельцы мне нравятся, с ними я имел дело. С заурядными коммерсантами. Но кого я не люблю, так это дельцов типа Ричарда Эллермана».

— Эллерман—магнат автомобильной промышленности, не правда ли?

— Да... О, он не страдает истерией и ничего не боится. Это—жестокий, черствый игрок. Хотя он много жертвует на просвещение и благотворительным учреждениям, но человек он непорядочный... Крупным промышленником он стал только потому, что ему легко было проникнуть в финансовый мир; не будь наши законы такими... строгими,—он бы сделался просто-напросто ловким мошенником. В первобытном обществе он мог бы заняться разбоем и поставить это дело на широкую ногу.

— Интересный человек,—неожиданно заметила мисс Уэйн.

6

Но это замечание ничего нам не говорит, если мы не знаем, что представляла собой мисс Уэйн.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Эта комната, и огонь в камине, и дождь, все это — здесь и сейчас. Не — «тогда» и «там», но здесь и сейчас. Они окрашены сущностью «здесь» и «сейчас». Есть в них качества от «здесь» и «сейчас».

Золотой огонь, тепло, хлещущий дождь, книги стихов, Мередит Купер, стоящий у камина, шум в доме, гул голосов, проникающий сквозь двери и стены, — все это пребывает в «здесь» и «сейчас»... Реально — по-настоящему реально — лишь то, что происходит здесь и сейчас.

Что же касается меня, то я всю жизнь провела в далеком «тогда» и «там». Быть может, такая жизнь кого-нибудь и удовлетворяет, но не меня.

Зовут меня Элис Уэйн, но я не уверена в том, что я — Элис Уэйн. Наделена я самыми разнообразными качествами, которые отнюдь меня не выявляют. Эти качества и привычки были мне даны, но я о них не просила. Интересно, какова была бы настоящая Элис Уэйн.

Мои родители умерли, когда я была совсем маленькой... Я не помню ни отца, ни матери. Воспитывала меня бабушка... У этой папиросы сладковатый привкус...

и дым сладковатый... Не нравятся мне вирчинские папиросы... Да, воспитывала меня бабушка... Большой дом, бело-зеленый снаружи. А внутри—дубовые полы, темная мебель, серебряные подсвечники, старые угрюмые книги, маленькая белая кроватка... и молчание.

Бабушка моя была молчалива, гувернантка молчалива. Я молчала, и слуги молчали. Мрачный, безмолвный дом. У моей гувернантки, мисс Артур, был очень красный нос. В молодости она познала несчастную любовь. Эту любовь она называла великим своим горем. Я уверена, что она рада была хранить и лелеять великое свое горе. Не будь этого горя, у нее не осталось бы ничего, кроме красного носа.

В мрачном доме мы жили тихо, очень тихо. Я воображала, будто мы прячемся от кого-то или от чего-то.

Теперь я знаю, что мы действительно прятались, но тогда я этого не знала... Тогда я только фантазировала.

Мередит рассказывает мне о Джордже Сантайяне... как Сантайяна читал лекции в Хорварде и как его любили студенты. Я слушаю одним ухом и в то же время думаю свою думу... Да, в доме моей бабушки все мы прятались от свободы... от мыслей... от самих себя.

Сейчас мне неуютно в этом кресле... становится слишком жарко... У бедняжки мисс Артур только и было, что ее великое горе да красный нос. Так я ее себе и представляю... Сантайяна—испанец... семнадцати лет приехал в Америку... но он блестяще владеет английским языком. Так говорит Мередит... спрашивает меня, читала ли я «Монологи об Англии» и «Общественное мнение в Соединенных Штатах»... Да, читала... о, да, мне очень понравилось.

От камина пышет жаром... Не следовало класть это

огромное полено... Лицо у меня горит... и колени горячие.

Здесь очень жарко, не пересесть ли к окну?

Я встаю и замечаю, что мой костюм пришел в беспорядок; ведь в кресле я сидела съежившись. Легким движением руки я оправляю платье... Резинка на панталонах слишком узка; как струна, впивается в талию.

Мередит подвигает тяжелое кресло к окну. Собирает мои книги. Он—ловкий, энергичный. И очень милый. Он хочет нравиться людям.

Платье на мне свежее, красивое... И у окна прохладно. Я люблю все чистое и свежее. И я сама—такая чистая, какой только можно быть.

У моей бабушки намерения были прекрасные, но меня она совсем не знала. Меня она представляла себе такой, какой, по ее мнению, я должна быть... Люди, воодушевленные наилучшими намерениями, бывают иногда ужасны...

Мередит прислонился к шкафу и хочет прочесть один из сонетов Сантайяны. Я понятия не имела, что Сантайяна—поэт.

— О, да! У него есть прекрасные сонеты,—говорит Мередит.

Мои книги стихов забыты, я прочла только одно стихотворение Эдны Миллей. Я слушаю Мередита. Он—очень интересный собеседник, но со мной он говорит, как с мужчиной. Я хочу, чтобы мужчины думали обо мне, как о женщине... Пожалуй, как об умной женщине, но прежде всего—как о женщине.

Моя бабушка мыслила символами. Она никогда не задавала себе вопроса, является ли символ чем-то реальным, или только тенью... Все было заранее рас-

пределено и приведено в порядок... она руководствовалась тем, что было придумано прежде... когда-то. Она считала, что женщина должна быть добродетельна; но это правило было ей дано... не она до него додумалась. Она не задавала себе вопроса, хороша ли добродетель сама по себе... она верила в набожность, покорность, достоинство, милосердие, честность... Быть может, все это—прекрасные качества, но мне кажется, не следует опутывать ими людей, как цепями.

И эти цепи висят на мне. Бабушка связала меня ими, и теперь ее символы—свинцовая гиря, привязанная к моим ногам. У нее была душа пуританки. Ее и мои предки—пуритане.

Всю жизнь я с чем-то боролась, но это что-то пришло извне... Что-то давило меня со всех сторон, и я задыхалась.

Нет... не совсем так. Липкое ханжество, опутавшее меня... в нем виновата я сама... быть может... не знаю. Пожалуй, это—не ханжество, а запреты.

Не лучше ли поговорить сейчас о поэзии с Мередитом Купером? Я ему сказала, что хочу читать сегодня стихи... Это была пустая фраза... Не знаю, зачем я ее бросила... Быть может, хотела объяснить, почему вокруг меня лежат томики стихов.

Он ловит меня на слове; рассуждает о поэзии; пожалуй, он это делает для того, чтобы мне понравиться.

У Мередита ясный, точный ум. Его можно сравнить с безупречно работающим механизмом. Все на своем месте; все пригнано точно. Мередит превращает разговор в обсуждение целого ряда тем. Он не беседует, он обсуждает темы, но делает это с таким блеском и

юмором, что невольно прощаешь ему его страсть к монологам.

Интересно, был ли он когда-нибудь влюблен... Нет... вряд ли... Человек, познавший хаотическое чувство любви, не может сохранить такой ясный и точный ум.

Мне делали предложение... предлагали вступить в брак... но я никому не позволяла объяснятся в любви. Иные пытались... да, иные пытались.

Среди символов моей бабушки был один, именуемый целомудрием. Я ненавижу целомудрие... ненавижу все связанное с ним... все, что под этим словом подразумевается... Я ненавижу все пуританские идеи. Будь я наделена мужеством и силой воли, я бы хотела стать на время дикарем и посмотреть, как бы я себя чувствовала в этой роли. Я была бы безнравственным дикарем!

Мередит, говоривший о Суинбёрне, обрывает свою речь и замечает, что дождь прошел и выглянуло солнце. Он подходит к окну и смотрит вдаль. Стоит совсем близко около моего кресла, но мне не хочется протянуть руку и коснуться его плеча или взять его за руку. А вот некоторые мужчины вызывают во мне это желание... Да, но ведь Мередит очень милый и симпатичный. Он мне очень нравится... но как-то по-иному... Когда я с ним,—женщина во мне молчит...

Почему?

Знаю... интуиция мне подсказывает... Потому что он сам не думает о своем мужском начале. Если б он думал, я бы это чувствовала... почувствовала бы его мысли... но он не думает.

Майкель Уэбб говорит, что лучший способ разбогатеть—это всегда думать о деньгах. Легко сказать, но сделать очень трудно, если это тебе не свойственно.

Я уверена, что великие любовники должны постоянно думать о любви.

Мир меняется. Он не таков, каким был прежде. Теперь многие молодые женщины нимало не стыдятся иметь любовников, и никто не ставит им этого в вину... Многие независимые молодые женщины, которые сами пробивают себе дорогу в жизни и не желают выходить замуж... Конечно, актрисы всегда так поступали... многие великие актрисы.

Мередит говорит:

— Посмотрите на гору Том! Видите, как поднимаются облака!

Я смотрю.

Сероватые облака, все утро окутывавшие гору, поднимаются... Нет, это не то слово... Ветер словно сбрасывает их, как сбрасывают с постели одеяло. Видно, как загибается край облака... Сейчас огромная синяя гора залита ярким солнечным светом. Только на самой вершине приютилось одинокое маленькое облачко, напоминающее седой локон... Я знала одного человека... волосы у него были черные, но одна прядь—седая... И эта седая прядь свешивалась на лоб.

2

(Жаль, что мисс Уэйн была ребенком, когда умер ее отец. В конце девяностых годов он пользовался известностью в Нью-Йорке. Видели, как он разъезжает по городу в кабриолете... молодой человек в соломенной шляпе; в руках трость и букет цветов, предназначенный в подарок какой-нибудь леди. Было время, когда он развивал теорию, что относительная скорость лоша-

дей может быть заранее определена с помощью туманных математических вычислений. Проводя в жизнь эту теорию, оказавшуюся в конце концов неправильной, он проиграл большую часть капитала, оставленного ему отцом. Он всегда смотрел на себя, как на мученика науки. С оставшимися деньгами он решил заняться коммерцией, намереваясь стать великим дельцом. Он был убежденным оптимистом и думал, что оптимизм имеет какое-то отношение к процессу обогащения. Лелея это заблуждение, он потерял остаток капитала, впал в нищету и ушел из жизни в возрасте тридцати четырех лет.)

3

Как уродливы мужские костюмы!.. Какой безобразный покрой!... Мои платья красивы.

Мередит стоит около шкафа. Он выглядит неуклюжим... Таким его делает костюм... Когда я смотрю на мужчин, я стараюсь не обращать внимания на их костюмы... Единственное, что мне нравится в Риме, это— статуи красивых нагих мужчин... Мередит был бы хорош в римской тоге.

Сара Бернар говорит... то-есть пишет... что мужчина, надевающий носки, вынужден принять неестественную, нелепую позу; по ее мнению, бог не предполагал, что люди вздумают носить носки.

Мередит спрашивает меня, читала ли я «Дневник» Амиеля.... Отвечаю ему, что читала. Какой Мередит белокурый!.. Мне кажется, он—самый белокурый человек, какого мне приходилось видеть. Не знаю, можно ли так сказать: «самый белокурый»?.. Да, я читала «Дневник» Амиеля... Амиель—мечтатель и мистик.

— Амиель определяет действие,— говорит Мередит,— как огрубевшую мысль... как мысль, сделавшуюся конкретной, затемненной, бессознательной.

Быть может, он прав... Любопытная идея! Значит, стирается грань между размышлением о поступке и поступком.

Какая сила в созвучьи слов! Об этом часто говорила Ивет Гильбер. Как образец некрасивой фразы, она приводила фразу: «Повесь на вешалку!..» Ивет находила ее нелепой, грубой, безобразной... Так оно и есть.

Постоянно я что-нибудь изучаю и никогда не применяю к жизни того, что изучаю. Я чувствую себя так, словно я чего-то жду... жду... словно я еще не начала жить.

Бабушка не хотела, чтобы я посещала школу Ивет... боялась, что моральные принципы Ивет оставляют желать лучшего... актриса и француженка... Но Ивет была особа нравственная... слишком нравственная... и несомненно набожная... Она напоминала изящную фарфоровую статуэтку... Мы все любили Ивет.

Бабушки...

— Мередит, вот юный поэт,— говорю я, отыскивая томик стихов Наталии Крэн.

— Сколько ему лет?— спрашивает Мередит.

— Одиннадцать,— отвечаю я.— Одиннадцать лет, живет в Бруклине и пишет стихи. Слушайте! Вот как представляет себе Наталия слепоту.

Я читаю... читаю медленно, как учила меня Ивет:

В темноте кто поручится за цвет розы,
Или за одеяние мотылька и его полет?
В темноте кто поручится и кому есть дело,
Пахнет ли роза, летят ли мотыльки?

— Поразительно,—говорит Мередит,—для такого маленького ребенка!

Он хочет посмотреть книжку. Мне кажется, это стихотворение поразительно для любого ребенка, независимо от возраста... Я протягиваю ему книгу. Он с любопытством ее перелистывает. Выглядит он таким возбужденным, словно нашел на дороге бриллиант.

— Я никогда не слыхал о Наталии Крэн,—говорит Мередит.

Я не отвечаю. Не моя вина, если он никогда о ней не слышал... Пожалуй, люди слишком скоро мне надоедают.

В детстве я тоже была поэтом. По натуре, хочу я сказать... Стихов я никогда не писала. То, что я делала в четырнадцать лет, теперь кажется мне странным.

Когда я жила в бабушкином доме, у меня была комната с балконом. Балкон выходил в маленький тихий парк. Дальше, за парком, виднелась церковь с длинным тонким шпилем. Вечером, перед тем как лечь спать, я выходила на балкон и стояла там около часу, смотря на шпиль. Было что-то странное в этом шпиле, приковывавшее мое внимание. Он словно рвался к небу. Как копье, прорезал он темносинюю ночь. Рука, простертая к богу... Иногда я мечтала об этом шпиле, таком легком, прямом, врезавшемся в тихое небо.

Одно время я была набожна... регулярно ходила в церковь. Я считала себя религиозной, но в действительности была лишь поэтом... в душе.

В последний год войны мне исполнилось девятнадцать лет... О, как безумно хотелось мне уехать во Францию... работать на фронте!.. Я буквально сходила с ума. Я готова была делать что угодно... мыть полы

в госпитале... выносить помои... Когда я думала о грохоте орудий... о сильных людях... и о нужде... жестокой нужде... я рвалась туда... на помощь.

Бабушка не хотела меня отпускать.

Но все-таки мне удалось уехать. Я думала, что ради этого можно солгать.

Судно для перевозки войск. Транспорт. Битком набитый солдатами. Мы—несколько женщин—жили на верхней палубе. Днем и ночью слышали мы гул голосов, доносившихся снизу... Голоса нескольких тысяч людей.

Море было спокойно. Великое, мирное, тихое. Когда я день за днем смотрела на синюю гладь океана, на купол неба и упивалась молчанием,—война казалась сном.

Как-то вечером, когда мы находились еще за сотни миль от земли, мы увидели лошадей. Пятьдесят или шестьдесят лошадей плыли по морю.

О боже! Если бы гремели пушки, если бы надвигались на нас суда! Если бы можно было почувствовать дрожь возбуждения! Но не было ничего... только тихий синий океан, заходящее желтое солнце и плывущие лошади... Какой-то офицер сказал нам, что, очевидно, подводная лодка потопила транспорт, перевозивший лошадей во Францию... Но не видно было никаких признаков судна.

Лошади пытались плыть за нами. Мы не могли их подобрать, не было возможности... И мы боялись за наше судно. Шли зигзагами, полным ходом... Лошади выбивались из сил, стараясь нас догнать. Их ржанье напоминало хриплые человеческие вопли. Мы уплывали, а бедные лошади ржали нам вслед.

Мы оставили их биться за жизнь на поверхности

спокойного, тихого моря... в золотых лучах заходящего солнца.

Тогда я легла на свою койку и заплакала... Плакала... плакала... Казалось, вся ушла в эти рыдания... Знаю, что я раздражала своих спутниц, но я не могла с собой справиться.

Наконец они позвали главного врача, и он долго сидел возле моей койки. Разговаривал со мной, гладил мою руку. Он бы мог быть моим отцом. Такой славный человек с тихим ласковым голосом.

Не сразу я перестала плакать... Тогда я плакала не потому, что мне было жаль лошадей. Не знаю, почему я плакала.

У него были красивые глаза... смелые... и кроткие. Он бы мог быть моим отцом. Должно быть, мой отец на него походил. Мне хотелось прижаться к нему. Он рассказывал что-то смешное...

Вдруг я перестала плакать и засмеялась. «О, теперь вы здоровы,—сказал он и погладил меня по голове.— В моих лекарствах вы не нуждаетесь»... Прощаясь, он поцеловал мою руку—галантный обычай Старого Света.

Когда мы приехали в Париж, я узнала, что никакой работы мне не дадут. Бабушка обратилась к правительству с просьбой отослать меня назад; посольство и Вашингтон обменивались каблограммами.

В Париже я прожила месяц, ожидая парохода, на котором я могла бы вернуться в Америку. Париж я знала; когда-то я прожила здесь целый год с мисс Артур. Но теперь улицы были грязны, многие дома заколочены. Город, казалось, опустел. Как мне было скучно и как грустно!..

Однажды, когда я шла по Boulevard des Invalides,

какой-то прохожий вздумал со мной пофлиртовать... Он был француз... молодой человек с черными усами... красивый. Он имел вид джентльмена, но все-таки пристал ко мне... Я это сочла наглостью, оскорблением.

Он шел рядом и говорил о том, как он восхищается мною... не соглашусь ли я выпить с ним чаю. Когда мне это надоело, я сказала ледяным тоном: «Je ne vous connais pas, monsieur. Finlssez votre insolence»... Он не ответил ни слова и отошел; я не думала, что так просто будет от него отделаться. Он ни разу не оглянулся и завернул за угол. Больше я его не видела.

4

Сейчас я здороваюсь с м-ром Киппом. Я его и раньше знала в лицо и давно о нем слышала. Майкель Уэбб привел его в гостиную, видимо только для того, чтобы познакомить со мной.

Нас знакомят... М-р Кипп заметно смущен. Кланяется. Я привстаю и протягиваю ему руку. Он подходит и прикасается к моим пальцам.

М-р Кипп мне нравится... нравился и раньше... Мне нравится его внешность. Он похож на большого жизнерадостного мальчика... жизнерадостного, но робкого... Конечно, он на несколько лет старше меня, но я думаю о нем, как о мальчике.

Мне нравится его лицо; но что-то в нем нравится мне еще больше, чем его внешность. Я не могу объяснить словами, что именно имею я в виду... Быть может, этого не передать в область сознания... Он встал на защиту какой-то не вполне оформленной идеи... В жизни он проводит идею, которая давно не давала мне

покоя. Он бросает вызов... презирает условности... Да, это так... пожалуй.

Говорят, у него бурное прошлое... Быть может... Впрочем, сомневаюсь. Он робок... и слишком скромен для такой роли.

Не понимаю, почему улыбается Майкель Уэбб.

5

Кипп вошел в гостиную вслед за Майкелем Уэббом, по своему обыкновению намереваясь держать себя развязно и галантно... Начать разговор такой фразой: «Так... так... значит это—мисс Элис Уэйн, леди, которую я боготворил издали»... И, конечно, держать ее руку в своих руках... «Мисс Элис Уэйн—девушка с глазами-фиалками»... И так далее и так далее.

Несмотря на европейское образование м-ра Киппа, манеры у него были не лучше, чем у деревенского парня. Он считал себя покорителем сердец и действительно пользовался успехом у обитательниц гостиницы и студенток, с которыми ему приходилось встречаться на пикниках.

Но в своих любовных приключениях он редко заходил далеко. Репутация его, как это часто случается, не оправдывалась его победами. С женщинами он бывал нелепо развязен, но совесть налагала на него узду. Это был совестливый Жиль Блаз.

Мисс Уэйн подняла на него свои синие глаза... глаза цвета Средиземного моря... протянула холодную руку. Развязность улетучилась... М-р Кипп пробормотал:

— Очень рад познакомиться...—и сел.

Внезапно он вспомнил о своих грязных башмаках и потертом костюме.

Мисс Уэйн держала себя так холодно... Спокойно, сдержанно выжидала... словно хотела знать, что он будет делать и говорить. «Женщины с первого взгляда составляют мнение о человеке»,—размышлял Кипп,— а он хотел произвести на нее хорошее впечатление... Как он жалел, что не принарядился! Все, что бы ни сказал ободранный человек, звучит нелепо. У него были хорошие костюмы... несколько костюмов... но он поленился и не стал переодеваться... к тому же и крыша протекала.

— Мы с Элис посвятили утро поэзии,—сказал Мередит Купер.—Не хотите ли последовать нашему примеру?

— О, это звучит слишком серьезно,—засмеялась мисс Уэйн.—Мы болтали о поэзии, но можно поговорить и на другие темы.

— Я люблю поэзию,—объявил Рэнни Кипп.

— Ученый, который любит поэзию!—воскликнул Майкель.—Явление необычное.

— Бутлегер, который любит поэзию!—внес поправку Кипп.—Должно быть, вы слыхали, мисс Уэйн, что я—бутлегер?

Не успел он договорить фразу, как уже пожалел, что нельзя взять ее обратно. Он понять не мог, что побудило его задать такой вопрос. Это было так грубо, так нелепо... Но почему-то он не в силах был промолчать.

Мисс Уэйн снова засмеялась... а затем улыбнулась м-ру Киппу.

местных достопримечательностей!

— Ну еще бы!—сказала она.—Ведь вы—одна из

6

Я не уверена в том, что мне хочется продолжать разговор о поэзии; какое в сущности мне дело до поэзии? Пожалуй, это пристрастие тоже было навязано мне бабушкой...

Нет, я бы этого не сказала. Поэзию я люблю, как люблю все, что красиво... Я люблю прекрасное.

М-р Кипп не стыдится своего занятия. Нимало. Он презирает условности. Прежде всего он счел нужным мне сообщить, что он—бутлегер, словно я этого не знала. На его месте всякий постарался бы это скрыть. Но ведь он—человек образованный, культурный... ученый.

Да... но все-таки он смущен... Костюм сидит мешком, ободранный. Быть может, этим и объясняется его замешательство. Мне нет дела до того, как мужчины одеты; я никогда не обращаю внимания на их костюмы. У него красивая голова и прекрасные серые глаза. Волосы вьются.

Такой человек мог бы сделать со мной все, что угодно... Да, но мужчины меня боятся... Я выгляжу слишком холодной, слишком самоуверенной. Холодная! Если б они только знали! Если бы он подошел ко мне сейчас и взял за руку, я бы пошла с ним, куда угодно... не думая ни о чем... да, я бы пошла...

Сейчас они говорят о погоде... Самая банальная из всех тем... Почему бы им не поговорить о поэзии? Все-таки это прекрасная тема. Я им прочту Суинбёрна «Маска королевы Вирсавии», прочту так, как учила меня Ивет... На душе у меня смутно и беспокойно... я брожу по комнате и бесцельно перекладываю вещи с одного места на другое.

7

В течение нескольких минут неловкость, словно туман, окутывала собеседников. Разговор шел бессвязный.

Мередит Купер, стоявший у окна, сказал:

— Должно быть, корова или лошадь от радости теряет голову при виде такого аппетитного ландшафта.

Он указал на зеленые холмы, купающиеся в лучах солнца.

— Зеленая гора, долина, зеленые поля... И листья, трава, деревья—все зелено... Вероятно, корова смотрит на это, как на пиршественный стол.

Все улыбались.

— Какая забавная мысль!—сказала мисс Уэйн.— В детстве я мечтала о целой горе из леденцов.

— Чудесно было бы,—продолжал Мередит,—проснуться поутру и увидеть, что лужайка усеяна яйцами и окороками, вон та гора состоит из шоколадных пирожных, а ветви деревьев гнутся под тяжестью ананасов и бифштексов! Как бы мы небрежно относились к съестным припасам! Должно быть, так смотрит на пищу корова... Она всегда может съесть ландшафт.

Рэндольф Кипп слышал эти слова, но для него они были пустым звуком. Думал он о другом.

Он вспомнил случай из жизни сэра Ричарда Бёртона. В Ницце. Гуляя однажды по бульвару, сэр Ричард Бёртон увидел молодую женщину, шедшую ему навстречу. Он видел ее впервые и не знал ее имени. Когда она прошла, он остановился и секунду смотрел ей вслед... он словно окаменел, сердце у него забилось.

Затем он побежал назад, догнал ее и коснулся ее руки...

— Меня зовут Ричард Бёртон,—объявил он.

Она с удивлением на него посмотрела и ничего не сказала.

— Идемте со мной,—продолжал он.

— Но зачем?—спросила она, когда обрела наконец дар речи.

— Я хочу на вас жениться,—лаконично пояснил сэр Ричард Бёртон.

Самое удивительное то, что молодая женщина последовала за ним и стала женой сэра Ричарда Бёртона.

Рэнни Кипп не знал, правдива ли эта история... кто-то ему рассказал ее, или он где-то прочел... Рэнни размышлял, что произошло бы, если бы он коснулся руки мисс Элис Уэйн и сказал: «Идем со мной»... Он не сомневался, что в ответ она бы засмеялась и приняла его за сумасшедшего.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

— Вы превосходно читаете стихи, мисс Уэйн,— сказал Рэнни, когда мисс Уэйн прочла «Маску королевы Вирсавии» и великолепные образы суинбёрнского призрачного гарема пронеслись в сарабанде перед слушателями.— Должно быть, вы учились дикции или...— он сконфузился и запнулся...— или как это называется...

— Да, училась,— ответила мисс Уэйн.

Ему она казалась самой красивой женщиной, какую он когда-либо видел... необычной, ни на кого не похожей.

(Этот симптом хорошо известен экспертам в такого рода делах. Он указывает на бурный приступ любовной лихорадки.)

Рэнни Кипп был ею ослеплен. Свет пронизал его существо. Казалось, в душе его сияло солнце.

— Элис была ученицей Ивет Гильбер,— сказал Майкель.

— О, всякий сумеет прочесть Суинбёрна,— заявила мисс Уэйн.— Для этого не нужно учиться.

— Англичанин, переживающий агонию язычества,— заметил Мередит Купер.

Майкель Уэбб подал голос:

— Кто? Суинбёрн? Да, это верно... Кто-то—какой-то критик—недавно писал о Лоуренсе, как об англичанине, запутавшемся в сетях половой проблемы. Любопытная точка зрения. А Суинбёрн, по вашим словам, образец англичанина, разыгрывающего роль язычника—грека...

— Я часто размышлял о том, как поразительно отличаются друг от друга национальные характеры трех народов, населяющих Британские острова,—англичан, ирландцев и шотландцев,—сказал Мередит.

— Ярче всего это проявляется в литературе,—вмешалась мисс Уэйн.—Возьмем представителем англичан Уэллса... представителем ирландцев... гм...

— Джемса Джойса,—подсказал м-р Кипп.

— Да, пожалуй, Джойса, — согласился Майкель,— хотя я уверен, что ирландцы его бы не выбрали.

— А Барри—представителем Шотландии,—добавил Мередит.—Вместо Уэллса я бы предложил Томаса Харди.

— Знаете ли вы историю о том, как шотландец, англичанин и ирландец повстречали чорта?—спросил Рэнни.

— Нет... не знаю,—ответила мисс Уэйн.—Расскажите.

Она присела на низкий табурет рядом с м-ром Киппом и подняла на него глаза. Больше его не нужно было просить.

— Англичанин, шотландец и ирландец,—начал он,— путешествовали в пустыне и повстречали чорта. Разумеется, встреча была неожиданная.

«Чорт сказал:

— Ага, я вас поймал! Теперь вы от меня не уйдете!—И он радостно потер руки... то-есть я предполагаю, что он это сделал... люди от радости всегда потирают себе руки. Итак, он потер руки и захихикал:

— Теперь вы трое в моей власти!

«Они просили, молили, но чорт их не отпускал. Он хвастался своим могуществом, рассказывал, какие чудеса творит. Заявил, что для него все возможно. Наконец он потребовал, чтобы каждый из его пленников дал ему какое-нибудь невыполнимое задание. Если он—чорт—не выполнит всех трех заданий, то пленники получат свободу.

— Ладно,—сказал англичанин,—сделай так, чтобы вон та река потекла вспять.

«И в то же мгновение река потекла вспять. Чорт фыркнул, выпустил из ноздрей синий дым и захохотал:

— Ха-ха!

«Шотландец думал долго, стараясь придумать что-нибудь неосуществимое. Наконец он указал на большое дерево и предложил чорту превратить его в золото. Не успел он договорить, как чорт махнул когтистой рукой, и дерево стало золотым; каждый листок, каждая веточка засверкали.

«Англичанин и шотландец были поражены и опечалены. Один только ирландец забавлялся. Чорт от гордости напыжился и стал прыгать, прищелкивая каблуками.

— Ну,—обратился он к ирландцу,—теперь твоя очередь.

«Ирландец выступил вперед.

— Фью!—свистнул он и, повернувшись к чорту, скомандовал:—Пришей к этому пуговицу!

«Чорт сначала удивился, а затем пришел в бешенство. Он топнул ногой о землю и исчез, словно разорвавшаяся хлопушка; остался только синий дымок да скверный запах».

2

Этот анекдот меня рассмешил. Мы все смеялись. Я нашла его очень остроумным и забавным... М-р Кипп, видимо, уже не смущался. Он развалился в кресле... Закуривает папиросу и небрежно бросает спичку... Должно быть, ему нетрудно справиться с робостью.

Входит м-р Харлей.

— Над чем вы смеетесь?—спрашивает он.

Харлей—сдержанный спокойный человек с холодными голубыми глазами. Очень любезный... В голосе его слышатся стальные ноты... Я не говорю, что голос его звучит слишком громко... Нет, но в нем есть что-то металлическое... До встречи с м-ром Харлеем я думала, что журналисты желтой прессы... редактора и репортеры...— неряшливые люди с длинными волосами. Но м-р Харлей похож на банкира или коммерсанта.

Кто-то отвечал ему, что м-р Кипп... Рэнни... рассказал забавный анекдот, и м-ра Киппа просят рассказать снова.

В это время в комнату входит м-с Уэбб... Я люблю Эдит Уэбб. Она—одна из немногих, кого я по-настоящему люблю. С детства я ее знаю... Тогда она была молоденькой женщиной... теперь ей, должно быть, лет под сорок. Цельный человек...

Она не ведет душевного разлада... О, эта душевная гармония имеет огромное значение!.. Она делает человека сильным и уверенным... Мимоходом Эдит погла-

дила меня по голове. Она прощает людям их ошибки... она понимает. Сейчас я ей улыбаюсь, и она отвечает мне улыбкой. Я ее нахожу ослепительно красивой. Душевная гармония как бы наложила отпечаток на ее лицо.

Будь я на ее месте, я бы смертельно скучала... Должно быть, это пытка—быть замужем за Майкелем Уэббом—за человеком с таким беспокойным умом. Он мне нравится, но ведь я ему не жена... День за днем жить с человеком, начиненном идеями... И многие его идеи революционные... Он говорит, что сейчас у него каникулы, а года через два, через три он думает заняться каким-нибудь новым делом... Ручаюсь, что Эдит ждет не дождется конца этих каникул.

Майкель Уэбб—самый странный человек, какого мне приходилось видеть... Почти все часто говорят о себе... о своих болезнях, о том, какие костюмы им нравятся, о своих путешествиях, о своих делах. А Майкель никогда о себе не говорит... Другими людьми он интересуется значительно больше, чем самим собой... Странный человек... Интересно, как бы поступил романист, вздумавший сделать Майкеля героем своего романа. Должно быть, в романе не было бы никаких событий... только мысли Майкеля... Сейчас он просматривает мои томики стихов... Две книжки держит подмышкой, третью перелистывает.

М-р Харлей объясняет, почему он отказался от покера... восемь человек за столом... и игра идет азартная... невозможно что-либо предугадать или вычислить... вот он и ушел.

А ведь я хотела мирно провести утро за чтением стихов. Сейчас все заговорили о стихах. Похоже на диспут о поэзии.

3

— Джон Кэлхун—один из государственных мужей девятнадцатого века,—заметил Рэнни Кипп,—считал, что можно начинать стихотворение со слов «между тем как».

— Если таково было его мнение,—отозвалась м-с Уэбб,—я бы сказала, что он лишен поэтического дара.

— Несомненно!—заявил Мередит Купер.

— Мне кажется, поэзия как великое искусство лежит на смертном одре,—сказал Майкель Уэбб.—Цивилизация перерастает поэзию. Вы улавливаете мою мысль.

— А что вы в сущности хотите сказать?—спросил Харлей.

— Смотрите—вот наши современные американские поэты...—Майкель указал на книги, лежавшие на столе и на полу.—За немногими исключениями все они жалуются и стонут. Их стихотворения—это вопли красивых детей, заблудившихся, усталых, заплаканных... Они мрачны... капризны... А брюзжанию нет места в великой поэзии или в каком бы то ни было искусстве. Литература не может жить брюзжанием. Великая поэзия всегда бесстрашна и задорна.

Цивилизация сделалась слишком грандиозной и сложной для поэта. Он ее боится... не понимает ее сущности...

— Но разве не всегда было так?—спросила мисс Уэйн.

— Нет, не всегда. Расцвет поэзии возможен тогда, когда поэт не ощущает тяжести цивилизации. Вот, например, в древней Греции. В Англии при Елизавете...

в эпоху возрождения... Поэтическое вдохновение есть лишь одна из струй великого потока творческой энергии.

«Во все эпохи люди пытались претворить поэзию в жизнь, придать поэзии некую осязаемую форму... и иногда им это удавалось...

«Когда поэзия претворяется в жизнь—поэмы остаются ненаписанными. Люди, чья жизнь—поэма, стихов не пишут. Зачем писать? В условиях великой цивилизации мужчины и женщины имеют возможность жизнь сделать поэмой».

— Здесь, в Америке, мы пользуемся богатством и благополучием,—начал Харлей.—А в этом—основа культуры и творческого вдохновения.

— Сомневаюсь,—возразил Мередит Купер.—Культурность и творческое вдохновение—совершенно различные понятия. Культурность есть способность давать оценку. Многие мировые шедевры были созданы людьми, жившими в бедности.

— Богатство у нас есть, но нет благополучия,—заявил Майкель.—Наша цивилизация лишает нас душевного покоя. Мы разрешили машинам стать нашими господами... Машинам мы поклоняемся...

— О, у нас есть и другие боги,—сказал м-р Кипп.— Вот, например, Линкольн... Вашингтон...

— Да, но национальный наш бог—это машины,—продолжал Майкель.—Машины... изобретения. Я знаю десятки городов в Соединенных Штатах, где завод высится в самом центре города, словно гигантский языческий идол. И этот бездушный идол руководит жизнью людей. Они смотрят на него снизу вверх... боятся его... надеятся, что он останется ими доволен.

«Девятнадцатое столетие было Золотым Веком Предвкушения. В первой половине девятнадцатого века люди смотрели на цивилизацию как на своеобразную паровую машину, которая работает не очень хорошо, но будет работать прекрасно после того, как к ней приспособят новый усовершенствованный привод... Наука преобразует мир. Машины сделают людей счастливыми... Разочарование двадцатого века объясняется главным образом тем, что человечество не удовлетворено прогрессом машинной цивилизации. Он не принес счастья, какого от него ждали.

«Факт остается фактом: точные науки в своем развитии далеко опредили искусство жить. Социальные науки все еще, как и в Средние Века, находятся в загоне. Человечество еще не осознало, сколь велики производительные силы цивилизации, если правильно направить эти производительные силы,—материальных ценностей хватило бы на всех и каждого. Мы должны перестать думать об изобретениях и усовершенствованиях и посвятить всю нашу духовную энергию претворению цивилизации в орудие для построения новой жизни. Мы должны помнить, что цивилизация—не коммерческое предприятие!

«Не мешает провести закон, воспрещающий работать над механическими и научными изобретениями. Того, кто в течение следующих ста лет что-нибудь изобретет, не мешает заранее приговорить к виселице!»

4

Майкель несколько перегнул палку, но сделал это с определенной целью. Ему хотелось, чтобы высказал

свое мнение единственный ученый и изобретатель, присутствующий в комнате.

Увы! Возражений не последовало. Все молчали.

Майкель секунду выжидал, а затем оглянулся, чтобы взглянуть на Рэнни Киппа. Тот сидел в дальнем углу комнаты на диване рядом с мисс Уэйн. Незаметно они отделились от общества и теперь перелистывали альбом с фотографическими снимками. Майкель, желавший втянуть в разговор м-ра Киппа, мог с таким же успехом произнести речь на абиссинском языке.

— Это водопад Хузатоник, снятый снизу,—раздался голос мисс Уэйн.—Меня вы найдете на переднем плане.

5

— Не лучше ли перейти на другие темы?—с кислой улыбкой сказал Майкель.—Часть аудитории от нас отпала.

— Вы заявили, что поэзия лежит на смертном одре,— начал Мередит. Он нисколько не интересовался делами Киппа и мисс Уэйн. Для любви ему не удалось найти формулу. Казалось, в любви отсутствовала логика. То было переживание, не имеющее адэкватного силлогизма.

— Да, таково мое мнение,—ответил Майкель.—Поэзия постепенно превращается в прозу... Это признак упадка... Подождите минутку, я вам объясню, что именно имею я в виду.

Он подошел к книжному шкафу и стал перелистывать книги. Минут десять занимался он этим просмотром, и за это время о нем успели позабыть. Когда он присоединился к обществу, разговор шел на тему

о пчеловодстве; рассуждали о том, сколько нужно пчел, чтобы получить фунт меду.

— Так вот что я хочу сказать,—оживленно начал Майкель, показывая три книги, завернутые в газетную бумагу.

— Почему они завернуты?—спросила его жена.

— О, вы не должны знать, что это за книги,—ответил Майкель.—Это будет экзамен вашей догадливости! Я прочитаю несколько отрывков, а вы угадайте, поэзия это или проза.

«Видите ли, поэзия—понятие расплывчатое. Почти каждое произведение можно назвать поэтическим, если оно ритмично и подчинено законам поэтической архитектоники. Эти отличительные признаки исчезают, когда поэзия как искусство идет под гору. В настоящее время мы переживаем период упадка,—во всяком случае таково мое мнение,—и нам трудно установить грань между поэзией и прозой. Существуют поэты, не признающие ритма. Уничтожьте ритм, и не останется поэзии... вы получите просто художественную прозу.

«Сейчас я вам прочту несколько отрывков из этих книг и попрошу вас угадать, поэтическое это произведение или прозаическое. Читать я буду так, словно это проза, но предупреждаю: здесь есть и стихотворения... Вот первый отрывок. Слушайте:

Нужно ли это моей стране? Что ты несешь, моя Америка? Не сделал ли этого кто-нибудь раньше? И не сказал ли? Не привезла ли ты это на корабле? Не пустая ли болтовня? Рифма? Манерность? Есть ли в этом какой-нибудь смысл? Не использовали ли поэты, политики, литературы враждебных стран? Отвечает ли общественным нуждам? Улучшает ли нравственность?.

Майкель захлопнул книгу.

— Поэзия это или проза?—спросил он.—Прочел я мало, но вы слышали достаточно, чтобы высказать свое мнение.

С минуту все молчали.

— Мне кажется, поэзия,—сказал наконец Мередит.—Звучит, как проза, но думаю, что это поэзия.

— Почему?

Молодой профессор цинично усмехнулся.

— Хотите, чтобы я вам объяснил, почему считаю этот отрывок стихотворением? Видите ли, раз вы пытаетесь доказать,—и, несомненно, докажете,—что грань между поэзией и прозой стерта, то прежде всего вы, конечно, прочтете отрывок из стихотворения... Вот почему я сказал—поэзия.

Майкель повернулся к жене.

— Я бы сказала—художественная проза,—предположила Эдит.

— Проза,—отрезал Сэм Харлей.—Не знаю, почему, но звучит, как проза.

— Это поэтическое произведение,—объявил Майкель.—Отрывок из стихотворения Уота Уитмэна. Конечно, Уитмэн рассматривал его как поэтическое произведение, но сходство с таковым оно имеет лишь потому, что строчки неодинаковой длины.

— Вы не признаете Уитмэна поэтом?—спросил Мередит, готовый вступить в спор.

— Признаю,—ответил Майкель,—и возражать вам не стану... Вы выиграли... Но это стихотворение не принадлежит к числу удачных. Слушайте дальше.

Майкель раскрыл вторую книгу и прочел:

Туманные годы видели они;
А на склонах, в тени пальм, приютились укрепления,
Древние укрепления, возведенные для борьбы с пиратами.
В Мартинике дома с белыми фасадами
Напоминали французскую провинцию,
А по людным улицам сновали
Цветные женщины в платках
Лазоревых и алых.
Они миновали Сабу —
Одинокий унылый вулкан.
У кофейного цвета туземцев,
Подъезжавших в первых маленьких челноках,
Они скупали пау-пау
И плоды хлебного дерева.
Они вдыхали томление островов,
И трепет охватил их,
Когда приблизились они к Барбадосу.

— Поэзия!—воскликнул редактор.—Прекрасное стихотворение! Вот такие стихи я люблю... Оно соткано из красок и образов.

Майкель вопросительно посмотрел на Эдит.

— Поэзия,—ответила та.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что... здесь попадаются строчки, каких не бывает в прозаическом произведении. Например: «Они вдыхали томление островов»... И «унылый вулкан»... это сочетание «л» и «у»...

— Ну, а вы что думаете, Мередит?

— Я не думаю, а знаю,—последовал ответ.—Это— проза. Звучит, как стихотворение, но я знаю, что это проза.

— Почему?

— Потому что книгу я прочел и это место запомнил.

— Вы слишком много знаете, чтобы участвовать в

состязании,—заметил Майкель.—Быть может, вы нам скажете, что это за книга.

— Конечно. Вы прочли отрывок из романа Синклера Льюиса «Арроусмит». Это—та глава, в которой Мартин Арроусмит и Леора едут в Вест-Индию и...

— Мне все равно,—перебила Эдит Уэбб.—Это—стихотворение, хотя бы оно было напечатано, как проза.

— Я с вами согласен,—подхватил м-р Харлей.

— Это я и хочу доказать,—объявил Майкель.

— Что ж тут удивительного?—заметил Мередит Купер.—Эрнеста Торбэя считают прозаиком... беллетристом... а ведь многие страницы его романов—подлинная поэзия.

— Я прочту еще один отрывок,—сказал Майкель Уэбб.—Слушайте внимательно.

„Один — гениальный агитатор, волнующий сердца людей. Другой отличается талантом организовывать коммерческие предприятия. Ему нет дела до общественного благополучия или общественного мнения поскольку это не вредит его карьере коммерсанта. Он отнюдь не стремится к популярности, тогда как жажда славы, словно лихорадка, не дает покоя его брату".

— Проза,—сказала м-с Уэбб.

— Проза,—сказал м-р Харлей.

— Проза,—изрек Мередит Купер и поспешил добавить:—И к тому же прескверная.

— Все вы ошибаетесь,—засмеялся Майкель.—Я прочел первые десять или двенадцать строк стихотворения, появившегося в «Маленьком Обозрении».

— О господи!—воскликнул Харлей.

— Ну, если это поэзия,—заметил Мередит,—боюсь, как бы годовой отчет министерства финансов не оказался вторым «Потерянным раем»!

— Не упускайте из виду, что это свободный стих,— сказал Майкель.

— Очевидно, он достиг полной свободы,—отозвался Мередит.

6

— Отсюда вывод: в настоящее время нелегко отличить поэзию от прозы,—проговорил Майкель.—Поэзия умирает, ибо современный мир настроен против нее, а также—с сожалением это отмечаю—против красоты, в чем бы она ни проявлялась. Исключение—архитектура и дамские наряды.

«В особенности резко это ощущается здесь, в Америке. Общество высказывается против поэта. Он пишет не для всех людей, а лишь для очень ограниченного круга.

«Поистине позорно быть поэтом в Америке. Поэтам оказывают покровительство, смотрят на них свысока, немножко жалеют. Почему? Потому что на взгляд американца нет ничего хуже непрактичности. Конечно, поэты считаются людьми непрактичными...»

— Но ведь они и в самом деле непрактичны?— перебил Харлей.

— Да... к счастью. Непрактичных людей слишком мало, вот в чем беда. В настоящее время мир ни в чем так не нуждается, как в миллионе непрактичных людей.

— Но зачем? Для какой цели?—вопросил редактор. Он надел свое пенснэ без оправы и уставился на Майкеля Уэбба.

— Для какой цели?—повторил Майкель.—Да для того, чтобы проводить всякого рода крупные операции. Нам дозарезу нужны непрактичные люди.

— Мне кажется, в воздухе и сейчас носится множество идей... весьма непрактичных,—заявил м-р Харлей.

— Совершенно верно, носятся, но люди, воодушевленные ими, не пользуются авторитетом. Самый непрактичный человек терпит неудачу, если нет у него власти, нет возможности привести замысел в исполнение.

«История человечества показала, что в области прогресса люди практичные ничего ценного дать не могут. Я не хочу судить их несправедливо или отнимать то, что по праву им принадлежит. Они прекрасно могут справиться с мелкими ничтожными делами. Могут, например, проложить дорогу... в том случае, если какой-нибудь непрактичный мечтатель скажет им, какой ширины должна быть эта дорога и где именно следует ее проложить.

«Как жаль, что Нью-Йорк не был основан непрактичными людьми! Его создали практики. И посмотрите, что получилось: улицы недостаточно широки, нет улиц, идущих по диагонали к центру, дома повернуты фасадами не туда, куда следует. Ни один мечтатель не сделал бы такого колоссального промаха.

«Практичные люди прекрасно выполняют не столь важные дела: могут изобрести наилучший способ наклеивать ярлыки на жестянки, могут продавать подтяжки или поднять обувное производство. Но в делах действительно серьезных, затрагивающих интересы широких масс, они всегда допускают промахи и иногда причиняют существенный вред... Разрешение таких вопросов следовало бы предоставить непрактичным людям, облеченным властью.

«Вспомним мировую войну,—продолжал Майкель.— Да ведь в начале войны, когда армии были только что мобилизованы, горсточка непрактичных людей, представителей различных наций, сумела бы разрешить все вопросы и через несколько часов притти к соглашению по всем пунктам... Но, к несчастью, за дело взялись люди практичные, и последствия вам известны».

Во время этой речи в комнату вошел Томми и остановился подле матери. Он вопросительно посматривал на Майкеля и, наконец, спросил:

— Папа, что делают люди, когда у них война? Воюют ли они в комнате, или выходят из дому и начинают драться?

— Сначала, сынок, они сидят в комнате и говорят о войне,—ответил отец,—а затем выходят и воюют.

— Зачем они это делают, папа?—настаивал Томми.— Почему не сражаются в комнате?

— Потому что они—не воины. Они выходят из комнаты и заставляют сражаться других людей.

— А зачем, папа, другие вместо них сражаются?

Майкель призадумался.

— Видишь ли, они запугивают других людей. Говорят им, что те потеряют детей, дома, деньги, если не пойдут сражаться. Люди пугаются и идут на войну. Война происходит, если люди друг друга боятся.

— А они потеряли бы детей и деньги, если бы не пошли сражаться?—осведомился Томми.

— Нет,—ответил отец.—Они теряют все, когда идут сражаться, но узнают об этом лишь после окончания войны.

— Я бы не пошел на войну,—решительно заявил Томми.

— Придется мне когда-нибудь навещать этого мальчугана в тюрьме,—вздохнул Майкель.—Он достигнет призывного возраста к тому времени, как у нас начнется война с Японией, и если он до тех пор не откажется от своих убеждений...

— Я бы с ними подрался, если б они повели меня в тюрьму,—громко сказал Томми.

— Ступай, мальчуган, ступай играть! — приказал отец.—Ты вмешиваешься в разговор мудрых взрослых людей.

— Нет, пусть он побудет здесь,—возразила мать и обняла мальчика.

— То, что вы говорили о практичных людях, чрезвычайно интересно,—начал Харлей.—Но не можете ли вы объяснить, почему они терпят поражение, как только берутся за разрешение сложных социальных проблем? Вы сказали, что все серьезные дела следует предоставить непрактичным людям, но никаких объяснений не привели.

— Видите ли, по моему мнению, для большинства серьезных социальных вопросов нельзя найти практического разрешения... И к этим серьезным вопросам я бы отнес почти все проблемы финансовые и индустриальные. Однако они должны быть разрешены. Вы не отделаетесь от проблемы, заявив, что практически она неразрешима. Практичный человек терпит поражение, ибо не видит способа практически разрешить проблему, единственное возможное решение непрактично и призрачно.

«Такая дилемма является головоломкой для практичных людей, у них нет воображения, они с головой ушли в захватанные идеи.

«Все подлинно значительное создано мечтателями и фантазерами.

«На вопросе о рабстве, на постановке этого вопроса в Соединенных Штатах перед гражданской войной сказалось неумение умов практичных подойти к проблеме, выходящей за пределы их компетенции.

«Много было предложено способов покончить с рабством. Предлагали, чтобы правительство выкупило всех рабов и отослало их обратно в Африку, предлагали выкупить их и оставить на свободе в Америке, наделив каждого клочком земли, предлагали, наконец, выселить всех белых из штата Техас и предоставить этот штат неграм, чтобы они основали свое собственное государство под протекторатом Соединенных Штатов.

«Все эти планы были отвергнуты как чрезвычайно нелепые. Их породила фантазия людей непрактичных и мечтательных. Со всех сторон посыпались возражения — многочисленные, ошеломляющие, неоспоримые. В конце концов вопрос о рабстве был разрешен силой оружия. Таково было практическое его разрешение. Теперь нам известно, что даже самый фантастический и экстравагантный из планов, выдвигаемых перед войной, мог разрешить проблему рабства и обойтись в четыре раза дешевле, чем гражданская война, уж я не говорю о ненависти и жертвах...

«Да, не следует допускать, чтобы практичные люди принимали участие в важных делах! Они всегда идут окольными путями. Мелкими делами они могут заниматься, ибо на это у них хватает ума, но при разрешении действительно серьезных проблем они проявляют исключительную близорукость и несостоятельность.

Много есть ответственной работы, для которой нужны мечтатели.

«В истории человечества все великие герои были людьми непрактичными. Галилей был богохульником и безумцем, Христос—нищим бродягой, Ньютон—рассеянным чудаком, Роберт Фультон—фантазером и...»

7

В эту минуту вошла горничная Роза и подала Майкелю Уэббу визитную карточку.

— Простите,—сказал он.—Гости приехали.

На карточке изящным шрифтом было напечатано:

М-Р и М-С К. М. ТОРНТОН.
Родители Мисс Фанни Торнтон, Звезды Экрана.

— Я видел, как несколько минут назад подъехал красивый лимузин,—заметил Харлей.

— Они в конторе, м-р Уэбб,—сказала горничная.— Они хотели подождать в конторе.

«Конторой» называлась узкая маленькая комнатушка, в которой Гюс хранил журнал для прописки гостей, устаревшую телефонную книжку, расписки, календарь, почтовую бумагу и конверты. Мрачная, унылая комната.

— Я им предлагала пройти в приемную,—объяснила Роза,—но они сказали, что подождут в конторе. Хотят видеть вас, сэр.

— Хотят меня видеть? А они не сказали, по какому делу?

— Нет, сэр, не сказали... Вид у них какой-то таинственный.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Пока компания в гостиной небрежно обсуждала таинственное появление Торнтонов, м-р Торнтон и его жена сидели в конторе и разговаривали вполголоса.

Нарядный лимузин, в котором они приехали, стоял перед гаражем, окруженный обитателями гостиницы. Всех приводили в восхищение фиолетовая его обивка и всевозможные хитроумные приспособления.

Торнтоны словно излучали ауру эпохи Гровер Кливлэнда... впечатление туманное и призрачное, как нота, звенящая в воздухе после того, как музыканты потушили свет и разошлись по домам. Отнюдь того не желая, Торнтоны невольно наводили каждого на мысли о рукавах буфами и узких корсажах, о сентиментальном водевиле и вальсе «После бала», о Лиллиан Гуссель и романах Генри Харлэнда, о Чикаго... да, именно о Чикаго девяностых годов.

— Послушайте,—обратилась м-с Торнтон к своему супругу,—что бы вы ни намеревались делать, лишнего ему не говорите...

— Не скажу... Можешь на меня положиться... Я—не младенец.

— Быть может, в эту самую минуту составляют заговор...

— Знаю, знаю,—прошептал м-р Торнтон.—И стены имеют уши.

Он взял регистрационную книгу и начал перелистывать.

— Ах, если б у меня было время просмотреть список, я бы мог, не раскрывая наших карт, узнать, была ли здесь эта ведьма.

М-с Торнтон с восхищением посмотрела на мужа.

— Вот это мысль!—воскликнула она.

— Но я не успею до его прихода... Как ты думаешь, не остаться ли нам здесь на несколько дней?

— Вы бы рискнули?—с благоговейным ужасом прошептала жена.

— Я готов рисковать чем угодно. Не забудь, что закон на нашей стороне.

— Шшш...—взволнованно зашикала м-с Торнтон.— Шшш... Я слышу шаги. Положите книгу на место.

Он положил книгу на конторку и сказал:

— Ничего! Успею просмотреть ее завтра!

2

— М-р Уэбб, я хотел потолковать с вами об одном маленьком деле,—начал м-р Торнтон,—и привез с собой жену....

— Очень рад вас видеть,—сказал Майкель.—Погода неудачная для путешествия. Дороги грязные и...

— О, это пустяки,—отозвался м-р Торнтон.

— Трудно было найти сюда дорогу?

М-р Торнтон покачал головой.

— Не очень,—сказал он.—Но, выехав из Старого Хэмпдена, мы заблудились. Потом встретили какого-то джентльмена верхом, и он объяснил, как нужно ехать. Джентльмен был похож на Тедди Рузвельта.

— О, это м-р Приддель... один из обитателей гостиницы.

— Он производит очень хорошее впечатление,—вставила м-с Торнтон.

— Однажды я встретился с вашей дочерью,—объявил Майкель.—Несколько лет назад, в доме Ричарда Эллермана... Очаровательная женщина!

— О, да!—подтвердил отец мисс Торнтон.—И к тому же талантливая.

— Сейчас она вышла замуж за аристократа,—заметила м-с Торнтон.—Должно быть, вы об этом читали.

Майкель кивнул.

— Я с ней встретился, когда она еще не была замужем.

— Первый ее муж... этот м-р Дингл... никуда не годился,—заявила м-с Торнтон.—Ах, что это был за человек!

Она с отвращением воздела руки; пальцы ее были унизаны кольцами.

— Грязный человек—вот кто он такой!

— А Бродфусс, второй муж Фанни, мне очень нравился,—рассудительно заметил м-р Торнтон.— И Фанни его любила, но не могла привыкнуть к такой фамилии...

— Он был лесопромышленник,—сказала м-с Торнтон таким тоном, словно сообщала что-то очень важное.— Но Фанни—женщина с темпераментом, она терпеть не

могла его фамилии, а он не хотел ее менять... Вот они и разошлись.

— Да, он был славный, порядочный человек,—произнес м-р Торнтон.—Никогда на чужой счет не жил. А князь, за которого она теперь вышла, этим похвалиться не может. Да, Бродфусс был молодчина!

— Бродфусс означает по-немецки хлебная нога,—продолжала м-с Торнтон.—Фанни этого не знала, пока не вышла за него замуж, а то бы не бывать этому браку! Кто-то написал о ней в газете и назвал ее м-с Хлебная Нога.

— Почему он не переменил фамилии на Тревельян?—осведомился Майкель.

— Он ни на что не хотел ее менять... Очень был упрямый. Вот Фанни и развелась с ним.

— По какому делу вы хотели меня видеть?—спросил Майкель.

М-р Торнтон замялся.

— Это длинная история, — начал он. — И потом, знаете ли... отель нам понравился. Быть может, мы здесь на несколько дней остановимся и надосуге потолкуем с вами о делах.

— Остановимся в том случае, если здесь есть все удобства,—добавила его жена.

— Уж не хотите ли вы мне что-нибудь продать?—подозрительно спросил Майкель.—В таком случае могу вам сказать напрямик...

— О, нет, нет!—успокоил его м-р Торнтон.—Я ничего не продаю. В сущности сейчас мне не приходится работать.

— Ну так я пошлю за м-ром Бюфордом, хозяином гостиницы, и он вам отведет номер.

Майкель встал и направился к двери.

— Нет, пожалуйста, не беспокойтесь!—и м-р Торнтон умоляюще поднял руку.

— Не беспокойтесь,—повторила его жена.—Мы здесь посидим, пока он не придет.

— Да, скучать мы не будем,—добавил м-р Торнтон.— Мы здесь его подождем... Наверно, он скоро придет... А если нам надоест ждать, я его разыщу.

— Отлично,—сказал Майкель.—Располагайтесь, как дома. Если хотите, можете подождать в гостиной. Сейчас там идет диспут о современной поэзии. Но, быть может, вас поэзия не интересует?

— Не очень. Благодарю вас, м-р Уэбб,—с заметным облегчением отозвался м-р Торнтон.—Очень вам благодарен... Гольф—вот, что меня интересует. Вряд ли я бы сумел написать стихотворение, даже если бы постарался.

Майкель подошел было к двери, но затем вернулся.

— Видите ли, я не хочу выпытывать у вас, по какому делу вы ко мне приехали, но я бы мог избавить вас от лишних неприятностей и разочарований. Довожу до вашего сведения, что больше я никого не снабжаю мыслями... я вышел из «Мыслящей Корпорации»... и думаю исключительно для собственного развлечения. Следовательно, если вы хотите, чтобы я за вас подумал, то боюсь, что я....

— О, нет!—быстро перебила его м-с Торнтон.—Наше маленькое дело никакого отношения к этому не имеет.

— Отлично,—сказал Майкель.

— Мы сами за себя думаем,—гордо заявил м-р Торнтон.

— Тем лучше! Вероятно, м-р Бюфорд скоро придет. Если вам надоест созерцать достопримечательности этой конторы, вы можете выйти в вестибюль.—Он указал на дверь в глубине комнаты.—Там вы найдете чучела птиц и карту Панамской республики.

3

Сэмуэль Харлей почуял, какую выгоду можно извлечь из Торнтонов, и тотчас же после их приезда стал мечтать об интервью.

Для журналиста желтой прессы интервью с родителями звезды экрана имеет бо́льшее значение, чем беседа с британским послом.

Харлей мыслил образами: жизнь представлялась ему серией картин, иллюстрирующих «Воскресное Обозрение», конгломератом чудовищных приключений и заговоров. Люди, о которых он и его помощники писали на страницах воскресного журнала при газете «Обозрение»,—эти люди совершали подвиги отчаянные, нелепые, великолепные или знаменательные. Они начинали с малого: карабкались по социальной лестнице в погоню за успехом; падали к ногам красавиц—«Воскресное Обозрение» рассматривало любовь, как своего рода эпилептический припадок; загребали золото руками, похожими на когтистые лапы; ставили все на карту; в этих людях была какая-то роковая притягательная сила, дезорганизующая мир; деньги они разбрасывали, как бросает человек горсть риса воробьям; их могущество заставляло королей трепетать на тронах; они попадали в тюрьму и выходили оттуда, покрытые шрамами; теряли все и бродили в лохмотьях; опускались на самое дно и, как ди-

кие звери, кидались на корку хлеба. М-р Харлей ни разу не видел, чтобы кто-нибудь кидался на корку хлеба, но предполагал, что это сплошь и рядом случается.

Теперь, когда родители мисс Фанни Торнтон, были, так сказать, у него под рукой, Харлей уже видел на страницах «Воскресного Обозрения» чудесную повесть о детстве мисс Торнтон. Иллюстрированную, конечно! Скромное жилище, в котором она впервые увидела свет... Харлей не сомневался, что жилище было скромное... Школьные годы.... ослепительная красота ребенка... врожденные способности к мимике... Быть может, ему удастся получить одну из ее детских карточек... какую-нибудь старую выцветшую фотографию...

М-р и м-с Торнтон заявили, что им уже приходилось беседовать с интервьюерами. Они пригласили Харлея в свою комнату.

В назначенный час он явился и увидел, что муж и жена, разодетые в лучшее свое платье, сидят рядом на софе. Казалось, ждали они не репортера, а фотографа.

Около м-с Торнтон лежала целая кипа фотографических карточек ее дочери. На них она при каждом удобном случае обращала внимание Харлея. Супруги выглядели живописно, но воспоминания их были туманны и спутаны. Дымная завеса окутывала их прошлое, стирая имена и даты. Чтобы прочистить их головы, следовало вооружиться тряпкой и щеткой.

— Итак, вы говорите, что мисс Торнтон родилась в Цинциннати?—повторил Харлей, делая заметку в записной книжке.

Во время интервью Харлей всегда делал заметки, дабы собеседник не уклонялся от темы.

— Совершенно верно,—подтвердил отец,—в старом Цинци... Вероятно, вы бывали в Цинциннати? Быть может, вы помните заведение Траута Мак-Лафлина на Вайн-стрит? Впрочем, вы тогда были слишком молоды... Траут был близким моим другом... Его бар назывался «Старое Убежище», это обычное название салунов в Цинциннати. Несколько ступенек вели вниз...—М-р Торнтон наклонился и указал на пол.—И даже в самые жаркие дни там, внизу, было прохладно... А пиво и соленые крендельки...

— М-р Торнтон!—воскликнула его жена.—М-р Харлей не интересуются салунами. Он нас интервьюирует...

— Траута уже нет в живых... славный был старик,—продолжал м-р Торнтон, повышая голос.—Чорт возьми!.. Похоже на то, что поумирали чуть ли не все, кого я любил. Траут спит непробудным сном, а пиво и крендельки...

— Взгляните, м-р Харлей,—резко перебила м-с Торнтон.—На этой карточке Фанни снята в своем стеклянном платье. Я вам дам карточку. Она еще не появлялась ни в одном журнале. Да, сэр... платье сделано из стекла... каждая нитка стеклянная.

Харлей взял снимок и поправил пенснэ.

— Очень любопытно,—отозвался он.—Вы говорите, что это не материя? Быть может, стеклянные нити нашиты на материю?

— Нет,—возразила м-с Торнтон.—Это ткань стеклянная. Стеклянное платье! Вы можете его осторожно сгибать и складывать, как будто оно матерчатое. Стекольный завод преподнес его Фанни. Они думали, что оно послужит им рекламой. Я забыла название этого

завода. Позвольте... Как назывался стекольный завод?— обратилась она к мужу.

— Ей-богу, не помню,—ответил тот.—Какая-то стекольная компания... Да, так начиналось: «Стекольная Компания...» а конец я забыл. Они сказали, что платье стоит пять тысяч долларов..

— Очень возможно,—заметил редактор.

— Сколько бы оно ни стóило, но они преподнесли его Фанни,—продолжала м-с Торнтон.—В этом платье Фанни хотела сниматься в новой фильме, где она играет испанскую королеву, но платье не подошло... отражает свет.

— Понимаю,—сказал Харлей.—Вы долго жили в Цинциннати?

М-р Торнтон покачал головой.

— Нет, мы никогда там не жили.

— А вот снимок ног Фанни,—вмешалась м-с Торнтон.—Эти чулки сделаны по особому заказу. Обратите внимание: монограмма Ф. Т. как бы вплетена в черное кружево.

— Очень красиво,—отозвался редактор «Воскресного Обозрения»; он имел в виду не чулки, а ноги.

— Как вы думаете, сколько тратит Фанни ежегодно на чулки?—задала вопрос м-с Торнтон.

Харлей ответил, что он понятия не имеет. Он предполагал, что в год она изнашивает пятьдесят пар; пара стоит, скажем, пять долларов; следовательно, двести пятьдесят долларов в год. Но он не посмел высказать свою догадку, боясь уронить себя в глазах родителей мисс Торнтон. Кто знает, может быть, оценка его недостаточно высока.

— Ну так я вам скажу,—продолжала м-с Торнтон.—

Эти чулки стóят двенадцать долларов, а одну и ту же пару Фанни надевала только два раза... Теперь, когда она вышла за князя, ей придется менять монограмму. Вместо своих инициалов она хочет поместить его герб... или как это называется у князей?

— Корона,—подсказал Харлей.

— Да, корону... Она хочет, чтобы у нее на чулках была корона. Вы сами можете вычислить, во сколько ей обходятся чулки. Двенадцать долларов пара, два раза надеть и выбросить....

— Шесть долларов в день, — сказал Харлей. — Но, быть может, в течение дня она их меняет?..

— Нет, оставим шесть долларов в день. Сколько получается?—спросила м-с Торнтон, указывая ему на записную книжку и карандаш.

— Около двух тысяч в год,—объявил редактор.

— Совершенно верно,—подтвердил отец Фанни и с торжествующей улыбкой окинул взглядом комнату.

— А что вы скажете о князе?—осведомился Харлей, держа наготове карандаш.—Его носки сделаны по особому заказу и украшены монограмой?

— Об его носках я ничего не знаю,—отрезал м-р Торнтон.

М-с Торнтон была осведомлена лучше.

— Да, носки его сделаны по особому заказу,—сказала она.—Носки из тончайшего шелка. И, кажется, украшены короной.

— Так... Значит мисс Торнтон родилась в Цинциннати. Чем вы тогда занимались, м-р Торнтон?

М-р Торнтон замялся.

— Трудно сказать,—объявил он наконец.—Брался то за одно дело, то за другое. Много лет мы работали на

сцене. Быть может, вы слыхали о Торнтоне и Боулсе, «крылатых плясунах»? Это были мы—я и моя миссис... И уж можете мне поверить, плясали мы на славу. Однажды нам здорово повезло...

— М-р Харлей нисколько этим не интересуется,—перебила м-с Торнтон.—Он собирается писать не о нас, а о Фанни. М-р Харлей, вот еще несколько карточек моей дочери. Шляпы самые модные. Знаете, сколько у нее уходит в год на шляпы?.. Пят-на-дцать тысяч дол-ларов... да, сэр!

— Очень красивые шляпы,—заметил Харлей, рассматривая снимки и размышляя о том, как могла эта супружеская пара произвести на свет такое прекрасное создание, как Фанни Торнтон.

— Должно быть, она их выписывает из Парижа?

— О, да!—ответила м-с Торнтон.—Прямо из Парижа.

— Больше всего меня интересует детство мисс Торнтон,—продолжал редактор.—Посещала ли она школу?

— Конечно,—отозвалась м-с Торнтон.—В каком бы городе мы не жили, она всегда ходила в школу. Очень была прилежная. Запишите это, пожалуйста. И сейчас она много читает... Все новые книги. Руперта Хугса и... гм... ну, словом, самых модных авторов. Но Фанни читает книги исключительно в фиолетовых переплетах... или синих. Это ее любимый цвет. Если переплет не фиолетовый и не синий, она такую книгу и читать не станет. Синий—это цвет спокойствия... тишины... действует умиротворяюще.

— Да, это вам не сказки!—перебил м-р Торнтон.—Многие великие ученые занимались этим вопросом и нашли, что синий цвет действует успокоительнее, чем все другие цвета.

— Несомненно,—подтвердила его жена.—Если переплет не синий и не фиолетовый, Фанни отсылает книгу в переплетную.

Редактор это записал.

— Фанни—ревностная почитательница Элберта Хюббарда,—сказал м-р Торнтон.—У нее есть все его книги... Занимают целую полку... переплеты синие, кожаные.

— Пятьдесят долларов книга,—добавила м-с Торнтон.—Нумерованные экземпляры.

— Я книгами не очень-то интересуюсь,—продолжал м-р Торнтон,—но однажды я раскрыл случайно книжку этого Хюббарда. Да, что и говорить! Вот это настоящий мыслитель!

— Фанни прочла все его книжки,—заявила м-с Торнтон.—Запишите, пожалуйста, м-р Харлей.

— Хорошо, я упомяну об этом в статье,—отозвался Харлей.

— Фанни нашла одну фразу у Хюббарда, которую в Холливуде повторяют теперь все и каждый,—сообщил м-р Торнтон.—Вот эта фраза: «Если человек... понимаете, любой человек... так вот, если человек сделает мышеловку лучше, чем кто-нибудь другой,—люди протопчут дорожку к двери его дома». По моему мнению, это чертовски умно сказано. Фанни как-то привела эту цитату, и теперь все ее повторяют.

— А не говорится ли там об одном человеке, который жил где-то в лесу?—спросила м-с Торнтон.—Кажется, это в той же книге.

— Не помню... Ну, словом, мысль такова... мысль, которую проводит Эльберт Хюббард... «Где бы ты ни жил, если ты сделаешь мышеловку лучше, чем кто-нибудь другой, люди тебя разыщут»... Когда мы уезжали

из Холливуда, эта цитата была у всех на языке. Она, знаете ли, привилась.

— Понять не могу, почему подняли такой шум из-за мышеловки,—проговорила м-с Торнтон.—Никаких дорожек протаптывать не нужно, раз вы в любом магазине можете купить мышеловку... и очень недурную мышеловку... за десять центов. Что же касается меня, то я всегда говорила и сейчас говорю: хорошая кошка сто̀ит дюжины мышеловок.

— Кстати о мышеловках,—со смехом начал м-р Торнтон,— слыхали ли вы, Харлей, анекдот о...

— М-р Торнтон!—сурово окликнула его жена.—Довольно!

М-р Торнтон моментально прикусил язык. Смущенно улыбнувшись Харлею, он кивнул и указал большим пальцем на дверь. Харлей понял, что позднее ему предстоит выслушать анекдот.

М-с Торнтон перебирала фотографические карточки.

— Жаль, что я не захватила тех, где Фанни снята в своих новых матинэ,—сказала она и, помолчав, добавила:—М-р Харлей, я хочу опровергнуть слухи, будто Фанни носит только фиолетовое белье. Я категорически протестую и буду вам очень благодарна, если вы об этом упомянете в статье. Эта басня всем известна, всюду говорят, что мисс Фанни Торнтон носит только фиолетовое белье... Фиолетовые рубашки мисс Фанни Торнтон... Фиолетовое шелковое белье... Но кому знать, как не мне, какое белье носит моя дочь.

— Какое же?—спросил Харлей, берясь за карандаш.

— Я даже видел одно объявление, где говорилось о фиолетовом белье,—заявил м-р Торнтон.—Какая-то

фирма, рекламируя фиолетовое белье, ссылалась на то, будто такое белье носит мисс Фанни Торнтон.

М-с Торнтон с негодованием покачала головой.

— Всем известно, что любимый ее цвет — фиолетовый,— воскликнула она,— вот они и пытаются доказать, будто она окончательно потеряла голову из-за этого цвета.

— Но какое же у нее белье?— поинтересовался журналист.

— Она носит только белое,— объявила мать звезды экрана.— Белое шелковое! И стоит оно немало— около десяти тысяч долларов в год.

— Ого!— отозвался Харлей.— А теперь скажите мне, когда вы оставили сцену? Должно быть, мисс Торнтон была тогда маленькой девочкой? Она тоже выступала на сцене?

— О, нет!— энергично отвергла м-с Торнтон такое предположение.

— Мы не выступали уже больше двадцати лет,— пояснил м-р Торнтон.— И, покинув сцену, занимались разными делами. То поднимались, то опускались...

И, как бы иллюстрируя свои слова, м-р Торнтон одну руку поднял, а другую опустил.

— Года два я разъезжал по городам, продавая усовершенствованные экономические газовые горелки. Сейчас я вам расскажу, как я напал на это дело. Приехали мы в Филадельфию— я, жена и малютка...

— Сколько лет было вашей дочери?

— Должно быть, лет шесть или семь... Да, приехали в Филадельфию и сели на мель. Прожили все до последнего цента, и выехать было не на что. Прогорели дотла, и работу найти я не мог. По приезде мы сняли меблиро-

ванную комнату и заплатили за месяц вперед... двенадцать долларов... Не сделай мы этого, пришлось бы нам всем ночевать на мостовой.

— Туго пришлось?—спросил журналист.

— И не говорите! Беда заключалась в том, что я не знал, за какое дело взяться. Я умел только танцовать жигу, свадебный танец... Ну, словом, разные эстрадные танцы... И у моей миссис была такая же специальность. Но эти танцы вышли из моды. Вот мы и застряли в Филли... да еще в летнюю пору... А жара стояла адская.

«Доллар казался нам целым состоянием. В полдень я отправлялся в бар и выпивал кружку пива, а к пиву полагалась даровая закуска. Потом покупал на десять центов бананов и шел к жене и ребенку...»

М-с Торнтон покачала головой и энергично запротестовала:

— Да ведь м-ру Харлею это совсем не интересно...

— Очень интересно,—поспешил возразить Харлей.— Меня интересует все, что касается мисс Торнтон.

— В течение месяца мы питались только бананами,— продолжал отец ослепительной звезды экрана.—Однажды я прочел в газете объявление: «Требуются расторопные агенты для распространения ходкого товара; сбыт на десять-пятнадцать долларов в день обеспечен».

«Я никогда в жизни ничего не продавал и сомневался в своих коммерческих способностях, но когда человека припрут к стенке, он согласится на что угодно. Если вам не везет, кажется, будто весь мир обнищал. Ни у кого нет денег. Я никогда не видел столько бедняков, как в то лето на улицах Филадельфии. Они попадались на каждом шагу. Я бы согласился исполнять любую работу

за пятьдесят центов в день, потому что никто, казалось, не в состоянии был платить больше.

«Итак, сэр, я пошел по объявлению, и первым, кого я увидел, был Бэрт Эттербёри. Сидит в своей конторе, костюм на нем новенький—в черных и белых шашках».

М-р Торнтон стал водить пальцами по своей груди, чтобы объяснить, какие шашки украшали костюм м-ра Эттербёри.

— И выглядит Бэрт директором банка. А на столе подле него—коробка сигар...

М-с Торнтон наклонилась и, тронув м-ра Харлея за рукав, показала ему большую фотографическую карточку, на которой была снята вилла, построенная в испанском стиле; к вилле вела аллея.

— Новый дом Фанни в Холливуде,—прошептала м-с Торнтон.

Харлей молча кивнул и взял карточку.

— Бэрт мне показал усовершенствованную экономическую газовую горелку и предложил работать на комиссионных началах. Нужно, видите ли, ходить из дома в дом и навязывать товар. Усовершенствованная Горелка дает не только свет, но и большую экономию на газе. Так, по крайней мере, говорится, но мы нигде подолгу не засиживались и не имели возможности проверить, так ли это на самом деле.

М-с Торнтон, поймав взгляд Харлея, указала ему на снимок дома в Холливуде и прошептала:

— Восемь слуг.

— Я сказал Бэрту Эттербёри, что дела мои очень плохи. Мне казалось—скрывать не имеет смысла. Я ему объяснил, что рисковать я не могу. Он ответил, что я ничем не рискую,—всякий охотно купит усовершенство-

ванную газовую горелку. Тогда я ему сообщил, что целый месяц мы не видали ничего, кроме бананов.

«А знаете, что сделал Бэрт? Он полез в карман, вытащил пачку кредитных билетов, извлек билет в десять долларов, протянул его мне и сказал:

— Отправляйтесь домой, лентяй, отдайте деньги жене и возвращайтесь сюда, а я вам покажу, как носят бриллианты.

«У него на пальце было кольцо с большим бриллиантом.

«Да, сэр, а ведь Бэрт впервые узнал о моем существовании, ведь я мог взять эти деньги и не вернуться. Вот что за человек Бэрт! Десять долларов меня ослепили. Я готов был броситься ему на шею.

«Когда я вернулся, он мне объяснил, как действует Усовершенствованная Горелка, набил ими мои карманы, и я отправился в путь. Горелки стоили дешево—пятнадцать центов штука, но продавать их нужно было десятками или дюжинами.

— Куда мне итти?—спросил я Бэрта.

— Идите, куда хотите,—ответил он. Затем подошел к окну и показал на один из домов.—Начните хотя бы с этого дома.

«Хотите—верьте, хотите—не верьте, но я три часа шатался по городу и не продал ни одной проклятой горелки. Полный провал! Никогда я не был так обескуражен. Мало сказать—обескуражен! Я испугался! Казалось, худшие мои опасения оправдались—в Филадельфии действительно нет денег».

— Бассейн для плавания находится позади дома,—прошептала м-с Торнтон.—На фотографии его не видно.

— Да... благодарю вас,—отозвался Харлей.—Позади дома... понимаю.

«Я вернулся и сказал Бэрту, что меня постигла неудача... Он долго смотрел на меня, словно ощупывал с ног до головы, а потом сказал:

— Ну, видно, вы еще неопытнее, чем кажетесь... Ведь в этом городе дураков много... Они буквально кишат здесь, как вши.

— М-р Торнтон! Пожалуйста не говорите таких слов,— взмолилась жена.

— Это не мои слова, так Бэрт сказал. Он взялся за шапку и объявил, что сейчас мне покажет, как нужно предлагать товар. Когда мы вышли на улицу, я ему показал дом, куда он мне посоветовал зайти.

— Они меня даже не впустили,—пояснил я.—Слова не дали сказать. Служанка захлопнула дверь перед самым моим носом.

— Ладно,—говорит Бэрт,—туда мы и пойдем! И в наказание заставим хозяйку взять две дюжины горелок.

«Когда мы позвонили, та же служанка открыла дверь. Бэрт ей сказал:

— Я—эксперт по газовому освещению,—и смело вошел в дом, а я от него не отставал.

— Я хочу взглянуть на ваш счетчик и осмотреть все газовые горелки!—Тон у Бэрта был повелительный... Подойдя к счетчику, он вынул свою записную книжку и сделал вид, будто что-то вычисляет.—Ох, какая утечка! Какая утечка!—сказал он, обращаясь ко мне, но так, чтобы горничная могла его слышать.

«Затем он повернулся к ней и объявил, что хочет поговорить с хозяйкой дома. Последняя явилась к нам в капоте,—вид у нее был встревоженный. Бэрт ей объяснил, кто он такой—эксперт по газовому освещению при Американской лиге экономного ведения домашнего

хозяйства. Сообщил, что расходование газа в Филадельфии обратило на себя внимание общества, и его прислали расследовать дело. Леди пожелала узнать, можно ли с этим бороться.

— Дело несложное,—ответил Бэрт,—если бы нам удалось заинтересовать вашу жалкую газовую компанию вот этой штучкой!—И он извлек из кармана усовершенствованную горелку.

— Мы хотим провести закон, предписывающей вашей городской компании пользоваться этими экономическими горелками,—пояснил Бэрт.—А сейчас мы проверяем счетчики, чтобы установить, какова утечка газа. В этом домечутечка из ряда вон выходящая. А в экономических горелках горит и газ и воздух—пополам!

«Он приспособил одну из горелок и зажег свет. Когда вы зажигаете горелку, сначала слышится какой-то свистящий шум. Это имеет огромное значение. Вы объясняете покупателю, что воздух втягивается в горелку. Минуты через две, когда шум начинает действовать на нервы, вы повертываете кран, и шум прекращается.

«Хозяйка объявила, что она с удовольствием поставила бы эти новые горелки, не дожидаясь распоряжения газовой компании, если бы только знала, где их купить. Бэрт ответил, что в Филадельфии таких горелок не найти, но он имеет при себе несколько штук, и—уж так и быть—согласен ей продать.

«Мы продали этой женщине двадцать горелок по двадцать пять центов за штуку. Когда мы вышли из дома, я спросил Бэрта, почему он запросил двадцать пять центов, когда горелка стоит пятнадцать.

— Я набавил десять центов,—сказал он,—потому что сегодня утром эта особа не пустила вас на порог.

«Вот что за человек этот Бэрт! Смело могу сказать, что за своих друзей он горой стоит. Часа два бродили мы с ним по городу, и Бэрт продал все, осталось только две штуки. С тех пор у меня никогда не было никаких затруднений с усовершенствованными горелками.

«В тот вечер, когда я вернулся домой, в меблированную комнату, м-с Торнтон,—он кивнул в сторону жены,—купила бифштексов, луку, несколько бутылок пива и стала жарить бифштексы с луком. О боже! Как это вкусно пахло!

«Фанни—тогда она была совсем крошечной—макала кусок хлеба в подливку и начисто вылизала блюдо. Не нужно было его мыть. Остатками нашего обеда не насытилась бы даже канарейка».

— Постыдитесь, м-р Торнтон!—вмешалась жена.— Разве можно рассказывать такие вещи? Фанни была бы ужасно смущена, если бы это появилось в печати. Пожалуйста, не упоминайте об этом в вашей статье, м-р Харлей.

— Такой любопытный штришок из жизни, м-с Торнтон...—начал было журналист.

— Нет, прошу вас, не упоминайте.

— Слушаюсь, м-с Торнтон. Я умолчу о том, чего вы не хотите видеть в печати.

— О, Бэрт Эттербёри — порядочный, честный парень,—продолжал м-р Торнтон.—Однажды я видел, как он сбил с ног здоровенного молодца. Бэрт никого не задирает, но не любит, чтобы на него наседали. Случилось это в Сент-Луэй как раз перед отелем старика Плентерса. Вечер был жаркий, мы стояли на тротуаре, а публика из отеля вынесла стулья на улицу и отдыхала.

«Является этот молодец—кажется, он был под хмель-

ком,—а с ним четверо или пятеро его приятелей. Он отпускает какую-то шуточку по поводу франтовского костюма Бэрта. Пожалуй, Бэрт действительно выглядел франтом, но молодцу-то какое дело? Бэрт не рассердился и в свою очередь подшутил над пьянчужкой. Слово за слово, и парень полез на Бэрта с кулаками. А Бэрт как размахнется... и ударил парня под подбородок, один только раз, и тот упал. Мы пошли дальше, а Бэрт оглянулся и посоветовал приятелям пьяницы—они стояли вокруг него — дать парнишке понюхать нашатырного спирта. Это его приведет в чувство. Не прошли мы и квартала, как подскакивает полисмен и арестовывает Бэрта. Но ничего из этого дела не вышло, Бэрта тотчас же отпустили. Свидетели показали, что парень первый полез с кулаками, и тогда только Бэрт его ударил».

Харлей осведомился, жив ли Бэрт.

— Жив ли Бэрт? Ну еще бы! Жив и здоров. Женился и живет в городе Сиу. Там у него мебельный склад.

— О, он—ужасный человек, м-р Харлей,—вмешалась м-с Торнтон.—Однажды в Вашингтоне Фанни попала из-за него в неловкое положение. Был какой-то прием, Фанни разговаривала с одним из послов, а этот Эттербёри подбежал к ней, схватил за обе руки и назвал «крошкой».

— Уж он-то во всяком случае имеет право называть ее крошкой!—заявил отец мисс Торнтон.—Когда она была совсем маленькой, он сажал ее к себе на колени, а она лезла к нему в карман за конфетами.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

— Рассказ Торнтонов затянулся,—сказал Харлей, сообщая Майкелю Уэббу об интервью.—Это было растянутое этическое повествование. Как они переезжали из одной меблированной комнаты в другую, как кочевали по Соединенным Штатам... Меблированные комнаты, пропитанные запахом солонины и капусты... Деньги, заработанные и прожитые... Хрупкий красивый ребенок, помогающий матери мыть посуду...

— Послушайте, Сэм,—перебил Майкель,—вы говорите, что ваша статья в «Воскресном Обозрении» будет целиком посвящена драгоценностям и нарядам мисс Торнтон... с обозначением тех сумм, какие она тратит на чулки и духи. Но почему бы вам не написать историю мисс Торнтон так, как вы мне ее сейчас рассказали?

— Видите ли, у меня есть основания. Во-первых, я обещал м-с Торнтон не помещать этих сведений в печати, а во-вторых, мои читатели охотнее прочтут статью в таком виде, как я собираюсь ее дать.

— Неужели? Как странно! А я думал, что читатели заинтересуются детством мисс Торнтон... повестью о том, как она боролась с нищетой... И любопытно провести

параллель между детством ее и тем беззаботным существованием бабочки...

— Нет, это их не заинтересует,—возразил Сэмуэль Харлей.

— Почему?

С минуту журналист молча смотрел на лужайку. День был теплый, солнечный. Они сидели в маленькой беседке, охватывающей ствол гигантского дуба.

— Это объясняется психологией читателя,—сказал он наконец.—Детство мисс Торнтон ничем не отличается от ранних лет очень многих из наших читателей. Нет, это не подойдет.

И он покачал головой.

— Но головокружительный успех мисс Торнтон подействует на ваших читателей вдохновляюще,—предположил Майкель.

Харлей с этим не согласился и заявил, что карьера мисс Торнтон не может вдохновить его читателей; многие увидят в ней как бы приговор себе. Начнут размышлять о том, что и они тоже добились бы успеха, если бы только постарались.

— А такие мысли чертовски неприятны,—добавил редактор.—Мои читатели не хотят, чтобы их вдохновляли... или поучали. Они нуждаются в развлечении.

— Понимаю,—сказал Майкель. И, помолчав, неожиданно спросил:—Торнтоны вам не сказали, по какому делу они ко мне приехали?

— Нет, ничего не говорили... А вы не знаете?

— Понятия не имею. Они мне еще не сказали... И, признаюсь, я заинтересовался.

— А вы бы их спросили,—посоветовал Харлей.

— Не хочу. Они дали мне понять, что дело это очень

важное, а так как я отнюдь не желаю заниматься серьезными делами, то...

— Я могу для вас разузнать, если вы меня уполномачиваете,—предложил редактор.—Во всяком случае попытаюсь...

— Буду вам признателен.

— Отлично, я попробую,—сказал Харлей.—Эти Торнтоны—странная пара...

— Пустяки!—воскликнул Майкель.—Гостиница битком набита странными людьми. Я сам—человек со странностями.

Харлей с ним согласился, но вслух этого не сказал и неожиданно спросил:

— Ваш ученый бутлегер, кажется, безумно влюблен, не правда ли?

— В мисс Уэйн, хотите вы сказать? Совершенно верно.

— Послушайте, видели ли вы Вилльяма Брилля с тех пор, как он женился на мисс Пемпль?

У Харлея была привычка неожиданно обрывать нить разговора и задавать вопросы, затрагивающие постороннюю тему. Он всегда что-нибудь вспоминал. То, о чем он забыл или на что не обратил внимания, внезапно всплывало в памяти. Как прирожденный репортер, он постоянно выискивал новые сведения и жил словно в лесу, где каждое дерево было вопросительным знаком. При каждом удобном случае он задавал вопросы.

Харлей хотел знать обо всем, обо всем, но понемногу. С ним нельзя было вести разговор связный и неторопливый. Майкель это знал и, беседуя с м-р Харлеем, легко перескакивал с темы на тему.

— Нет, не видел,—ответил он.—Я не видел Вильяма с того дня, как посоветовал ему стать шофером. Должно

быть, вам известно, что его мать и сестры живут теперь в Вашингтоне, в прекрасном доме. От него я имел много писем. Как-то он путешествовал, посетил Кубу и выслал мне оттуда шесть ящиков превосходных сигар.

— Прошлой зимой я встретил его с женой на побережьи,—сообщил Харлей.—Обедал с ними. Боже, как изменился Вилльям Брилль!

— К худшему или к лучшему?—осведомился Майкель.

— О, к лучшему! Впервые я его встретил несколько лет назад, когда распространились слухи о его женитьбе. Тогда он был грубоватым, добродушным, невежественным мальчиком. Теперь это закаленный человек—настоящий капитан от индустрии. Пемпли его ощупали, распознали, из какого теста он сделан, и поставили на административные посты. Он—директор чуть ли не полусотни акционерных обществ.

— Должно быть, либерал,—предположил Майкель.

— О, да!.. Называет себя либералом. Впрочем, политикой ему заниматься не приходится. Он проводит ту точку зрения—ничего оригинального в ней нет,—что труд—разрешение всех мировых проблем. Пусть люди откажутся от всяких споров и возьмутся за работу. Я не сомневаюсь, что Пемпли эту точку зрения разделяют, ибо все свои идеи он заимствует у них.

— Да, пожалуй, вы правы,—согласился Майкель.

— Он имеет вид крупного дельца, выдающегося администратора,—продолжал редактор.—Пемпли не удержат его на привязи. В самом непродолжительном времени он проявит инициативу.

«Однажды я посетил их яхту. Они остановились в отеле, а огромная яхта Пемплей, напоминающая белоснежный океанский пароход, стояла на рейде...»

— Яхта его тестя?

— Да. Но тестя на борту не было. Никого из семьи Пемплей на борту не было. Яхту прислали за Вилльямом и Мод—так зовут его жену, она меня просила называть ее по имени. Они собирались отправиться в трехмесячное плавание среди островов южных морей...

Мысленно Майкель представил себе м-ра и м-с Брилль... огромную яхту, автомобили, ливрейных лакеев, драгоценности, гостей, роскошные наряды... Вильяма Брилля и его жену, захлестнутых пенящейся волной экстравагантности, волной, омывающей жизнь праздных богачей.

— Брилль меня заинтересовал, потому что я слыхал о том, как он уладил недоразумения с рабочими в больших медных копях и на литейных заводах своего тестя в Новой Мексике,—продолжал Харлей.—Я его встретил в Калифорнии, когда он только что закончил это дело. Он заявил, что считает бессмысленным тратить время на переговоры с профессиональными союзами или итти на соглашение.

Майкель покачал головой.

— С грустью констатирую, что он неправ. Высокопарные спичи и ласковое слово все еще оказывают влияние на профессиональные союзы. Впрочем, мы—радикалы—кое-чего добились. В настоящее время имеется несколько союзов, которые не обращают внимания на болтовню, если она не влечет за собой повышения заработной платы.

— Вы хотите сказать, что они неумолимы?

— О, нет! Их всегда можно умиротворить, повысив заработную плату и сократив число рабочих часов,—пояснил Майкель.—Наш план очень прост. Нужно всех

рабочих и всех фермеров превратить в коммерсантов. Коммерция творит чудеса; многим гражданам наших Штатов она дала такие блага, что мы задались целью всех людей превратить в дельцов. Неправда ли, это блестящая мысль?

«Самым существенным является то, что коммерция занимается погоней за деньгами... из всего старается извлечь выгоду. Разумеется, никаких возражений не последует, и уж коммерсанты-то во всяком случае возражать не станут, если рабочие будут проводить ту же политику. Но я вас перебил. Что вы хотели мне рассказать о Вильяме Брилле и профессиональном союзе?

— Видите ли, Вилльям сказал, что среди рабочих новомексиканских копей началось брожение,—продолжал журналист.—Агитаторы профессиональных союзов смущали рабочих, сеяли в их умах недовольство. Когда он понял, чем это пахнет, он решил не ждать, пока ему нанесут удар, но ударить первому. Тогда-то он и перевел через границу мексиканских рабочих и...

— Как же ему удалось это сделать?—спросил Майкель.—Ведь закон это запрещает, и граница охраняется.

— Да в сущности он мне не говорил, что перевел их через границу,—ответил Харлей.—Он просто сказал, что нанял мексиканских рабочих. Очевидно, они перешли границу.

— Понимаю,—сказал Майкель.

— Как бы то ни было, но он решил нанести удар, организовал мексиканцев, а затем неожиданно рассчитал всех, кроме администраторов, надсмотрщиков и нескольких человек, которым можно было доверять. А затем ввел свою армию мексиканцев.

«В тех краях народ шутить не любит, и Вилльям ждал бунта и кровопролития. Но все меры были им приняты. Когда рабочие получили расчет, на улицах и в окрестностях копей появились сотни полицейских вооруженных винтовками. То были ковбои и бывшие техасские бандиты. Как пояснил Брилль, они получили приказ стрелять, а уж затем расследовать дело. Однако ни мятежа, ни драк, ни стрельбы. Агитаторы профессионального союза подняли было крик, но уволенные рабочие потихоньку убрались из города».

— Гм... я не подозревал, что Вилльям Брилль на это способен,—заметил Майкель.—Должно быть, он возмужал, не правда ли?

— Странный вы радикал!—отозвался Харлей.—Очень странный! Я думал, что, узнав о таком инциденте вы придете в негодование. Между нами говоря, я сам считаю это подлым поступком.

— О, нет! Я нимало не возмущаюсь. Этот инцидент слишком нелеп, чтобы стоило из-за него негодовать. Чем чаще случаются такие инциденты, тем лучше для нас,—они нам развязывают руки. Как сказал Бисмарк, нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Мне лично Вилльям Брилль нравится... он—славный жизнерадостный малый.

— Так-то оно так,—перебил Харлей,—но ведь Вилльям восстает против всех ваших излюбленных идей!

— Пустяки! Я не обращаю внимания,—продолжал Майкель.—Это мне напомнило один анекдот. Действие происходит в Отейле, в те далекие дни, когда процветала дуэль. В этом городке был ресторанчик, славившийся своими пирожными. Когда из Парижа являлась компания разгневанных на вид господ, главный

кельнер встречал их вопросом: «Желают ли джентльмены отведать пирожных или драться на пистолетах?».

«Джентльмены отвечали: «Mon ami, одно не исключает другого... Сначала мы вместе поедим пирожных, а потом будем драться».

«Так приблизительно я отношусь и к Билльяму Бриллю.

«Серьезно... Я нисколько не сомневаюсь, что в самом непродолжительном времени Пемпли и Вилльям будут молить о третейском суде, произносить истерические речи на тему о сотрудничестве, о высоком значении труда, о величественном зрелище: капитал и труд шествуют рука-об-руку по всему миру... Словом, будут болтать всякий вздор».

— Вы не думаете, что в конце концов труд и капитал заключат между собой союз?—спросил редактор.

— О, я в этом не сомневаюсь,—объявил Майкель.— В конце концов пропасть между ними исчезнет.

У журналиста вид был недоумевающий.

— Видите ли, Сэм,—помолчав, заговорил Майкель,— мнение мое таково, правильно оно или нет... Я его считаю правильным и потому называю своим.

«В результате мировой войны капиталистическая цивилизация в Европе сходит на-нет. Она еще не сошла со сцены, ибо пока нечем ее заместить, но она бьется в судорогах, словно гальванизированный труп. И в самом непродолжительном времени этот труп достигнет той стадии разложения, когда нужно будет подумать о погребении. И в наши дни в Англии устроили ему приличные похороны... хоронят спокойно, не спеша, со всякими церемониями и оркестром музыки.

«В Америке капиталистическая цивилизация умрет поз-

же, чем в Европе, ибо природные богатства Америки столь значительны, что управляющие страной концерны еще некоторое время могут располагать большими средствами.

«В обществе, насыщенном капиталистическими идеями, как насыщена сейчас Америка, жадность считается не пороком, а добродетелью».

Харлей сделал неодобрительный жест.

— Я знал, что вы со мной не согласитесь,—продолжал Майкель.—Жадность—слово некрасивое, она выбирает себе различные псевдонимы, например—настойчивость, проницательность, умение отстаивать свои интересы и т. п.

«Базой капиталистической цивилизации является идея собственности, а социалистическая доктрина кладет в основу цивилизации человечность. Капиталисты и социалисты стремятся к одному и тому же идеалу, идеал этот—счастье человечества. Ничего похвального в таком стремлении нет: даже деспот хотел бы сделать народ счастливым и довольным. Намерения благие, но средства—никуда негодные!

«Неизлечимая язва государства капиталистического—жадность. В современных социальных условиях никакое лекарство не поможет, ибо если вы устраните жадность, государство перестанет быть капиталистическим. Капитализм зиждется на эксплоатации одного человека другим, одной нации—другой.

«Социалистическое государство строится не на идее собственности, основная проблема его — человеческая личность.

«Эти два принципа—собственность и человек—диаметрально противоположны: примирить их нельзя.

«В государстве капиталистическом власть принадлежит тем, в чьих руках финансовый контроль, и вопрос о форме правления не играет никакой роли.

«Властелины современного государства безответственны, никто их не выбирает, и только случай помогает им выплыть на поверхность государственной жизни. Среди них попадаются люди проницательные и талантливые, но большинство отличается узким кругозором и корыстолюбием. Почему? Да потому, что узколобость и корыстолюбие легче всего приводят к богатству. Иные невежественны и глупы... иные просто—дураки.

«Они бы не были опасны, если бы можно было отвести для них какой-нибудь изолированный райский уголок и предоставить в их распоряжение пищу, одежду и автомобили. Право же, мир в состоянии взять их на содержание.

«Но в настоящее время власть сосредоточена в их руках, и они пытаются применить свои примитивные методы к делам государственной важности. Заняв высокие посты, они остаются узколобыми стяжателями, что является в высшей степени опасным. О новых методах они не имеют понятия, ибо своим успехом обязаны методам старым.

«В капиталистическом государстве жадность больше, чем добродетель; это—культ.

«С раннего детства людей обучают этому культу. Журналы переполнены рассказами о дельцах, добившихся успеха, и такие рассказы являются как бы наивной проповедью жадности,—проповедью, облеченной в легкую беллетристическую форму. Алчность раздувают в людях газеты, публичные лекции, рекламы, бессмысленная конкуренция, неизбежная в делах коммерческих.

Вся эта машина прекрасно работает в молодой стране, где нет недостатка в работе, и где деньги достаются легко.

«Но в истории народа наступает период, когда все естественные богатства страны распределены и документально закреплены, а господствующий класс выпустил уйму бумаг—обязательств, акций, облигаций. Все эти бумаги, конечно, никакой реальной ценности не имеют и оцениваются лишь условно, по ним выплачиваются проценты. И лицом к лицу с окопавшимися богачами вы видите миллионы людей, неимущих, но обученных жадности.

«В истории человечества наступает сейчас новая эра. Мы идем к «рабочей» цивилизации. Под рабочими я подразумеваю тех, что работают на заводах и фабриках, а также механиков, земледельцев, управляющих, служащих,—иными словами, всех тех, кто занимается физическим или умственным трудом. Через несколько поколений капитал никакого влияния на дела человеческие оказывать не будет. Наши внуки не допустят, чтобы человек высказывал свое мнение о работе машины только потому, что он является владельцем этой машины, высказываться будет тот, кто машину приводит в движение».

— Но ведь многие капиталисты по-настоящему работают,—перебил Харлей.—Принимаете ли вы это во внимание?

— Конечно... И поскольку они работают, на них будут смотреть, как на рабочих.

Харлей снова не утерпел и воскликнул:

— Но ведь у ваших рабочих нет ни ума, ни навыка,

необходимых для управления сложным государственным механизмом!

— Неужели? Тем хуже, если вы правы... потому что так или иначе, но управлять они будут. И многие разумные люди считают, что с этим они прекрасно справятся. Признаться, я сам так думаю.

У Харлея физиономия вытянулась, а Майкель запнулся и прошептал:

— В чем дело?

— Я с вами безусловно не согласен,—заявил журналист.—Все это—пустая теория. Что бы вы ни говорили, но цивилизация, государственная власть, международные отношения—проблемы в высшей степени сложные. Управлять цивилизованным миром—дело серьезное, и, как и всякое дело, оно требует выучки, сноровки и знаний.

— Каких знаний?—осведомился Майкель.

Харлей секунду помолчал: он почуял ловушку.

— Э... гм... необходимо знать нужды человечества, нужды общества... нужна предусмотрительность, проницательность,—ответил он наконец.

— Да, с этим я согласен,—объявил Майкель.—К несчастью, мужчины и женщины, которые знают о нуждах человечества, никогда не имели возможности управлять миром. Управляли им люди, не знающие ничего, кроме жадности... люди, которые носят цилиндры, сколачивают себе капитал и говорят высокопарными фразами, словно взятыми из годового отчета Стального Треста Соединенных Штатов.

— Ваши рабочие сделали бы кое-что похуже,—сказал Харлей.

— Давайте пофантазируем,—продолжал Майкель.—

Представим себе, что в течение истекшего пятидесятилетия миром правили кондитеры...

— Кондитеры!—воскликнул Харлей.

— Да... кондитеры... Допустим, что всякий человек, став кондитером, мог войти в господствующий класс... как это бывает в настоящее время с банкирами и финансистами.

«Итак, миром управляют кондитеры. Все президенты, премьеры, послы, члены конгрессов и парламентов— кондитеры.

«Как вы думаете, Сэм, могли бы кондитеры в белых колпаках и куртках, распоряжающиеся судьбами человеческими и разъезжающие в собственных автомобилях, привести мир к такой катастрофе, как великая война?».

Харлей ничего не ответил.

— Ну, что вы скажете?—спросил Майкель.

— Этот вопрос вы задаете серьезно?—осведомился Харлей.

— Совершенно серьезно.

— В таком случае я вам серьезно и отвечу. Мне кажется, кондитеры дьявольски запутали бы все наши дела.

Майкель улыбнулся.

— Быть может. Но это не ответ на мой вопрос. Думаете ли вы, что неразбериха, созданная кондитерами, не уступала бы мировой войне?

Харлей был раздосадован. Майкель не сомневался, что журналист наделен чувством юмора, вернее—умеет замечать смешную сторону... в противном случае он бы не мог редактировать свой воскресный журнал. Но, казалось, он всегда старался сохранить серьезный вид и воздерживаться от улыбки.

— О, право, не знаю,—ответил Харлей.—Этот вопрос я считаю неуместным.

— А я считаю его уместным,—возразил Майкель,— и ответ у меня готов. Мое знание человеческой природы подсказывает мне, что ни кондитеры, ни парикмахеры, ни сапожники не могли бы вызвать такую страшную катастрофу, как мировая война... Великое бедствие не охватило бы земной шар, миллионы людей не пали бы на полях сражений, если бы судьбами мира не управляли злые гении высшего порядка... Не говорите мне об уме и даровании!..

(О, да! На вас, Ум и Дарование, лежит подозрение... тяжкое подозрение... его не сдунешь, как перышко!)

Неожиданно Майкель Уэбб почувствовал, что Харлей замыкается в себе. Это было чуть ли не физическое ощущение, но Майкель не рассердился. Он привык к тому, что большинство людей съеживается и отворачивается, не желая заглянуть в лицо волнующей идеи.

Не возражая на замечания Майкеля, журналист взял номер «Воскресного Обозрения», лежавший подле него на скамье, и стал небрежно его просматривать. Он не любил углубляться, в социальные проблемы, хотя утверждал, а, быть может, и думал обратное.

Харлей был не глуп, о, далеко не глуп! Не чужды ему были и кой-какие социальные эмоции. Он ненавидел гнет и несправедливость; верил в необходимость реформ. Его политические убеждения, если не считать смутной веры в необходимость упорядочения хозяйственной жизни страны, сводилось к сентиментальному пожеланию незначительных реформ.

Изредка он заговаривал о «хищнических инстинктах», считая, что с этими неприятными инстинктами следует бороться, разоблачая их в печати.

Майкель Уэбб не придавал особого значения «хищническим инстинктам». Он ясно понимал, что все капиталистические государства зиждятся на идее хищничества. Деревенский извозчик, который везет вас на станцию, и портной, шьющий вам костюм, могут быть такими же хищниками, как любой из разбойников мировой биржи. В капиталистическом обществе крупные финансовые интересы являются интересами хищническими, и иначе и быть не может... Каждый должен быть хищником... Все мы бьемся в одной сети.

По мнению Майкеля, нужно было изменить самую структуру общества так, чтобы жадность не являлась отныне доминирующим импульсом. Он знал, что Харней не способен понять или оценить цепь умозаключений, с непреложностью подводящих к революции.

Почему?

Не потому, что у него нехватало ума. Причина была заложена глубже. Харлей сделал блестящую карьеру. Он зарабатывал лучше других журналистов Америки и, естественно, склонен был одобрять социальный строй, способствовавший его успеху.

Но в конце концов он бы сумел понять мнения радикально противоположные его собственным взглядам, будь он человеком более крупного масштаба.

Он был человек маленький и не видел дальше своего носа. Черта эта, к сожалению, свойственна многим людям...

Великие истины открываются лишь тем, кто умеет забыть о своей блестящей карьере.

2

Сэмуэль Харлей развернул «Воскресное Обозрение» и аккуратно расстелил его на полу беседки. «Обозрение» лежало у его ног и пестрело иллюстрациями, на которых изображены были очаровательные леди, окровавленные кинжалы, тонущие суда... Казалось, какая-то загадочная страна приключений чудесным образом превратилась в бумагу и типографскую краску.

— Воскресное приложение к «Обозрению», — сказал редактор.

— Зачем вы его расстелили на полу, Сэм?—осведомился Майкель.

— Чтобы легче было судить о монтаже. Как видите, на каждой странице помещена большая иллюстрация. Сделано это для того, чтобы страница производила впечатление чего-то цельного.

— О... очень интересно!—сказал Майкель.—Все, кто сотрудничает в вашем журнале, работают весьма энергично. Вам никогда не приходится иметь дело с абстрактными идеями?

— Никогда,—ответил редактор.—Идею я связываю с личностью или событием. Я не знаю, что такое абстрактная идея, и думаю, никто не знает. Нет никаких абстракций, есть только люди... и вещи.

— Мне кажется, Сэм, что в глубине души вы—неисправимый романтик... А вот это выглядит занятно.

Он указал на рисунок в верхнем левом углу страницы: нарядная молодая женщина обедает в фешенебельном отеле; многочисленные лакеи и метрдотели в почтительных позах стоят около ее столика. Майкель, заметил, что три лакея предлагают ей сразу три блюда.

В нижнем правом углу той же страницы был помещен другой рисунок: ту же молодую женщину, но уже в скромном туалете и без жемчугов, выпроваживают из ресторана. В дверях стоят величественные ливрейные лакеи и пальцами показывают на молодую женщину. Яркий заголовок, пересекающий страницу, гласил:

ОНА РАСТРАТИЛА ВСЕ СВОИ ДЕНЬГИ И ДОЛЖНА БЫЛА ПОКИНУТЬ РИЦ.

— О, да! Это очень удачно,—сказал Харлей.—И заметка прекрасная. Речь идет об одной богатой наследнице, которая спустила все свое состояние и теперь служит кельнершей у Чайльдса. Мои читатели любят такие сенсации... А читателей у меня два миллиона,— с гордостью добавил он.—Самый большой тираж от сотворения мира!

Майкель подумал, что человек, которому удается еженедельно приковывать внимание двух миллионов читателей к страницам журнала, несомненно наделен исключительной творческой способностью.

— Как вы этого добились?—спросил он.—Нет ли у вас какого-нибудь особого метода?.. какого-нибудь принципа?..

— Конечно!—с энтузиазмом объявил Харлей.—И метод и принцип у меня есть, но пришел я к ним лишь после долгого и тщательного изучения.

— Что же вы изучали?—поинтересовался Майкель.

— Ум заурядного мужчины... и заурядной женщины. Я пришел к тому заключению, что в настоящее время средний человек возвысился до понимания тех идей, какие выдвинул... семнадцатый век, и потому я выпускаю «Воскресное Обозрение» специально для сем-

надцатого века. Наш тираж является лучшим доказательством того, что я прав. Я пользуюсь, как мерилом, тремя классическими произведениями, появившимися в семнадцатом веке...

Он поднял с полу «Воскресное Обозрение».

— Любая статья в этом номере—и во всех номерах журнала с тех пор, как я начал его редактировать,— является просто-напросто пересказом одного из этих трех произведений, переложением, сделанным в той или иной форме.

— Какие же это произведения?

— «Путь пилигрима» *, «Робинзон Крузо» и «Путешествие Гуливера»,—ответил редактор.—И я строго слежу за тем, чтобы в помещаемых здесь статьях не было ничего глубокомысленного... Вот почему я не напишу о детстве Фанни Торнтон, а посвящу свою статью ее нарядам и драгоценностям. В детстве ее есть что-то... «глубокое». Не знаю, что именно, но я это почувствовал, когда интервьюировал ее родителей.

«Я запомнил слова Артура Брисбэна, которого считаю величайшим журналистом желтой прессы. Он сказал: «Никогда не забывай быть поверхностным»... Это изречение я вставил в рамку и повесил в своем кабинете, чтобы все сотрудники «Воскресного Обозрения» могли его видеть»...

— Мне кажется, от этого принципа вы не отступаете,—сказал Майкель, перевертывая страницы.

— Не сомневаюсь,—заявил журналист.—Вот что я имел в виду, говоря о пересказе трех классических произведений.

* Автор—John Bunian (1628—88 г.)—английский странствующий проповедник. *Прим. перев.*

Он указал на иллюстрацию, занимающую середину страницы: атлет со вздувшимися мышцами поднимает над головой корзину, в которой стоит лошадь.

— Это Диксон, самый сильный человек в мире. Семнадцатый век одобрил бы эту статью так же, как одобряют ее мои читатели. Она заимствована из «Путешествия Гуливера». А вот взгляните...

Он указал на иллюстрацию, на которой изображена была разъяренная женщина с кинжалом в руке. Заголовок, набранный гигантскими буквами, гласил:

ПОЧЕМУ Я ЗАРЕЗАЛА ФИЛЯ МИЗЕРА?

— ... Это м-с Бэклен, осужденная за убийство любовника и ожидающая пересмотра дела. Прочтите статью, и вы увидите, что это история из «Пути пилигрима». Жалкая измученная женщина поддается искушению... убийство... тюрьма... раскаяние... Видите ли, моя специальность—люди... интересные люди.

3

— Вот один из самых интересных людей, когда-либо живших в этой гостинице,—сказал Майкель, указывая на лужайку.

— Торбэй?—спросил журналист, следя глазами за стройной фигурой романиста.

Торбэй вышел из дома и медленно брел по лужайке, направляясь к риге.

— Вам бы следовало о нем написать,—посоветовал Майкель.

Харлей покачал головой.

— Нет, ничего из этого не выйдет. Как-то в Нью-

Йорке у меня был длинный разговор с Эрнестом Торбэем. Я думал написать о нем характерную статейку... о странном сумасбродном гении... понимаете, что-нибудь в таком духе... Но на следующий день я получил письмо от этой особы... Кольридж. Она меня уведомляла, что м-р Торбэй не желает, чтобы его имя упоминалось в моем журнале... Отлично, как вам угодно... Я решил о нем не упоминать, раз он этого не хочет. Как глупо! А ведь мой журнал, насчитывающий два миллиона читателей, создал бы ему имя. Вы знаете, на его книги нет спроса. Ему бы следовало воспользоваться случаем завоевать популярность...

— Его книги недоступны пониманию большинства читателей,—заметил Майкель.

— Потом я узнал,—продолжал Харлей,—что он не ищет популярности, не желает, чтобы о нем писали в газетах. Сначала я было подумал, что «Обозрение» пришлось ему не по вкусу, но оказалось не то.

Майкель улыбнулся.

— Странный парень Торбэй... гений.

— Но вы можете понять такого человека?—настаивал Харлей.—В чем тут дело? Зачем он в сущности пишет свои книги?

— Да, я его понимаю,—сказал Майкель.—Во всяком случае—до известной степени. Он не занимается умствованием, как мы с вами, Сэм, а действует импульсивно. Пишет книги, потому что не может не писать.

— О, понимаю!.. Гений и все прочее,—перебил Харлей.—Но даже гений хочет, чтобы его книги продавались... во всяком случае, так я предполагал... Но у Торбэя, видимо, нет этого желания. Чем вы это объясняете?

— Чтобы понять его,— продолжал Майкель,— нужно влезть в его шкуру. Для вас, как и для большинства людей, он остается тайной, ибо к нему вы подходите со своей меркой. А Торбэю нет дела до вашей или до моей мерки. У него имеется полный комплект его собственных мерок. Если бы вы могли взглянуть на мир его глазами, все показалось бы вам чуждым и непонятным. Люди и события представляются ему совсем в ином освещении. Например, мы видим человека, строящего дом... а Торбэй, взглянув на него, может увидеть... и, должно быть, видит нечто совсем иное... Какой-нибудь символ... Вероятно, человек, строящий дом, онемел бы от изумления, если бы узнал, что думал о нем Торбэй. По мнению Торбэя, большинство людей понятия не имеет о своих собственных мотивах.

Журналист призадумался.

— Уж коли на то пошло,— сказал он,— так ведь он, пожалуй, прав... Но почему Торбэй равнодушен к успеху?

— О, дорогой мой, успех он рассматривает как великое зло. Неудачу считает достижением... достижением духовного порядка, а только такое достижение имеет цену.

У Харлея вид был недоумевающий.

— Разных людей приходилось мне встречать, но с таким парнем я сталкиваюсь впервые.

— Что вы, Сэм!— прервал Майкель.— Таких людей очень много. История сохранила их имена. Люди, которые хотят быть мучениками... хотят страдать. Такой подход к жизни вытекает из великого эгоизма, высокомерия... презрения к миру... Это философия, ведущая под гору, заставляющая человека надеяться на не-

удачу. Она целиком посвящена идее Несчастья. Помните, дети в Карфагене посвящены были Молоху?

— Своеобразный пессимизм,—заметил Харлей.

— Да... пессимизм. В настоящее время существует целая школа молодых писателей, одержимых духом пессимизма. Многие из них отреклись от мира и цивилизации, отшвырнули их, как гнилое яйцо, и ищут забвения в культе красоты. Жизнь бессмысленна и пуста, говорят они.

— Но вы-то с ними не согласны?

— Не согласен,—заявил Майкель.—Жизнь—самый процесс жизни—есть отрицание пессимизма. Пессимистическое мировоззрение—поза, признак слабости. Никто не обязан жить... самоубийство доступно всем. Если мир не пригоден для жизни, почему в таком случае не умереть?

— Да,—с улыбкой сказал Харлей,—но ведь и вы недовольны миром...

— Ах, дорогой мой, мы хотим изменить его к лучшему... или мы умрем, сражаясь.

«Быть может, жизнь—иллюзия, но в таком случае и мы являемся иллюзией, а это—единственное, что мы знаем.

«В настоящее время я наблюдаю одно из любопытнейших явлений: цивилизация перестраивается на наших глазах, а люди интеллигентные и умные понятия не имеют, что происходит нечто из ряда вон выходящее».

Харлей промолчал. Он боялся, как бы не пришлось ему снова столкнуться с радикальными убеждениями.

— Что касается Торбэя, то это человек исключительно острого ума,—продолжал Майкель,—но есть в нем какая-то дряблость... и вместе с тем—наглость.

— А м-с Приддоелль...—перебил Харлей.—Какого вы о ней мнения? Правда ли, что она... гм... гм...

— О, да!.. Конечно... Ведь вы же знаете...

— Но мисс Кольридж... тоже...—продолжал Харлей.

Майкель нетерпеливо отмахнулся.

— Ну да, у него две любовницы... Многие мужчины имеют двух. Я подозреваю, что у Торбэя наберется целая дюжина.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Однажды Эрнест Торбэй попал в тюрьму. Он совершил преступление, за которое обычно приговаривают человека к нескольким годам тюремного заключения, но приговор, вынесенный Торбэю, был не из тяжелых. Судья принял во внимание его интеллигентность, утонченность, а также и молодость.

Судья заявил, что не имеет желания губить подающего надежды молодого человека и не склонен считать закоренелым преступником того, кто вел себя безупречно, если не считать этого одного ложного шага. Вот почему он приговорил Торбэя к одиннадцати месяцам тюремного заключения, хотя мог засадить его на четыре года.

Торбэй полюбил тюрьму. Полюбил толстые, холодные, серые стены, сомкнувшиеся вокруг него. Ему нравились эти грубые объятия; было что-то волнующее и чувственное в объятии прочных толстых стен.

Часто лежал он в своей камере и думал о тюрьме, о кирпичах, нагроможденных, словно пласты твердого мяса, о прочности и законченности стен и дверей, и о тех людях, которые, подобно ему самому, спали, дышали, мыслили в тюрьме, как во чреве.

Всю жизнь тосковал он по тюрьме, искал тюрьмы. Его тяга к тюрьмам была глубокой и животной, как голод.

До того дня, как заключили его в камеру, он часто попадал в тюрьмы—тюрьмы как бы духовные,—в тюрьмы женщин, в тюрьмы нищеты... Но тюрьму из камня и железа он познал впервые.

Она ему понравилась.

Он полюбил тяжесть и мощь камня и железа. Ему нравилось прикасаться руками к стене и медленно повторять: «Это моя камера... моя... моя...»

Приятно было сознавать, что никто ему не завидует, никто не хочет быть на его месте.

Да!.. Это сознание давало радость. Но были у него и другие основания любить тюрьму.

Тюрьма вызывает презрение... она презренна... и презренны люди, в ней заключенные... Он знал, что принято думать о тюрьмах и заключенных.

Никто ничего не ждет от человека, попавшего в тюрьму.

Ничего не ждут от презренных людей, сидящих в презренных камерах. Считают, что люди в тюрьме не имеют ни чести, ни денег, ни мужества, ни достоинства. На них человечество надежд не возлагает; они находятся вне сферы человеческого влияния.

Они—люди, высеченные из камня... Живут вне времени.. не ведают перемен... прислушиваются к биению пульса вселенной.

Торбэй больше не ощущал тяжести жизни. Гул голосов живых людей не проникал в его камеру. Здесь говорили только мертвецы, а мертвецы говорят мало.

В молчании тюрьмы он услышал голос вселенной;

голос проник сквозь камень и железо. То была песня камня, железа и всей вселенной.

В душе его загорелись яркие брызги света—словно факелы, поднятые в ветряной черной ночи.

Исчез потолок камеры... растворился... Торбэй мог созерцать небо из слоновой кости и сапфира. И он увидел шествие идей и мыслей. То были мысли людей умерших—их музыка и их любовь... Идеи, принявшие облик человеческий... Гигантские фигуры... процессия гигантов в одеждах, развеваемых ветром, в облачных плащах... шествуют по небу под бой барабанов... Они не смотрели на него, лежащего в камере. Они смотрели прямо перед собой. Лица их были из бронзы.

В этой камере он написал свою первую книгу—«Путь к звездам». Публика называла ее романом, но в сущности то было великое белое пламя—пламенеющая песня.

В обществе Торбэй вызвал волнение. Многие говорили, что это позор... позор держать в тюрьме такого человека, как Эрнест Торбэй. Все согласились с тем, что он слишком ослепителен для того, чтобы находиться в заключении. Сам Торбэй думал, что именно поэтому-то и нужно держать его в заключении, но своих размышлений он вслух не высказывал, вернее, одно из его «я» думало так, но другие «я» протестовали. В нем было несколько «я». Жизнь его протекала в нескольких планах. Все, что он говорил или думал, зависело от того, какое «я» в данный момент одерживало верх.

Суровой критике подвергался судья, приговоривший его к тюремному заключению; та же участь постигла торговца, который пострадал от мошенничества Торбэя.

Торговец выступил публично и заявил, что хотя он и сожалеет о случившемся, но совесть его чиста. По его

словам, он понятия не имел об исключительных способностях молодого человека, подделавшего чек. Знай он это—и дело приняло бы иной оборот. Он выразил надежду, что общество поймет его точку зрения.

2

Торбэя выпустили из тюрьмы, хотя срок его заключения должен был истечь лишь через несколько месяцев.

Вид у него был жалкий, когда он вошел в кабинет смотрителя и предстал перед членами Торбэевского комитета. Лицо было землистого цвета, губы дрожали; нервно проводил он длинными белыми пальцами по отворотам и полам пиджака. Он хотел знать, почему его выпускают из тюрьмы.

— Вы освобождены по распоряжению губернатора,— сказал смотритель.—За вас хлопотал Торбэевский комитет.

Затем он пожал Торбэю руку и заявил, что Торбэй слишком талантлив, чтобы сидеть в тюрьме. Один из членов Комитета сообщил, что перед тем, как подписать акт о помиловании, губернатор прочел его удивительную книгу.

— Но не попади я в тюрьму, и книга не была бы написана,—заикаясь, выговорил Торбэй.—Нельзя ли мне вернуться в мою камеру?

Члены Комитета были возмущены. Они заявили, что умывают руки, так как ошиблись в своем протежэ.

После этого Торбэй не раз жил в духовных тюрьмах. Эти тюрьмы ему приходилось сооружать самому, причем он всегда заботился о том, чтобы они были надежны и прочны. Толстые стены, двери, запирающиеся на зам-

ки... Но крыши не было. Он не знал, как покрыть крышей духовную тюрьму, которую для себя строил.

Торбэй любил свои духовные тюрьмы и привык к их тесноте. Над его головой ярко светило солнце, а ночью он лежал на кровати и следил за мерцающими звездами.

Все было хорошо... Но настал день, когда он услышал за своей спиной шелест крыльев и из тюрьмы, лишенной крыши, воспарил к холодному небу. А потом он устал и, кружась, спустился к земле, отыскивая свою тюрьму. Но тюрьма исчезла.

Так он познал, что человек, покинувший тюрьму, покидает ее навеки.

Иногда он попадал в тюрьмы, возведенные женщинами, но они были так непрочны, что Торбэй, соскучившись в них, не трудился искать выхода, а проходил прямо сквозь стены.

Не так обстояло дело с мисс Джин Кольридж.

Ее тюрьма была иной.

Два года сидел он в ее тюрьме и никогда еще не испытывал такого удовлетворения, если не считать тех нескольких месяцев, что он провел в тюрьме из камня и железа.

Тюрьму мисс Джин Кольридж можно сравнивать с комнатой без окон и дверей... с большим ящиком без пазов. Мисс Кольридж оплела его своей волей, заключила в свою душу, как в комнату. Иногда он бродил по тюрьме и ощупывал стены, отыскивая потайную дверь. Но двери не было. Казалось, не было выхода из этой тюрьмы, и он недоумевал, что ему делать, если когда-нибудь захочет он убежать.

Он мог уйти за тысячу миль и все же пребывал в

тюрьме Джин Кольридж. Когда он уходил от мисс Кольридж, он чувствовал, как стены его камеры удлиняются и раздвигаются, но всегда они смыкались вокруг него.

Он жил в ее душе, и это было ему известно. Знала и она. И тем не менее она была его рабыней, любовницей и служанкой.

Она создала ему тюрьму, и она же была его рабыней. Кажется, одно другому противоречит, но каким-то непонятным образом совмещается. Это противоречие не смущало Торбэя, ибо он знал, что каждая идея влечет за собой идею противоположную.

В понятие добра включено понятие зла; без зла не было бы и добра, ибо добро есть оборотная сторона зла. Любовь заключает в себе ненависть, жара—холод. В конце концов господин становится слугой своего раба, и рабы заживо съедают своих господ.

За другими женщинами Торбэй ухаживал, не выходя из тюрьмы Джин Кольридж. В их тюрьмы он не входил; они проникали в тюрьму Джин Кольридж и там с ним оставались.

Мимо Эрнеста Торбэя женщины не могли пройти равнодушно. Иные его ненавидели; иные им восхищались; многие его любили.

Как многие женственные мужчины, он притягивал женщин. Во все эпохи такие мужчины были Великими Любовниками.

Мужественный мужчина—плохой любовник; он всегда проигрывает, ибо смотрит на женщин, как на детей, либо как на женственных мужчин. От этой нелепой мысли он отделаться не может. Он не умеет говорить на языке женщин.

Торбэй не только говорил на языке женщин... Он умел думать по-женски. Он знал сердце женщины. Знание это было интуитивное; Торбэю не нужно было изучать психологию, чтобы читать мысли женщин.

Очень возможно, что Торбэй, склонявший женщин к запретной любви, заставил бы Казанову,—если бы негодяй-венецианец был жив и знал об его подвигах,—заставил бы отказаться от пальмы первенства.

Он ухаживал за каждой привлекательной женщиной, какую встречал,—во всяком случае пытался ухаживать,—а также за многими женщинами далеко не привлекательными. Метод его заключался в том, что он целовал женщину в губы, как только представлялся ему удобный случай, целовал неожиданно, без всяких предисловий.

Основой его стратегии являлось le manque de politesse. Он находил, что результаты оправдывают метод, ибо благодаря этому сразу вычеркивались все безнадежно упрямые и недоступные объекты... Иными словами, он считал подающими надежду всех тех, кто раздумывал, раньше, чем ударить по физиономии.

Тень разврата окутывает беспорядочную любовь так же, как окутывает она пьянство. Мужчины соблазняют женщин, и женщины соблазняют мужчин, чтобы удовлетворить какое-то тревожное и мучительное желание, часто ничего общего не имеющее с половым влечением. Иногда оно переносится в сферу половой жизни, а по существу является следствием оскорбления, задевающего самолюбие,—психической травмы, неведомой тем, которые от нее страдают.

Но искусству соблазнять не всегда сопутствует искусство любить. Торбэй во всяком случае не был наделен

этой последней способностью. Любой юнец, наивный и простодушный, мог бы поднять его на смех.

И в результате: настороженно-ожидающие женщины, надушенные и страстные письма, разбитые сердца, несостоявшиеся и забытые свидания, упреки, разъяренные мужья, которые бесновались, не имея на то оснований.

Бывали и другие осложения, непредвиденные, но понятные; неожиданные, не соблюдая очереди и порядка, давали о себе знать различные «я» Торбэя. Леди, которая назначала ему свидание и, улыбаясь, ждала его, всегда рисковала встретить нового Торбэя, совершенно ей незнакомого... чужого человека, с наружностью Торбэя. В результате, конечно, разочарование... и охлаждение.

Он ткал легкую паутину телефонных звонков. Разговаривая по телефону с женщинами, которых не знал в лицо; вдохновляясь неведомым голосом любви, назначал свидания... На эти свидания он никогда не являлся.

Встречи с женщинами питали его гордость. Он всегда спешил домой рассказать о них Джин. Она знала обо всех его похождениях; ей он читал все свои любовные письма.

Ревность ее была так глубока, что перестала походить на ревность. То была ревность, вывернутая наизнанку; ведь при известном психическом состоянии желание убить является как бы высшим проявлением доброты. Как известно, доброта иногда убивает людей.

Нетрудно представить себе их обоих. Они сидят рядом, руки их переплетены, и он рассказывает о последнем своем подвиге. Она облизывает пересохшие губы... Лицо ее горит... Глаза блестят... Дышит она с трудом...

Она хочет знать все подробности. Он ей рассказывает

без утайки обо всем, что было сказано и сделано. Из встречи с женщиной он делает новеллу, слегка непристойную, ибо ему свойственна непристойность—эта спутница настроений великого художника.

Он вел распущенную жизнь, граничащую с безалаберностью. Обломки эмоций загромождали поток жизни, и нужно было от них избавиться.

Чисткой всегда занималась мисс Кольридж. Обычно она приступала к этому делу, когда он запутывался в четырех или пяти любовных интригах, пытаясь вести их одновременно.

Тогда мисс Кольридж являлась к одной из его возлюбленных.

— Я—мисс Кольридж,—непринужденно объявляла она.—Секретарь м-ра Торбэя.

— О-о... гм... пожалуйста, присядьте.

— Благодарю вас... Кажется, м-р Торбэй...—она заглядывает в записную книжку,—назначил вам свидание?.. Завтра, в пять часов?

Взволнованная леди, не зная, что сказать, невнятно бормочет:

— О, да... да... Кажется... вы правы.

— Видите ли, м-с X., мне дано несколько неприятное поручение...—Снова заглядывает в записную книжку.—Но... гм... дело в том, что он запутал свои дела, и на завтра у него назначено еще два свидания... Одно—в одиннадцать, с замужней леди, другое—в три, с молоденькой девушкой. Буду говорить откровенно... М-с X., факт тот, что м-р Торбэй не может в один день справиться с двумя делами такого рода...

(Леди сидит, выпрямившись, лицо ее побледнело от испуга и гнева.)

— То-есть, я хочу сказать,—не может провести их удовлетворительно. Вот мы и размышляли... м-р Торбэй и я... видите ли, он держит меня в курсе всех дел... размышляли, не согласитесь ли вы перенести свидание на следующий день в том же часу, так как в списке вы стоите третьей.

Все это мисс Кольридж говорит с самой любезной улыбкой.

Выполнив поручение, она опускает голову и, скромно скрестив руки, ждет ответа.

Выслушав ответ, мисс Кольридж уходит. В дверях приостанавливается и говорит:

— До свидания, м-с Х. Очень приятно было с вами познакомиться. Я так часто о вас слышала.

Затем она наносит еще несколько визитов тем леди, чьи имена значатся в ее списке.

Когда она возвращается, Торбэй, который лежит свернувшись клубочком в постели, словно больной ребенок, тянется к ней и берет за руку.

— Джин,—говорит он, растягивая по обыкновению слова,—ты с ними покончила?

— Да, и теперь ты будешь отдыхать месяц, пока не соберешь новой коллекции.

В ответ на это Торбэй целует ей руку.

— Любимая, как бы я жил без тебя?

— Нет, ты меня совсем не любишь... Ты любишь только себя. И я тебя не люблю... Нас связывают какие-то проклятые узы. Я не знаю, что это такое, но связаны мы навеки. И признаюсь, Эрнест, мне надоело выпутывать тебя из твоих любовных историй... Советую тебе теперь довольствоваться мамашей Приддделль.

4

Торбэй имел привычку у всех брать взаймы небольшие суммы. Система у него была своеобразная: знакомые являлись как бы его налогоплательщиками.

В кармане он всегда носил записную книжку, куда неизменно записывал фамилию заимодавца, полученную сумму и срок выплаты долга.

Почти все, кто в первый раз давал ему взаймы, были настроены оптимистично.

Иногда он навязывал заимодавцу письменное обязательство уплатить сумму в назначенный срок. Обычно к этой процедуре он прибегал в тех случаях, когда небольшие ссуды достигали в итоге кругленькой суммы— скажем, в семьдесят пять или восемьдесят долларов. Политика Торбэя была такова: в виде гарантии он снова брал взаймы, дабы окончательно округлить сумму, и выдавал расписку на сто долларов.

— Так мы упростим дело,—пояснял он кредитору,— и оформим наши финансовые отношения.

Он был прав. Дело действительно упрощалось. Он не расплачивался с кредиторами, когда истекал срок уплаты по долговым обязательствам.

Многие из недалеких заимодавцев, не понимая, какое счастье выпало им на долю, впадали в бешенство и, бормоча себе что-то под нос, уничтожали документы. Как нелепо!

Люди более рассудительные и дальновидные улыбались, как четайрские коты, и прятали бумаги в сейф, где хранились облигации займа Свободы. Они были уверены, что обязательство Эрнеста Торбэя, написанное им собственноручно, можно будет продать в 2000 году

какому-нибудь коллекционеру автографов по крайней мере за три тысячи долларов.

Торбэй никогда не брал взаймы у Майкеля Уэбба; никогда не пытался у него взять. Майкель догадывался, что он руководствуется какими-то соображениями, и наконец решил разузнать, в чем тут в сущности дело.

— Послушайте, Эрнест,—начал он,—вы берете взаймы у всех, кого знаете, за исключением меня...

— Да... ну, так что ж?—весело откликнулся Торбэй.

— ...и вряд ли вы расплачиваетесь со всеми долгами.

Майкель говорил отнюдь не враждебно и без всякого презрения. То была грубая прямолинейность, характерная для их отношений.

Лицо Торбэя осветилось улыбкой.

— С долгами я никогда не расплачиваюсь.

Легким движением руки он заставил Майкеля подойти ближе.

— Слушайте, — сказал он вполголоса, — слушайте... Я никогда не изменяю своей системе. Ни разу в жизни не возвращал я денег, взятых взаймы... ни разу... Сто процентов чистой прибыли...

Тонкими пальцами он барабанил по столу; физиономия у него была торжествующая и в то же время по-детски озабоченная.

— Конечно, я бы не хотел предавать это огласке. Вы меня понимаете, старина... понимаете, что не в моих интересах это разглашать... Джин знает...

— Гм...—последовал лаконичный ответ Майкеля.

Он не был удивлен; Торбэя он знал почти два года.

— Однажды я едва не вернул пяти долларов, взятых взаймы,—продолжал Торбэй.—Я зашел в табачную лавку с одним человеком, которому был должен пя-

терку. Когда я получил сдачу, он подцепил у меня пятидолларовый билет и попытался его спрятать, но я выхватил у него из рук деньги, тем дело и кончилось.

— Да, вы ловко увернулись,—отозвался Майкель.— Почему вы не берете денег у меня, Эрнест? Я бы вам дал взаймы...

Он сказал «дал взаймы», а хотел сказать: «я бы вам подарил».

— Я это знаю, Майкель, вы очень любезны... Но деньгам вы придаете слишком мало значения, чтобы я стал брать у вас взаймы. Не знаю почему, но это так. У вас мне просто не приходило в голову просить. Ведь через полчаса вы забудете о том, что ссудили меня деньгами.

— Нет, не забуду... Я буду помнить.

— Но тем не менее у вас я никогда не возьму взаймы. Все же я вам очень благодарен, старина.. Вы, кажется, думаете, что я могу брать у всех и каждого. Нет, кредиторов у меня мало. Вот, например, у Рэнни Киппа я бы не взял ни единого цента, хотя бы мне грозила голодная смерть.

— Но почему?—спросил Майкель.

— Есть основания,—уклончиво сказал Торбэй.

— Какие основания?

— Гм... основания... веские основания.

Он неожиданно умолк.

Майкель привык к этим тусклым паузам. В разговор они врывались внезапно. Жизнерадостность изменяла Торбэю, он словно выдыхался или уходил в себя, как бы отдаваясь каким-то глубоким размышлениям. Казалось, штора спускалась в окне, и сумерки окутывали комнату. Тусклый свет, колебание, нащупывание...

— Основания? — спросил Майкель, выдержав паузу.— Что вы имеете в виду, Эрнест?

Штора в окне снова поднялась. Торбэй оживился, положил руку на плечо Майкеля.

— Слушайте...— Торбэй опять превратился в блестящего собеседника.— Вот как было дело с Рэнни Киппом... Ему я был должен около сорока долларов... брал у него понемногу... не платил...

— Он настаивал на уплате?— осведомился Майкель.

— Нет. Не настаивал. В том-то и дело, что он не настаивал. Я старался попадаться ему на глаза, чтобы он заговорил со мной о долге. Однажды, разговаривая с ним, я вынул из кармана пачку кредитных билетов, но...

— А вы бы с ним расплатились, если б он этого потребовал?

— Нет, не расплатился бы,— ответил Торбэй.— Я бы ему сказал, что не имею возможности уплатить. И это правда. Я беден... В сущности у меня нет ни одного цента, который я могу считать своим.

Он рассердился, и кровь прилила к его щекам; это было так неожиданно, что Майкель подумал о пловце, внезапно вынырнувшем со дна на поверхность воды.

— Позор!— продолжал Торбэй.— Ни одного цента! Мои книги дают мне слишком мало, чтобы я мог жить на эти деньги... О, вы не знаете!.. Это — ад!.. Вот что это такое. Если б не моя изворотливость, я бы не выжил... И Джин...— пусть это останется между нами, старина,— Джин — маленькая пиявка, высасывающая деньги...

Майкель отмахнулся от этих слов.

— Вздор!— пренебрежительно бросил он.— Мы слишком хорошо друг друга знаем, Эрнест, чтобы я стал слушать такую чепуху. Вы этому сами не верите.

Но в тот момент Торбэй верил, и Майкель по выражению его лица понял, что он верит.

Молчание.

— Продолжайте, — заговорил Майкель. — Расскажите мне о Рэнни Киппе. Итак, вы были ему должны сорок долларов, и он не упоминал об этом долге, а затем...

— Однажды я сидел у него в лаборатории и смотрел, как он производит какие-то химические опыты,—начал Торбэй.—Мы беседовали, и вдруг мне пришло в голову снова взять у него взаймы. В деньгах я не нуждался, но в тот день я был мрачно настроен, и мне казалось, что я почувствую себя лучше, если еще сколько-нибудь из него вытяну. Вот я и попросил его дать мне взаймы.

«Я ждал, что он спросит, сколько мне нужно... думал— он начнет покашливать и мямлить... Ничуть не бывало! Он вынул из кармана ключ и попросил меня пройти в соседнюю комнату и отпереть ящик его письменного стола.

— Там вы найдете деньги, Эрнест,—сказал он.— Я Сейчас занят... Отоприте ящик и возьмите, сколько вам нужно.

«Да, так прямо и сказал.

«В ящике стола было много денег. Мне показалось— около тысячи долларов кредитными билетами. Я почувствовал такое отвращение ко всей этой процедуре, его поведение так меня возмутило, что я не мог взять ни одного цента. Знаю—вам это покажется нелепым, но я смотрю на дело иначе».

— Но почему его поведение вас возмутило?—спросил Майкель.—В сущности, что вас так разобидело?

Торбэй не отвечал. Он рассеянно поднес ко рту правую руку и стал кусать указательный палец. Креп-

кие белые зубы вонзились в тело. Он глубоко задумался, словно углубился в самого себя.

— Зачем кусать палец, Эрнест?—резко сказал Майкель.—Вы прокусите до крови.

Торбэй посмотрел на отпечаток зубов и левой рукой потер палец.

— Почему вас возмутила щедрость Киппа?—спросил Майкель.—Ведь вы хотели получить деньги, не так ли?

— Трудно объяснить тому, кто не понимает,—отозвался Торбэй.—Как бы это сказать?.. Видите ли, он к делу отнесся слишком небрежно и беззаботно. Я не мог себя пересилить... Брать у него деньги—это все равно, что ухаживать за грязной, потасканной женщиной, которую подцепил на улице.

«Я запер ящик, вернул ключ Рэнни и ушел. «Не нужно мне ваших денег»,—сказал я. Вид у него был недоумевающий, несомненно он удивился. Мое поведение показалось ему непонятным. Да, он никогда бы не понял... Теперь мы с ним в хороших отношениях, но между нами не может быть и речи о деньгах».

Зная, что Торбэй получает большие суммы от м-с Придделль, Майкель заинтересовался, как протекает этот процесс дарения. Свободно заговорил он на эту тему, ибо с течением времени стал как бы духовником Торбэя, выслушивающим его исповедь.

— Эрнест, а что вы скажите о м-с Придделль?—весело спросил он.—Ведь она очень богата и, вероятно, с большой охотой дает вам взаймы?

— Что вы! Да это все равно, что рвать зубы!—Торбэй засмеялся. Смех у него был не прерывистый, а протяжный. Он словно растекался по комнате, развертываясь длинными лентами.

Лицо Торбэя напоминало Майкелю профиль на античной медали. Чистые линии... лицо порочное и породистое. Слабохарактерное лицо и в то же время дерзкое. Дерзкое, но не мужественное. Избыток слабости переходит в наглость.

— О, нет! М-с Придделль—очень несговорчивый клиент, а я испортил дело еще и тем, что подарил кольцо Джин. О, боже! Можно было подумать, что я совершил убийство! Да... И теперь я должен перед ней отчитываться в каждом центе.

— Вот как? Мне бы хотелось спросить вас кое о чем, Эрнест. Ваша привычка брать взаймы и не платить долгов, принимать подарки от женщин... и этот инцидент с кольцом Джин, купленным на деньги м-с Придделль... Знаете ли вы, что большинство людей рассматривает такого рода поступки, как подлость?

— Ну так что ж?—равнодушно отозвался Эрнест.

— А как вы на это дело смотрите?—спросил Майкель.—Вы тоже считаете это подлым?

Торбэй широко раскрыл глаза и, словно наивный, недоумевающий ребенок, уставился на Майкеля.

— Ну, конечно!—сказал он.—А разве это не подлость?

И затем самым равнодушным тоном, каким может говорить человек, рекомендующий себя, как методиста или демократа, Торбэй добавил:

— Я, знаете ли,—подлец.

— Недурно!—воскликнул Майкель.

На секунду он лишился дара речи, сбитый с толку таким откровенным самоуничижением.

— Должно быть, вы меня принимаете за дурака, если задаете такой вопрос,—продолжал Торбэй.—Согласитесь, что я до известной степени... авторитет в во-

просах психологии. Я бы не мог писать психологических романов, если бы не понимал своей собственной натуры.

«Я—таков от природы.—Он улыбнулся задумчивой, детской улыбкой.—Беда в том, что большинство людей стремится вести жизнь чуждую их природным наклонностям. Я этого не делаю.

«На свете много подлецов, которые стараются жить по-иному. Они хотят быть не такими, какими созданы, и в результате получается чорт знает что».

Казалось, все мысли и чувства Торбэя были вывернуты шиворот-навыворот.

— Вы не верите в благие намерения? В стремление человечества к духовному росту?—спросил Майкель.— А в своих книгах вы распространяетесь на эту тему.

— Я верю в духовный рост человечества,—ответил Торбэй,—но по-иному, не так, как верите вы. Вы думаете, что на высшую ступень духовного развития человек поднимается в том случае, если идет в одном определенном направлении. Я нахожу, что нужно избрать другую дорогу. Духовный рост вы отождествляете с умом, красотой, справедливостью, добротой... Не так ли?

— Да, пожалуй,—кивнул Майкель,—хотя это не совсем то, что я думаю.

— Ну, а я считаю, что духовному развитию способствует страдание, отчаяние, падение, обиды...

— Разве вы не восхищаетесь героизмом?

— Героизм,—ответил Торбэй,—есть кульминационная точка человеческой низости. Невозможно быть подлее героя, ибо героизм обусловливается низостью душевной.

«Герой унижает людей, ибо, сопоставляя себя с ним, они осознают свою мелочность и вульгарность. Являясь

для них примером, которому они не имеют возможности следовать, он тем самым их унижает. Прирожденный герой—это убийца наизнанку, его героизм—оборотная сторона убийства. Человек, сознательно превращающий себя в героя,—мошенник. Я это прекрасно знаю, ибо сам был и мошенником и героем».

— Но теперь вы считаете себя подлецом?

— Да, конечно!.. Но, видите ли, я никого не унижаю. Люди всегда знают, что они лучше меня, и испытывают удовлетворение. Я являюсь как бы благодетелем бедных, униженных людей.

Майкель улыбнулся.

Торбэй улыбнулся.

Оба расхохотались.

— Наступает час, когда все представители рода человеческого должны пропустить по стаканчику виски,— сказал Торбэй и потянулся к бутылке, стоявшей перед ним на столе.—Хотите?

Майкель пододвинул стакан.

— Налейте мне, Эрнест, но немного.

— Ловлю джентльмена на слове,—сказал Эрнест, наливая Майкелю на дно стакана.

Себе он налил полный стакан.

— Вот что я открыл,—объявил он.—На свете только и есть хорошего, что любовь да первые стадии опьянения.

«Дайте мне любви и спирту, наделите меня способностью вечно наслаждаться и тем и другим, а затем... затем можете избавить меня от ваших человеческих достижений—литературы, науки, искусства... Привяжите им камень на шею и бросьте их в реку: мне нет до них

дела. Анатоль Франс всю жизнь искал истину, а в восемьдесят лет лучший совет, какой он мог дать, был: «Faites l'amour, faites l'amour!»

5

Любопытнее всего то, что Эрнест Торбэй далеко не всегда придерживался таких взглядов. Бывали длительные периоды, когда доминировал другой Торбэй... Другая личность, скованная жестким и холодным аскетизмом.

— Но ведь вы сказали,—начал Майкель,—что духовному росту способствуют страдание и отчаяние. А сейчас вы говорите, что любовь и пьянство—единственно сто́ящие вещи. Как примирить одно с другим?

Секунду Торбэй тупо смотрел на Майкеля.

— И примирять не нужно,—сказал он наконец.—Это одно и то же.

— Одно и то же! Объясните, пожалуйста, Эрнест.

— Объяснить я не сумею,—нерешительно отозвался Эрнест.—Знаю, что это так, но не могу объяснить. Быть может, вы помните поэму Эмерсона «Брама»?

Если убийцы думают, что убивают,
Если убитый думает, что убит, —
Они не ведают, они не знают
Тех путей, какими я иду.
То, что забыто, — для меня родное,
Свет и тени — для меня одно.
Боги погибшие живут со мною,
Позор или слава — не все ль равно,
Меня напрасно отдают забвению —
Я — их крылья, не улететь от меня...
Из полной чаши я испил сомненье,
Но я гимн, что поет брамин.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Благодаря знакомству с Эрнестом Торбэем и мисс Кольридж, благодаря долгим, дружеским беседам, Майкель Уэбб имел возможность мысленно воспроизвести историю этой любопытной пары. Несмотря на значительные пробелы, история представлялась ему связной и понятной.

Мисс Кольридж служила стенографисткой в отеле, в маленьком южном городке. Все еще в ее речи гласные звучали протяжно, как звучат на юге.

Она была хорошо образована. В сущности ей не нужно было зарабатывать себе на жизнь, но она хотела быть независимой и добилась своего.

Она любила книги, но не имела возможности беседовать о прочитанном, ибо в этом городке люди понятия не имели о литературе. Она скучала, думала о смерти и писала многочисленные письма под диктовку коммивояжеров и приезжих евангелистов.

Родной ее город находился в зоне Ку-Клукс-Клана. На перья и смолу жители смотрели, как на орудие служения обществу, но иногда откладывали в сторону белые одеяния своего мистического ордена и распевали

гимны на религиозных празднествах, организуемых тренированными евангелистами, чьей специальностью было спасение душ.

Кое-кто из коммивояжеров пытался ее соблазнить, и случайно один из них добился успеха. Этот человек не сумел ее заинтересовать. Она даже не потрудилась спросить, как его зовут... А всем известно, что это есть высшая степень женского равнодушия. Как бы то ни было, но все закончилось в один вечер. Она не была уверена, знает ли он ее имя, ибо, обращаясь к ней, он говорил: «Послушай!» или «Послушай, малютка!»

Ей показалось, что, несмотря на вульгарные манеры, в нем есть что-то напоминающее джентльмена. И все-таки она не разрешила бы ему заходить слишком далеко, если бы не разожгли в ней любопытства настойчивые попытки прежних кандидатов. По мнению мисс Кольридж, следовало испробовать все, что отнимает у людей столько энергии и времени... Она хотела узнать, в чем тут дело.

Привычку любить приобрести легко, а побороть ее чрезвычайно трудно... в особенности, человеку, предрасположенному к авантюризму. Пожалуй, эту привычку искоренить труднее, чем что бы то ни было. Бедная Джин убедилась в этом на опыте.

После первого ее случайного эксперимента коммивояжерам легче стало добиваться своей цели. Их усилия нередко увенчивались успехом. Разъезжая по другим штатам, коммивояжеры сообщали своим коллегам имя, адрес и следили за тем, чтобы имя было записано правильно.

Конечно, так не могло продолжаться вечно. Во всяком случае—в маленьком городке... и тем более в южном

городке. Сначала зародились подозрения; затем эти подозрения созрели. Люди сплетничают даже в том случае, если ничего не знают. В Нью-Йорке, где каждый, кто не пойман с поличным, считается человеком благородным, низкая сплетня пачкает своим грязным языком людей самых целомудренных и благородных.

Как-то вечером, когда Джин вернулась домой, гроза разразилась. Обвинения, слезы, упреки... Немало слов было сказано о револьвере и вообще о смертоносном оружии. Во время этой тяжелой сцены Джин держала себя с достоинством. Она не плакала, не волновалась. Отказалась дать какие бы то ни было сведения; не желала обсуждать этот вопрос. Она заявила, что это касается только ее одной. Когда речь зашла об огнестрельном оружии, и разговор грозил затянуться, она погрузилась в чтение газет и журналов, полученных в тот день Кольриджами.

Около полуночи она вышла из дому и села в поезд на Сент-Луи. От прошлой своей жизни она отошла сразу, словно отсекла ее ножом. Уходя из дому, она не сочла нужным хотя бы матери оставить записку. Больше семья о ней ничего не слыхала, и мисс Кольридж не имела никаких сведений о своих родных. Она думала, что они рады от нее отделаться. Пожалуй, так оно и было.

Мисс Кольридж не принадлежала к числу тех, кто не отходит от ковчега воспоминаний. Ей не было дела до прошлого. Она не умела мысленно восстанавливать былое.

Благодаря этому равнодушию, жизнь ее стала такой запутанной, что Майкелю Уэббу стоило большого труда представить себе ее биографию.

Одно время она служила стенографисткой в конторе по продаже недвижимого имущества в Омахе. Затем несколько месяцев жила в Чикаго, где переходила от одной профессии к другой. Попробовала было работать репортером в газете, но была она слишком красива, слишком небрежно относилась к своим обязанностям и писала слишком вычурным слогом, чтобы добиться успеха на этом поприще.

Майкель узнал, что она стала актрисой и вместе с труппой совершила турнэ по северо-западным штатам. Труппа ставила «Леди из Лиона», «Ист Линн» и «Монтекристо»; зрителями были шахтеры и работники с ранчо. Наконец, после безалаберных скитаний по семи штатам, труппа добралась до Ситтля. Во главе предприятия стоял человек, представления не имеющий о предусмотрительности и планомерной работе. Джин ничего против этого не имела... Она сама не отличалась предусмотрительностью и не имела никакого определенного плана. Дела шли плохо, со дня на день можно было ждать краха, но это нимало ее не тревожило.

Больше всего досаждала ей и наводила скуку старческая серьезность актеров. Ей хотелось, чтобы они смотрели на себя, как на детей, затеявших игру, но актеры были люди мрачные, напыщенные; они позировали в своих потрепанных костюмах.

Все они считали себя великими, но непонятыми художниками. Завистливые светила американской сцены преследуют их по всей стране. Заинтересованные лица строят козни и принимают все меры, чтобы лишить их заслуженной славы... Карманы актеров были набиты засаленными вырезками—благосклонными отзывами драматических критиков Оклахомы и Южной Дакоты.

За неимением лучшего Джин приняла ухаживание двух-трех актеров, но они так часто говорили о Клеопатре, что она дала им отставку и отныне питалась собственной добродетелью.

Когда труппа прибыла в Ситтль, всем стало ясно, что дальше на запад ехать нельзя: перед ними расстилался Тихий океан. После долгих колебаний труппа повернула на север и вторглась в Аляску, но оказалось, что этой девственной стране смертельно надоели бродячие труппы и актеры.

Здесь произошел крах, и труппа распалась на составные элементы.

Джин получила место горничной или кухарки в Номе, в гостинице. Майкель так и не выяснил, какие обязанности она исполняла.

На этом месте она продержалась недолго.

Майкель знал, что затем она поступила горничной на океанский пароход, курсировавший между Сан-Франциско и Австралией. Во время первого же рейса она робко вошла в судовую библиотеку и попросила разрешения брать книги. На пароходе это был первый случай, когда горничная изъявила желание читать книги.

Хотя Джин имела право считать себя начитанной, но о Драйзере она ничего не знала, пока в судовой библиотеке ей не попала в руки «Сестра Кэрри». Эта книга произвела на нее глубокое впечатление. Впервые Джин установила связь между книгами и жизнью. Раньше она смотрела на романы, как на занятную выдумку. Жизнь шла своим руслом, книги—это был особый мир. Теперь она поняла, что можно слить оба мира. Она встречала коммивояжеров, вульгарных субъектов, скучных, чувственных героев романов Драйзера.

На этом пароходе прочла она «Войну и мир» Толстого. Раньше она это читала... когда жила дома... и осталась недовольна: книга показалась ей скучной и плоской. Теперь впечатление было как раз обратное, и она недоумевала, как может человек так резко изменить свое мнение.

Во время длительного плавания по Тихому океану многие пассажиры считали своим долгом читать Германа Мельвилля: «Моби Дик», «Ому», «Тайпи» и другие его произведения. Джин не любила Мельвилля; находила его слишком фантастичным и далеким, слишком мистичным, но ей понравился его «Белый китель, или жизнь на военном судне». К Конраду, другому любимому писателю пассажиров тихоокеанского парохода, она оставалась равнодушной и одобряла только «Тайного агента», который, как было ей известно, пользовался наименьшей популярностью. Романам Конрада, по ее мнению, чего-то не хватало, и это «что-то» она называла законченностью. «Блажь Олмейера» могла бы ей понравиться, если бы не эта недоговоренность. Джин была уверена, что герой влюблен в свою собственную дочь, но автор избегает этой темы. И Джин осталась недовольна... Роман на тему о кровосмешении был бы очень интересен.

Она читала книги в судовой библиотеке, прислуживала пассажирам, застилала постели, получала чаевые... Затем снова спускается завеса.

Майкель, пытающийся восстановить историю ее жизни, видит мисс Кольридж в Канзас-Сити, но понятия не имеет о том, как и почему она туда попала.

Едва ли можно сомневаться, чем занималась она в Канзас-Сити. Неведомо откуда к ней притекали деньги. Она жила в крохотной, роскошно меблированной квар-

тирке, прекрасно одевалась и, видимо, благоденствовала. Изредка она знакомилась с нефтепромышленниками из Оклахомы или джентльменами, имеющими какое-то отношение к торговле скотом.

И тем не менее этим не объяснишь, как ухитрялась она жить. Есть что-то сбивающее с толку, что-то непонятное в жизни этих галантных леди. Должно быть, когда они мзду получают, эта мзда не маленькая, ибо большинство их посетителей принадлежит к категории добрых безденежных друзей, разнузданных пьяниц или разорившихся мотов с вывернутыми наизнанку карманами.

2

В Канзас-Сити, в коридоре отеля Эрнест Торбэй впервые встретил Джин.

Он совершал турнэ, читая лекции. То было первое его и последнее турнэ. Только что вышел его третий роман, одобренный литературными кругами, но не доставивший ему денег, ибо книга расходилась туго. Энергичный импрессарио убедил романиста прочесть цикл лекций, и Торбэй попал в Канзас-Сити, чувствуя себя бесконечно несчастным и всеми покинутым.

Усевшись на стул в коридоре, он стал следить за проходившими мимо женщинами. Он мог провести несколько часов в отеле, куда заглядывают женщины и хорошенькие девушки.

И тем не менее он мало думал о женщинах и девушках, если не находился в их обществе. Чтобы проснулось его любопытство, он должен был ощущать их присутствие. Отсутствие женщин не причиняло ему ни

малейшего страдания; он мог бы жить в какой-нибудь уединенной долине, в обществе одних мужчин.

В том же коридоре у противоположной стены сидела девушка. Красивая, стройная девушка, одетая строго и с большим вкусом. Не поднимая глаз, она сосредоточенно читала книгу. Когда она перевернула страницу, ему удалось прочесть название; то был «Путь к звездам»—книга, написанная им в тюрьме.

Редко приходилось ему видеть, чтобы кто-нибудь читал его произведения. Он заметил, что она беззвучно шепчет отдельные слова. Через секунду он встал, подошел к ней и представился.

Она повернулась к нему лицом, и они пристально посмотрели друг другу в глаза.

— Да,—протяжно выговорила она, но это «да» скорее походило на мяуканье.—Д-а-а...

— Я написал эту книгу в тюрьме,—торопясь и заикаясь, выпалил он.

Ей это было известно, потому что она прочла предисловие, и тем не менее он счел нужным это сказать.

— Знаю...

Он коснулся ее руки, и секунду они сидели молча. Потом снова посмотрели друг на друга. Удивленный, недоумевающий взгляд... Так смотрят люди, которые увидели что-то новое, не имеющее названия.

— Подумать только,—продолжал он,—что пять минут назад я шел по улице, а вы сидели здесь... И тогда я вас не знал... совсем не знал... Стена стояла между нами... Вот что самое странное.

— Да, странно,—просто сказала она.

— Теперь моя жизнь изменилась,—прошептал он.— За пять минут вся моя жизнь изменилась.

— И моя,—глухо отозвалась она.

Спустилось молчание. Молчание не тяготное, а трепетное.

— Почему вы на меня так смотрите?—спросил он. Ее голубые глаза не отрывались от его лица.

Она засмеялась... Отрывистый веселый смех.

— А вы почему на меня смотрите?

— Не знаю.

Разговор был серый, призрачно-тусклый. Бессмысленные свинцовые слова. Так беседуют люди, которые только что пережили катастрофу и сидят при дороге среди развалин и обломков.

— Я вас знала тысячу лет,—заметила Джин, медленно извлекая слова одно за другим на белый свет.

Снова молчание.

— Вы здесь живете?.. в Канзас-Сити?—спросил Торбэй.

Она покачала головой.

— Нет... да... Я здесь остановилась.

— В Канзас-Сити я в первый раз,—сказал он и, помолчав, нелепо добавил:—Здесь много дельцов.

Джин широко раскрыла свои голубые глаза и посмотрела ему в лицо.

— Меня содержат мужчины,—сказала она напрямик.

— О!

— Что же мы будем теперь делать?

Вместо ответа он взял ее за руку.

— Пойдемте обедать,—объявил он и сразу просиял.

— Послушайте,—начала Джин,—один человек предложил мне пообедать в этом отеле. Я его жду сейчас.

Торбэй, не выпуская ее руки, спросил:

— Вы отказываетесь от этого приглашения, не правда ли?

— Конечно, я иду с вами,—быстро проговорила она.—Вон он идет, ищет меня.

По коридору шел какой-то мужчина, засматривая в лица женщин.

— Идемте! Скорей!—сказала она.

Это походило на бегство.

— Мы пообедаем в другом отеле,—предложила она, когда они вышли на улицу.

3

— Вы ничего не едите,—сказала она.

Он сидел, облокотившись на стол. Горели лампы под розовыми абажурами, сверкала посуда.

— Я не хочу обедать,—ответил он.

— Я тоже...

— Я хочу, чтобы вы мне рассказали обо всем, что пережили со дня сотворения мира,—продолжал он.

— Хорошо,—согласилась она.—Но и вы должны мне рассказать о себе... Я читала все ваши книги... Кое-что я о вас знаю... Вы никогда не думаете, вы чувствуете... В ваших книгах нет ни одной мысли, ни единой.

Торбэй ответил не сразу.

— А мне казалось, что есть,—сказал он наконец.

— Нет, милый... вы чувствуете, вы не думаете... В ваших книгах есть только одни чувства...

— Вы имеете в виду непосредственные ощущения?

— Да, кажется, так принято их называть,—подтвердила она.—Чувства! Они заступают место мыслей. У большинства людей чувства скрыты где-то в глубине,

а мысль рвется наружу. Да, так мне кажется. Но у вас, в ваших книгах, на поверхность всплывает чувство.

Он потянулся через стол и взял ее за руку.

— Не будем говорить обо мне и моих книгах.

— И вот еще что,—продолжала она.—Вы расколоты... В вас словно живут несколько «я». На страницах вашей книги дает о себе знать то одно, то другое «я». И сейчас вы не тот, каким были, когда я вас только что встретила.

— Вот как? Какой же я сейчас?

Она спокойно подняла на него глаза.

— Сейчас вы—хитрый и, пожалуй, подозрительный, Торбэй засмеялся.

— Нет! О, нет!

Он погладил ее руку.

— Красивая белая рука... Но этим кольцом вы уродуете себе руку.

Он коснулся пальцем кроваво-красного рубина, вставленного в кольцо мисс Кольридж.

— Это красивое кольцо,—заявила она,—и очень дорогое.

Он пожал ей кончики пальцев.

— Гм... Быть может, оно дорого стоит, но красивым его нельзя назвать. Этот камень слишком красный, а ваша рука такая белая...

— Вы не хотите, чтобы я его носила?—спросила она, склонив голову на-бок, чтобы заглянуть ему в лицо, скрытое от нее баррикадой из ламп и цветов.

Он уклонился от прямого ответа.

— Словно капля крови на пальце,—сказал он.— Я ненавижу красные камни.

Джин сняла с пальца кольцо, положила себе на ладонь и с любопытством на него посмотрела; потом небрежно подняла руку и бросила его в открытое окно. Слышно было, как оно звякнуло, упав на тротуар, и скатилось в желоб.

— Вот и все,—сказала она.

Пожалуй, из всех людей Торбэй был единственным человеком, способным не проявить ни малейших признаков удивления и испуга. Он снова погладил ее руку, лежавшую на столе.

— Красивая ручка...

— Надеюсь, вы не питаете ненависти к юбкам?—осведомилась Джин.—А если и юбки вам не нравятся, то боюсь, как бы дело не кончилось тем, что меня арестуют.

Торбэй расхохотался и хохотал долго. Ее замечание показалось ему ужасно забавным. Он представил себе, как эта девушка снимает с себя юбку и выбрасывает в окно.

— Иногда юбки мне не нравятся,—сказал он,—но в данный момент я против них не возражаю.

Она выбросила кольцо... Посторонний наблюдатель мог подумать, что этот театральный жест она сделала только для того, чтобы обратить на себя внимание.

Да, такое впечатление могло создаться, но видимость не соответствует действительности. Эта мысль ей и в голову не приходила. В сущности Джин не сумела бы объяснить, почему вышвырнула кольцо. Ей казалось, что она действовала импульсивно... Он сказал, что красный камень ему не нравится, и внезапно она почувствовала отвращение к этому камню... захотела от него избавиться... избавиться во что бы то ни стало... Пожа-

луй, она могла бы спрятать его в сумочку, а на следующий день продать ювелиру.

Нет, только не это... Денег она не смогла бы взять.

Так объясняла она свой поступок, но это объяснение не совсем ее удовлетворяло.

Торбэй знал лучше, чем знала она. В душе его, на грани подсознательного, зажжен был желтый ослепительный огонь, словно костер, пылающий в черной ночи... Ощущения подсознательные выплывали на поверхность сознания.

Временами языки ослепительного костра взметались ввысь... И в зареве костра обнажались для него скрытые мотивы человеческих поступков. О людях он знал самые удивительные, невероятные вещи. Знал то, чего они сами о себе не знали.

Он понял, что, выбрасывая кольцо, она совершила брачную церемонию; кольцо было ее прошлым. При этой мысли Торбэй улыбнулся.

Ее поступок имел глубокий смысл. У бедной девушки не было ни одной из тех добродетелей, которым придают значение мужчины, и потому она пожертвовала самой ценной своей вещью.

Все это Торбэй прекрасно понимал, и когда кольцо упало на тротуар, он почувствовал, как смыкаются стены тюрьмы. Он обрадовался тюрьме... рад был в нее вернуться... Но в то время он не подозревал, как прочны эти стены.

Тогда он потянулся через стол и погладил ее руку.

— Красивая ручка,—сказал он, и эти два слова заставили ее затрепетать.

4

В ту ночь, в непроглядной темноте они лежали вместе в постели, в ее комнате. Он обнимал ее за талию и думал, что она спит, но сам не мог заснуть—ее волосы щекотали ему лицо.

Так он лежал и думал.

— Какой я дурак!—неожиданно пробормотал он вполголоса.

Она не спала и спокойно отозвалась:

— Знаю, что ты дурак. Я тоже глупа, но с сожалением отмечаю, что ты еще глупее...

Она лежала, повернувшись к нему спиной; он обнимал ее за талию, держал ее руку в своей, прядь ее волос касалась его лица, но, казалось, он не сознавал ее присутствия, а скорее ощущал его. Ее голос собирал слова в темноте и рассыпал их. Словно говорила сама темнота.

— Лекции... я... я... лекции...—запинаясь, выговорил он и умолк.

— Ты не должен читать лекции,—сказала она.—Больше ты не будешь читать.

— Я не могу... не могу... я умру... проклятые лекции...

Он говорил, как человек, страдающий от физической боли, или как капризный ребенок, который упрямится и не хочет связно строить фразы.

— Ну, так не читай,—решительно сказала Джин.

— Я рад, что ты со мной соглашаешься. Я боялся, как бы ты не решила, что я должен продолжать.

Он замолчал и через секунду начал снова:

— Ведь я заключил контракт. Пожалуй, они могут меня заставить.

— Нет, не могут,—ответила она.

Она почувствовала, что горячие слезы закапали на ее плечо. Сейчас он превратился в ребенка; маленький, обиженный, он плакал от жалости к самому себе.

Турнэ проходило блестяще; импрессарио даже не рассчитывал на такой успех. Они разъезжали уже две недели, и Торбэй собирал большую аудиторию. Публика хотела поглядеть на человека, который, сидя в тюрьме, написал прекрасный роман. Ей не было дела до того, что говорил Торбэй. Слушатели горели желанием взглянуть на него и получить его автограф. На лекции они являлись с его книгами подмышкой, а в кармане торчала автоматическая ручка.

Импрессарио умел создать рекламу. Торбэя он рекламировал, как «человека, который выкарабкался из ямы». Однажды Торбэй случайно увидел эту афишу и немедленно напился так, что не в состоянии был читать лекцию. Сидя в артистической, он снова и снова повторял в ответ на мольбы импрессарио:

— Чорт бы побрал вас с вашей проклятой ямой... Чорт бы побрал вас с вашей проклятой ямой...

После этого пришлось переделать афишу. Теперь импрессарио изобразил Торбэя, как человека «вырвавшегося из сердца тьмы»... Эта поэтическая реклама свалила романиста с ног и на целый день уложила его в постель; Торбэй наотрез отказался встать и не принимал пищи. Снова пришлось вносить изменения.

Тогда импрессарио состряпал заметку, в которой давал понять, что романам Торбэя свойственна «легкость стиля и тонкость психологического анализа, характерная

для Диккенса, а также та острота, что пленяет нас в Флобере». Далее он писал, что несомненно настанет день, когда Торбэй «создаст великий американский роман».

Эрнест увидел эту заметку лишь после того, как она появилась в газете. Отложив газету в сторону, он опустил голову на мраморную доску стола и заплакал. Затем верх одержало презрительное негодование, и Торбэй бросился разыскивать импрессарио. Вернее—торжественно проследовал в его номер.

Войдя в комнату, он спросил, кто написал эту заметку. Импрессарио?

— О, да... да,—ответил импрессарио.

— Ну так получайте,—сказал Торбэй и ударил его по физиономии.

Эрнест был бледен и дрожал. Он думал, что противник набросится на него с кулаками, и стоял неподвижно. Он ликовал, предвкушая драку.

Но импрессарио, раздосадованный, сказал только:

— Полно, Эрнест, бросьте эти глупости! Если вам опять придет в голову драться, я вас разложу и высеку.

С тех пор Торбэй стал презирать импрессарио. Ночью, лежа в постели, он забавлялся тем, что выдумывал о нем всякие небылицы. Сочинял истории, в которых импрессарио выставлялся в дурацком виде.

Люди, которые приходили поглазеть на человека, побывавшего в тюрьме, сами сидели в тюрьмах. Правда, лишь очень немногие из них знали тюрьму из камня и железа, но ведь есть и другие тюрьмы!

Они не знали, что сидят в тюрьме, ибо имели представление только о каменных тюрьмах.

После лекции Торбэй пожимал руки слушателям. Им-

прессарио сказал ему, что они ждут этого рукопожатия: на публику Торбэй производил прекрасное впечатление. Говорили, что он похож на молодого английского лорда. Манеры у него были изысканные, и никто бы не предположил, что он сидел в тюремной камере.

Импрессарио прекрасно его изучил и знал, что Торбэй может быть вежливым и любезным в продолжение пятнадцати минут, не больше, и по истечении четверти часа, отданного рукопожатиям, спешил его увести. И тем не менее странные враждебные чувства прокрадывались в сердце Торбэя... Через несколько дней после лекции он мог с холодной ненавистью говорить о каком-нибудь человеке, которого видел только одну секунду.

Через две недели ему смертельно надоели турнэ, импрессарио, репортеры, ужины, семейные дома, литературные клубы, чек, который вручался ему после каждой лекции...

В чернильной тьме он шептал в затылок Джин:

— Как я рад, что встретил тебя в отеле!

— Я тоже,—отозвалась она.—Боже! Я бы умерла, если бы ты не пришел.

— Да...

— Но я знала, что когда-нибудь ты придешь. Я не знала, кто ты, но знала, что придешь... Сколько у тебя денег?

— Не знаю,—ответил Торбэй.—Должно быть, около трех тысяч долларов. У меня ничего не было, когда я отправился в это турнэ, но теперь я прочел восемь лекций, за каждую мне платят четыреста долларов... Тебе нужны деньги? Возьми, если хочешь.

— Мне не нужно,—сказала Джин.—У меня есть семьсот долларов... Ты знаешь, я еду с тобой.

20*

— Да?.. Я рад.

— Как, разве ты не знал, что я еду?—удивилась она.

— Я... я так и предполагал, но не знал.

— А ты хочешь, чтобы я поехала?

Он крепче ее обнял и притянул к себе.

— Ты знаешь, что хочу.

— А ты не будешь чувствовать ко мне презрения... потому что меня содержали мужчины?—спросила она испуганным шопотом.

— Мне это понравилось,—сказал он.—Я был этим взволнован... возбужден...

— Чем возбужден?

Эти слова она выговорила нетвердо, словно голос блуждал где-то в тумане.

— Э... гм... ну, этим... этой твоею опытностью... Ты мне все должна рассказать об этих мужчинах. О каждом из них. Не теперь... потом. Что они говорили и делали...

Она неожиданно повернулась, и он знал, что теперь она пристально смотрит ему в лицо, хотя друг друга они не видели.

— В тебе есть что-то, чего я не знаю,—сказала она.

— Очень многого ты не знаешь... Я еще не успел тебе рассказать обо всем, что было в моей жизни..

— Да, но я не о том говорю... Я хочу сказать, что в мыслях твоих... нет... в душе... есть что-то, чего я не знаю...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Рэндольф Кипп явился на свет в последнее десятилетие девятнадцатого века. Когда он достиг совершеннолетия, наука из романтического занятия превратилась в профессию. На образование уже не смотрели больше, как на путь к богатству или почестям. Люди с университетским дипломом занимались продажей билетов и починкой часов. Киппу внушили, что «Знание—сила», и он был сбит с толку, убедившись в неправильности этой максимы.

Вскоре он обнаружил, что мир изменился; новое столетие ознаменовалось вторжением буйных и жестоких купцов. Кипп был наделен способностью приспосабливаться; он умел овладеть новой идеей, осознать новое положение. Итак, он присоединился к наступающей армии и одно время занимал скромный пост повара в лагере торговцев. В поте лица зарабатывал он кусок хлеба, хлопотал среди горшков и сковород в тылу, где едва слышен был грохот орудий, разрушающих баррикады.

Говоря простым языком, ему предложили составить курс химии для школы заочного обучения и исправлять

работы учащихся. За это ему платили меньше, чем третьему помощнику заведующего отделом рекламы.

Образование он получил разностороннее и не был узким специалистом. Знал многое помимо химии. При случае мог поговорить о символистах и астрономии, о Франциске Ассизском и лучшем способе жарить рыбу. Вену он знал, лучше, чем Бостон; был знаком с мэтрд'отелем ресторана «Митра» в Оксфорде и мог объяснить, почему с домов этого исторического города красивый песчанник облупливается, словно кожа с обожженного солнцем носа. По-французски он говорил так, как говорят на этом языке в сером городе башен; прекрасно танцовал и ухитрился распутать нити политических интриг в Старом Хэмпдене, а это задача нелегкая, и тот, кто за нее берется, должен в совершенстве изучить проблему ненависти и зависти за последние сорок лет.

Несмотря на все эти познания, он был совершенно лишен интуиции и понятия не имел о том, что чуждо законам логики. Мозг его отказывался воспринимать безрассудные, туманные и превратные идеи.

Поведение Торбэя, которому он дал ключ от своего ящика с деньгами, сбило его с толку, и он долго раздумывал об этом инциденте.

— Очевидно, я его обидел,—сказал Кипп в разговоре с Майкелем Уэббом,—хотя я не понимаю, чем именно. Торбэй щепетильный парень. Он мне сказал, что хочеть взять у меня взаймы... а я ему ответил: «Ладно»... И больше ничего. Он и раньше брал у меня деньги, но я этому не придаю значения... Я не жду, чтобы он их вернул, и всегда готов ему помочь... В тот момент я был занят и потому дал ему ключ от стола, чтобы он сам взял, сколько ему нужно. Через секунду он возвращает-

ся, швыряет ключ, говорит обиженным тоном: «Не нужно мне ваших денег», и уходит... Ну, как по-вашему, чем мог я его обидеть?

— Ничем, мне кажется,—ответил Майкель.

— Конечно, а все-таки с тех пор он меня чуждается. Разумеется, я ничего не понимаю, но мне кажется, он подумал, что я задираю перед ним нос... Даю ему ключ, чтобы он увидел, сколько у меня денег... А денег в ящике было много. Короче говоря, вульгарно хвастаюсь. О, господи! Да мне бы это и в голову не пришло! Ну, конечно, он потому и обиделся. А вы как думаете?

Майкель улыбнулся.

— Быть может,—сказал он.

2

Несмотря на высшее образование, Кипп вскоре лишился места в школе заочного обучения. В нем перестали нуждаться, как только он закончил курс химии. Исправление ученических работ, приходивших по почте, можно было поручить и не специалисту.

После этого он получил место химика в большом коммерческом предприятии. Прочитав высокопарный проспект, он пришел к тому заключению, что ему придется производить опыты и заботиться об улучшении качества медицинских препаратов, которые выпускала фирма.

Однако когда он прибыл на фабрику в Сент-Луи, его провели в пыльную жалкую лабораторию с окном, выходившим в коридор. В течение целого дня перед окном появлялись курьеры с крохотными пакетиками, наполненными белым порошком. То были образцы выпу-

скаемых препаратов, а в обязанности Киппа входило испытание качества продукции.

Испытание было не сложное. Лабораторными щипчиками он брал несколько крупинок, бросал в пробирку, а затем держал пробирку над бунзеновской горелкой. Нагретая жидкость принимала нежную зеленую окраску.

Если же она не окрашивалась, и если зеленый цвет был слишком светлым или слишком темным, это свидетельствовало о невысоком качестве продукта, и Кипп делал отметку на листе, который приносил курьер. Работа упрощалась благодаря тому, что тут же, на прилавке, стояла закупоренная бутылка с зеленой жидкостью. Раствор в этой бутылке был как раз того оттенка, какой должна была принимать жидкость в пробирке.

Как только пробирка нагревалась, Кипп подносил ее к закупоренной бутылке и сравнивал цвета. Этим заканчивалось испытание, и вся процедура отнимала не более пяти минут.

Предполагалось, что Кипп, покончив с этими исследованиями, работает в своей крохотной лаборатории над усовершенствованием препаратов. Однако, по мнению администрации, препараты не нуждались в усовершенствовании, они и без того были совершенны, и потому никто не возлагал надежд на новые опыты. Как бы то ни было, но Киппу так и не удалось заняться экспериментальной работой, ибо на испытания препаратов едва хватало рабочего дня. То и дело перед окном появлялись курьеры с маленькими пакетикам.

За эту работу он получал тридцать долларов в неделю.

К концу второй недели Кипп пришел к тому заключению, что эти тридцать долларов позорят: он не имеет права брать деньги. Совесть не давала ему покоя.

Он пошел к главному управляющему, который получал тридцать шесть тысяч долларов в год и держал себя очень высокомерно. На это он имел право; свою коммерческую карьеру он начал в Арканзасе, где торговал патентованными лекарствами; а теперь он занимал пост главного управляющего. У него под началом служили шестьсот человек.

Предприятие было так хорошо организовано, что управляющему оставалось только нанимать и рассчитывать служащих. Его кабинет был в сущности конторой по найму, и управляющий, желая проявить свою власть, частенько увольнял старых служащих и нанимал новых.

Когда же ему надоедало увольнять, нанимать и вмешиваться в текущую работу, он развлекался тем, что придумывал афоризмы для почтовых карточек, которые рассылались еженедельно всем клиентам предприятия. На этих карточках из белого или голубого толстого картона печатались глубокомысленные изречения.

Когда Кипп вошел в кабинет, управляющий сидел за письменным столом и любовался новой карточкой, на которой было напечатано:

«Не будь немой, загнанной скотиной;

Будь героем в борьбе».

Кипп очень вежливо сообщил ему, что смотрит на свою работу, как на сплошное надувательство. Тридцать долларов в неделю...

— Очень печально, что вы стоите на такой точке зрения,—перебил управляющий.—За тридцать долларов

в неделю я могу получить прекрасных химиков... Здесь, в ящике моего стола, лежит сотня прошений: сотня химиков добивается получить место, которое вы занимаете.

— О, вы меня не поняли,—сказал Кипп.—Я не говорю, что жалование ничтожно. Я хочу сказать, что вы мне слишком много платите.

Управляющий был хитер, как лиса. Беседуя с людьми, он всегда держался настороже. У него был нюх, ведущий человека к высоким административным постам и помогающий на этих постах удерживаться. Люди хитрые и проницательные руководствуются следующим принципом: нужно дать человеку высказаться. Пусть собеседник говорит все, что думает, а вы не говорите ничего... Таким путем вы можете поймать его на слове и узнать, где находится уязвимое его местечко... Великим карьеристам помогает главным образом эта способность слушать.

Управляющий задумчиво кивнул головой и сказал:

— Гм... вот как?

— Да, мне слишком много платят,—повторил Кипп.

— Что же вы предлагаете?—спросил управляющий.

— Мне неприятно брать эти деньги,—ответил химик.—Совесть меня мучит. С вашего согласия я бы мог подготовить кого-нибудь другого на это место, а затем оставить службу.

— Кого вы хотите подготовить?—удивился управляющий.

— О, кого угодно! Мне все равно. За четверть часа я могу обучить всякого, кто умеет считать до десяти. Я думал, что мы могли бы использовать одну из этих маленьких девочек, которые наклеивают ярлыки на бу-

тылки. Кажется, они получают восемь долларов в неделю. Таким образом расходы сократились бы на двадцать два доллара, а в наш век этим пренебрегать не следует.

К этому предложению управляющий отнесся равнодушно. Он был человек экономный, но не скупой.

— Мы не возражаем против того, чтобы платить тридцать долларов в неделю,—сказал он.

«Конечно, это была бы экономия,—размышлял он,— но из политических соображений нужно от нее отказаться».

Когда фабрику посещали клиенты, управляющий, желая произвести на них впечатление, посылал за Киппом и рекомендовал его так:

— Джентльмены, я хочу вас познакомить с нашим химиком, м-ром Киппом. Он получил образование в Германии, окончил университет. Мы ему поручили наблюдать за качеством нашей продукции.

Несмотря на увещания и успокоительный тон управляющего, Кипп продолжал томиться и к концу месяца отказался от места.

3

— Но почему пришло ему в голову гнать спирт?— спросил Сэмуэль Харлей.

В сущности то был вполне естественный вопрос.

— Не знаю,—отозвался Майкель Уэбб.—Вам придется спросить его самого, и я не уверен, ответит ли он начистоту.

— Да, но вы-то что думаете по этому поводу?

— Гм... пожалуй, он хотел заработать денег,—сказал Майкель.—Быть может, были и другие причины... на-

пример, захотелось бросить вызов обществу... У некоторых людей этот импульс часто одерживает верх.

«Объяснение простое. И, как большинство простых объяснений, оно, по всей вероятности, неправильно. Поступки людей не поддаются простым объяснениям.

— Разве?

— Да. Это тайна—мотивы, которыми руководствуются люди,—подтвердил Майкель.

«Мы стараемся объяснить какой-нибудь поступок и придумываем простейший мотив, потому что ум отказывается нести тяжесть туманных догадок.

«Психология нам мало помогает—она не может проникнуть в сердце человеческое. Человек от природы чужд логике и морали. Род человеческий стар, люди жили на земле за много тысячелетий до того, как были изобретены логика и мораль. Ребенок так же нелогичен и чужд морали, как и щенок, и все мы до конца жизни сохраняем что-то от первобытных инстинктов.

«Быть может, человек кажется нам цельным, как бы высеченным из одного куска. Допустим, что мы его знаем давно... знаем о нем все. И вдруг он высказывает какое-нибудь мнение или совершает поступок, который сбивает нас с толку, ибо нарушает наше о нем представление. Очевидно, какой-то первобытный инстинкт дает о себе знать, мы видим нового, непонятного нам человека и приходим к тому заключению, что совсем его не знаем.

«Наша ошибка объясняется тем, что к человеку мы подходим с логическими мерками. Его духовный облик мы стараемся обрисовать резкими, чистыми линиями. Таким путем человека не поймешь. Сначала нужно его почувствовать».

— Воображение нам помогает,— высказал догадку Харлей.—Мы можем себе представить, о чем думают люди.

— Нет, Сэм, таким путем не поймешь челоовека. Мы прибегаем не к воображению... Так, например, чтобы понять душу вора, нужно себе представить такое душевное состояние, при котором желание украсть временно одерживает верх над всеми остальными мотивами. Недостаточно знать, о чем думает вор, мы должны чувствовать так, как он чувствует.

«Очень немногие способны переживать душевное состояние другого человека. Для этого требуется сознательное усилие и умение стать безличным... А способность обезличиваться—одна из редчайших способностей. Средний мужчина или женщина никогда не бывают до конца объективными, беспристрастными».

— Насколько я понимаю, вы пришли к следующему выводу: м-р Кипп сделался бутлегером просто потому, что ему этого захотелось. Не так ли?

— Да, пожалуй,—согласился Майкель.—Ему захотелось... и деньги были нужны... А кроме того его тянет ко всяким авантюрам. Если это объяснение вас не удовлетворяет, постарайтесь настроиться так, чтобы почувствовать себя культурным бутлегером... Тогда вы поймете его душевное состояние.

4

Майкель Уэбб с м-ром Придделлем и Гюсом Бюфордом поехал в желтом тряском автомобиле Гюса в деревню. Гюс хотел заехать на почту и встретить на

станции гостей, а Майкель и м-р Придделль отправились с ним, потому что им нечего было делать.

В самом центре деревни находится тенистая лужайка, обсаженная древними вязами, такими высокими, мощными и развесистыми, что лужайка словно обнесена стенами храма; солнечные пятна лежат на траве.

По одну сторону лужайки расположена кузница и грузный новоанглийский отель «Вик Хаус», где хмурый клерк ковыряет в зубах, а меню обеда неизменно начинается жареными бобами и заканчивается сиропом. Улица по другую сторону лужайки является продолжением шоссе из Нью-Йорка в Беркшайр. Это—центр коммерческой жизни Старого Хэмпдена. Ряд двухэтажных домов... почтовая контора... национальный банк... обувной магазин, постоянно объявляющий распродажу... контора по продаже недвижимого имущества; в окне выставлены огромные фотографические снимки домов, а в крохотной комнатке, величиной с ванну, сидит за конторкой серый, изнуренный человек... лавка, торгующая пластинками для фонографа, мячами и ракетами, карандашами, нью-йоркскими газетами, кодаками, журналами, клеем, сигарами и игрушками; на владельца этой лавки смотрят, как на человека, который знает все, начиная с оперы и кончая машинным маслом... аптекарский магазин; две трети магазина занимает фонтан с содовой водой... гараж, где пахнет бензином и красуются красные резервуары.

В то утро в тихой деревушке царило необычное волнение. Майкель хорошо знал Старый Хэмпден и сразу почувствовал, что жители охвачены какой-то смутной тревогой. У дверей банка собралась кучка чиновников, беседующих вполголоса; в аптекарском магазине тоже

происходило совещание; у служащего в конторе по продаже недвижимого имущества вид был еще пасмурнее, чем обычно. Заведующий почтовой конторой, пренебрегая своими обязанностями, стоял, заложив руки за спину, и смотрел в окно, выходящее во двор.

Майкель увидел Рэнни Киппа, идущего по лужайке.

— Алло!—крикнул он молодому ученому.—Какое бедствие постигло деревню?

Кипп засмеялся и положил руку на плечо Майкелю. Он принадлежал к той категории молодых людей, которые смеются и кладут вам руку на плечо. Разговаривая с вами, они смотрят на проходящих женщин, оглядываются и провожают их глазами.

— А вы что здесь делаете?—насмешливо-суровым тоном спросил Кипп.—Имеется ли у вас специальное разрешение на осмотр Старого Хэмпдена?

— Я?—отозвался Майкель.—Я приехал с Гюсом и Теодором. Они отправились покупать провизию, и мы условились, что я буду ждать их здесь, на лужайке. Но что такое здесь происходит?

— О, вы спрашиваете, почему волнуется население?—засмеялся Кипп.—Граждане суетятся? Видите ли, я только что уведомил их о своем решении, и оно было принято без всякого энтузиазма.

— Какое решение? О чем вы их уведомили?

— Я принял решение отныне не гнать больше спирта... Да, старина! Бутлегер начинает новую жизнь... Честный молодой человек возвращается в лоно церкви... Старый Хэмпден в отчаяньи...

— Вы это серьезно?—осведомился Майкель.—Или по своему обыкновению шутите?

— Никогда еще я не был столь серьезен,—ответил

Кипп.—Я стыжусь этого дурацкого занятия, Майк... Больше я не буду изготовлять спирт. Вот деревня и волнуется.

И в самом деле, деревня волновалась. Какой смысл осыпать почестями и наградами безответственных молодых людей, которые этих почестей недостойны? В это ясное утро жители Старого Хэмпдена скисли—свернулись, как молоко.

— Но почему?—спросил Майкель.

— О, это длинная история,—вздохнул Кипп.—Могу я поговорить с вами откровенно? Знаете, мне бы хотелось попросить у вас совета... Скажите, могу я быть с вами до конца откровенным? Я хочу поговорить...

— Ну, конечно. Расскажите, чем вы так озабочены.

У Киппа физиономия была глубокомысленно серьезная, когда он взял Майкеля под-руку и повел его к павильону для оркестра, находившемуся посредине лужайки.

— Посидим в этом павильоне,—сказал он,—здесь тишина и прохлада.

— Не говорите столь высокопарно, Рэнни,—посоветовал Майкель,—вам это не к лицу.

— Дело очень серьезное,—заявил молодой человек.— Чрезвычайно серьезное... Во всяком случае—для меня.

Минуты две он сидел молча, подперев голову руками и уставившись в пол. Казалось, он внимательно разглядывал свои ботинки.

Майкель следил за ним и, наконец, решил подбодрить молодого человека.

— Это имеет какое-нибудь отношение к вашим ботинкам, Рэнни? Если вы хотите знать, где можно купить прекрасную обувь...

— Никакого отношения к обуви это не имеет,—неожиданно перебил Кипп, выпрямился и посмотрел Майкелю прямо в лицо.—Я буду говорить без всяких предисловий. Быть может, вы удивитесь, если я вам скажу, что влюблен в одну молодую лэди...

Майкель не мог не улыбнуться. В продолжение последних двух недель лихорадочное ухаживание Киппа за мисс Элис Уэйн служило неисчерпаемой темой разговоров в гостинице «Горное Эхо». Его влюбленность бросалась в глаза не меньше, чем гора «Том».

— Да неужели!—воскликнул Майкель.—Что вы говорите?! Кто же эта молодая лэди?

— Я влюблен в мисс Уэйн,—со вздохом проговорил бедняга.—Безумно влюблен в нее, старина. Вы ничего не имеете против того, что я говорю так откровенно? Я еще никогда никого не любил... Конечно, я... знаете ли... как все мужчины... да, случалось увлекаться, но...

Он что-то пробормотал, но Майкель не расслышал.

Майкель заметил, что сосредоточенность Киппа граничит с умопомешательством. Истинная любовь есть своего рода душевное заболевание, протекающее при высокой температуре; больного знобит, у него заплетается язык. Люди болеют любовью раза три-четыре, не чаще; иные—только один раз. Затем душа становится иммунной: так невосприимчив к кори организм человека, уже перенесшего корь.

Истинная любовь человека, который любит впервые, нимало не похожа на любовные увлечения тех, кто закален любовью. Люди, невосприимчивые к этой болезни, влюбляются часто, но их влюбленность обусловлена интеллектом и половым влечением и, в сущности, относится к области эстетики.

— Мне кажется, и Элис вами интересуется,—заметил Майкель.

— Она говорит, что я ей нравлюсь,—чуть слышно сказал Кипп.—Да, я это знаю... Я чувствую, что недостоин ее любви... Из-за нее я решил бросить свою профессию. Проклятие! Не могу же я торговать виски и любить Элис!.. Это несовместимо...

— Она вас просила бросить это дело?

— Нет, не просила,—ответил Кипп.—По ее словам, ей даже нравится, что я бросаю вызов обществу. Но какой это в сущности вызов? Просто грязное занятие, вот и все. А все-таки, старина, очень мило, что она мне так сказала. Я еще сильнее ее полюбил, если это только возможно.

— Гм...—протянул Майкель.—Так... а почему вы решили, будто она вам сказала не то, что думала? Быть может, она хочет, чтобы вы не бросали вашей гнусной профессии. Вы уверены, что она этого не хочет?

— Что вы говорите!—удивился Кипп.—Она—девушка изящная... утонченная... Должно быть, на нее профессия бутлегера производит отталкивающее впечатление. И, знаете ли, она права. Конечно, мне она этого не скажет... Щадит мое самолюбие... боится обидеть... Вот я и не стал ждать, чтобы она мне сама сказала, и сегодня покончил с виски.

— Так... что же вы теперь будете делать?

— У меня есть кой-какие сбережения,—ответил молодой человек,—и я хочу заниматься экспериментальной работой. Подумываю о том, чтобы писать статьи в научные журналы...

— Я замечаю, что теперь вы каждый день надеваете ваш новый костюм,—сказал Майкель.

— Да... Больше я не хочу походить на бродягу... Послушайте, я хотел с вами посоветоваться...

Кипп замялся, а Майкель терпеливо ждал.

— Никому ни слова об этом не говорите,—начал молодой человек.—Даже м-с Уэбб.

— Никому не скажу,—обещал Майкель.

— Пожалуй, не следовало бы мне вам говорить, но... быть может, вы мне дадите какой-нибудь совет... Ведь вы меня понимаете, не правда ли?

— Да. Понимаю... Я буду хранить вашу тайну.

Наконец, Кипп поделился своими заботами. Рассказ его был растянут, перегружен деталями и отступлениями, голос прерывался. Так обычно говорит мужчина, признающийся приятелю в том, что он влюблен... Иногда мужчины хвастаются своими любовными похождениями, считают их своего рода доблестью, но никогда не хвастаются тем, что влюблены. Когда они говорят о своей любви другим мужчинам, это не похвальба, а исповедь. Почти все мужчины считают нужным говорить о великих страстях извиняющимся тоном.

Рэнни сообщил, что он любит мисс Уэйн, и она его любит; так она ему сказала. Он знал, что она к нему неравнодушна, но чувствовал себя недостойным ее любви...

— Со временем вы почувствуете себя более достойным,—перебил Майкель.—Время излечивает этот недуг.

Но несмотря на то, что они оба друг друга любят, мисс Элис Уэйн не хочет выходить замуж за м-ра Киппа. Так она ему и сказала... очень решительно... Нет, мягко... мягко, но решительно.

— Почему?—спросил Майкель.

— Я вам объясню... Я было подумал, что мы обручились... То-есть, я хочу сказать... ну, словом, дело

было так: однажды, после полудня мы с ней сидели в фруктовом саду под яблоней и беседовали... Говорили мы на разные темы, а думал я только о том, как сильно я ее люблю. Я догадывался, что и она в меня влюблена... Видите ли, старина, женщин я все-таки знаю, хотя сейчас вы наверное считаете меня дураком.

— Я не сомневаюсь, что вы женщин знаете,—отозвался Майкель.

— Да... Долго мы сидели и разговаривали, наконец, решили итти домой. Когда мы встали, мне вдруг захотелось ее поцеловать... и я поцеловал. Не знаю, почему мне пришло это в голову... Вокруг нас были розовые цветы яблони, и свет падал как-то странно... тень и солнечные пятна. Чертовски романтично...

— Она рассердилась, когда вы ее поцеловали? Обиделась?

— Нет, ничуть не обиделась,—объявил молодой человек.—Она меня тоже поцеловала... Я ужасно глупо рассказываю... В сущности, это к делу не относится... Боюсь, как бы вы не подумали, что я легкомысленно...

Майкель положил руку на плечо Киппа.

— О, нет!—сказал он.—Я понимаю. Вы ее так сильно любите, что не могли удержаться, чтобы не поцеловать... и вас удивило, что она вернула вам поцелуй. Из-за этого я отнюдь не намерен изменять свое мнение о ней... или о вас.

— Да... Мы стояли в саду, она положила мне голову на плечо, я обнял ее за талию и гладил по голове... Мы перебросились несколькими словами... Я решил, что она согласна выйти за меня замуж, но на деле оказалось не то...

Он нахмурился и умолк, но через секунду снова заговорил:

— Я хочу на ней жениться... Безумно ее хочу.

Майкель, словно врач, присутствующий на консилиуме, торжественно кивал головой.

— Понимаю,—сказал он.—Понимаю... Очевидно, произошло недоразумение. Что вы ей говорили, пока стояли в саду и гладили ее по голове?

Кипп поднял голову.

— О, я не помню, что я ей говорил. Разве можно было запомнить? Кажется, спросил ее, согласна ли она быть моей, а она сказала, что согласна. Говорил о том, как я счастлив, а она сказала, что тоже счастлива... Тогда я еще раз ее поцеловал.

— Видимо, вы больше целовались, чем разговаривали,—заметил Майкель.

— Ну, естественно... Гораздо больше... Она не хочет выходить за меня замуж.

— Разве она вас уже разлюбила?

— Нет, любит, говорит, что любит,—ответил молодой человек, рассеянно глядя на окаймляющие лужайку вязы. Через секунду он с горечью добавил:—Она хочет жить со мной, не вступая в брак.

Майкель был удивлен, страшно удивлен, но он привык скрывать удивление под маской холодного равнодушия.

— Вы должны чувствовать себя польщенным, Рэнни,—заявил он.

— Да... Чорт возьми... совершенно верно,—согласился Кипп,—но я этого не хочу. Да и она не хочет... Если бы только она знала, чего она хочет...

— Почему вы думаете, что она не знает?—спросил Майкель.

— А как может она знать? Она—целомудренная девушка, и в таких делах ничего не понимает.

— Вы хотите сказать, что целомудрие затуманивает рассудок?

— Нет, не то... совсем не то... Просто у нее не было опыта и...

Неожиданно он оборвал фразу, захваченный новой мыслью, и вопросительно посмотрел на Майкеля.

— Ведь вы с ней не согласны, не правда ли? Вы не думаете, что нам следует жить вместе, не вступая в брак?

— Нет, не думаю,—ответил Майкель,—раз вы оба свободны и друг друга любите... Брак—пустая формальность, но зачем возражать против формальности?

— То же самое и я говорю,—воскликнул молодой человек.—Впрочем, я это считаю не только пустой формальностью...

— Да, вы придерживаетесь мужской точки зрения.

— Что вы хотите этим сказать?

— Видите ли, вы говорите, что она сама не знает, чего хочет,—стал объяснять Майкель.—Выставляете ее какой-то дурочкой. С презрением относитесь к ее взглядам... Так нельзя подходить к такой развитой, интеллигентной женщине, как Элис... Быть может, она ошибается... судит неправильно... но ваше заявление, будто она сама не знает, чего хочет, ни на чем не основано.

— Да, да, понимаю,—поспешно сказал Кипп.—Я был неправ... Но вы сами говорите, что считаете ее мнение ошибочным...

Майкель перебил его.

— Скажите, чем объясняет она свое желание жить с вами не сочетаясь браком?.. Иными словами—быть вашей любовницей?

Влюбленный вздохнул, как вздыхают все влюбленные.

— Это вызов. Она презирает все условности... мораль... Хочет доказать, что ей нет дела до условностей...

— У вас были любовницы... незаконные связи... не правда ли?—осведомился Майкель.

Этот вопрос он задал из вежливости. Любовные похождения Рэнни Киппа не были тайной для обитателей Старого Хэмпдена. Однажды он шокировал всю деревню, вызвав из Нью-Йорка хорошенькую стриженую женщину; он выдавал ее за свою кузину, и они прожили вместе около месяца. Эта авантюра временно поколебала его престиж в деревне.

— Да... были...—отозвался Рэнни.—И какой-то назойливый дурак уже успел кое-что рассказать Элис. Но она отнеслась к этому равнодушно.

— Так... значит, она не придает значения... Мне бы хотелось задать вам один вопрос... Но не сочтите это за праздное любопытство... Почему вы не живете с ней как... с любовницей, раз она этого хочет?

— О, я не могу!—быстро ответил Рэнни.—Не могу...

— Но жили же вы с другими женщинами?

— Да, но это совсем другое дело. То были женщины... гм... ну, скажем, с прошлым... А мисс Уэйн—целомудренная молодая девушка. Послушайте, старина, неужели вы не понимаете разницы? Мне нужна жена, а не любовница.

Майкель кивнул.

— Понимаю,—коротко сказал он.—Видимо, ей нужен, так сказать,—пробный брак.

— Вот именно,—согласился Кипп.—Пробный брак. Но какой в этом смысл?.. Мне лично все равно... Я и так заслужил репутацию человека безнравственного, но ведь очень многие будут смотреть на Элис сверху вниз, говорить о ней как о развратной женщине. Чорт возьми! Не могу же я допустить, чтобы ее обливали помоями!

Майкель задумался над тем, какие чудеса творит мораль, превращающая развратника в фанатика-ханжу.

— А кроме того,—продолжал Рэнни,—если бы она вышла за меня замуж, она могла бы в любой момент развестись со мной. Я ей так и сказал. Этот пробный брак можно растянуть на всю жизнь. Но в таком случае зачем...

— Быть может, этого требует стремление ее к свободе или авантюризму,—сказал Майкель.—А теперь объясните, чем я могу быть вам полезен?

— Не будете ли вы так добры, не поговорите ли с Элис?—отозвался молодой человек.—К вам она относится с большим уважением... Поговорите с ней, дайте ей понять, какими последствиями грозит то, что она предлагает.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

Блестящий автомобиль Гюса Бюфорда остановился неподалеку. И Гюс и м-р Придделль замахали руками, приглашая обоих собеседников занимать места.

— Нужно итти,—сказал Кипп.

Когда они брели по лужайке, он спросил:

— Вы переговорите с Элис, не правда ли? Объясните ей, насколько нелепо ее желание?

Он чувствовал себя маленьким и ничтожным; так чувствуют себя мужчины, когда просят приятелей помочь им в их любовных делах. Любовь не терпит вмешательства. Одна мысль о советах и обсуждениях приводит в отчаяние. Бедняга Кипп пожалел о том, что начал этот разговор с Майкелем, но было уже поздно.

— Я подумаю...—заговорил было Майкель, но Рэнни коснулся его руки.

— Не нужно, старина... не нужно,—сказал влюбленный.—Забудьте об этом! Я и сам как-нибудь справлюсь. Мне неприятно, что я вас впутал в эту историю.

Майкель понимал состояние молодого человека и поспешил его успокоить.

— О, пустяки! Вы меня не впутывали... Элис—мой

друг... Мы с женой знаем ее уже много лет... были знакомы с ее бабушкой...

— Плохи дела,—говорил Гюс м-ру Приддеплю, когда Майкель и Кипп уселись в автомобиль. Гюс сидел у рулевого колеса и походил на темную трясущуюся глыбу из желе.—За несколько лет это самый неудачный сезон. Сегодня я ждал двух новых гостей. Комнаты для них были оставлены, а они не приехали. Да, плохо идут дела.

— Совершенно верно,—отозвался м-р Придделль, когда автомобиль помчался по дороге.—Дела всегда идут плохо. Двадцать лет я занимаюсь коммерцией, и не было еще такого года, когда бы дела шли хорошо... Или у нас застой в делах, или мы оправляемся после периода застоя, или ждем краха. Дела всегда плохи, иначе и быть не может.

— Но во время войны, Теодор, дела шли превосходно,—вмешался Майкель.

— Да-а-а, правда, — нерешительно протянул м-р Придделль,—но и тогда все знали, что подъем не может быть длительным, а это сознание убивает энтузиазм.

Кипп наклонился и шепнул на ухо Майкелю:

— Я не хочу, чтобы м-с Уэбб или кто бы то ни было знал о нашем разговоре.

— Я никому ни слова не скажу,—успокоил его Майкель.

Через секунду Майкеля осенила идея... ослепительная идея. Он весело улыбнулся, словно неожиданно нашел в жилетном кармане двадцатидолларовый билет.

— Знаете ли, Рэнни, я решил не говорить с Элис,— сказал он молодому человеку.—Лучше будет, если вы сами с ней поговорите.

Кипп выпрямился и сухо кивнул Майкелю.

— Хорошо,—согласился он,—не следовало мне надоедать вам моими делами.

Он был слегка обижен равнодушием Майкеля и не мог скрыть недовольство.

Как нелепы и взбалмошны люди! Пять минут назад Кипп отказался от помощи Майкеля, а сейчас чувствовал себя покинутым и обиженным, потому что Майкель его отказ принял.

Все это Майкель прекрасно понимал, но делать было нечего. Он не хотел преждевременно открывать свои планы. За это время он успел притти к следующему решению: нужно заставить Эрнеста Торбэя поговорить с мисс Уэйн о любви и браке. Торбэй разделял убеждения мисс Уэйн, но развил их до предельной точки. Вероятно, Элис это неизвестно, размышлял Майкель, а если она и знает, то, во всяком случае, не чувствует.

Нелегко будет создать условия, способствующие такому разговору; Торбэй и Элис не должны подозревать, что это заранее подстроено... Майкель хотел только, чтобы Элис услышала рассуждения Торбэя о любви.

Действовать нужно было ловко и осторожно. В присутствии Торбэя Элис всегда молчала... видимо, он ей не нравился, но книги его она любила... Необходимо их свести... и оставить вдвоем на час или на два.

— Конечно, мое положение вы понимаете,—неожиданно заговорил Кипп, нарушая ход мыслей Майкеля.— Я боюсь впутать малютку в скверную историю. Она не знает, что это значит... не знает жизни... Надеюсь, вы меня не считаете тупым моралистом?

— Нет, конечно, не считаю,—успокоил его Майкель.

2

Пока происходил этот разговор между Майкелем и растерявшимся влюбленным, автомобиль мчался по дороге, а Гюс обсуждал с м-ром Приделлем грандиозный проект.

Мы забыли упомянуть своевременно о том, что м-р Приделль был прирожденным организатором. Куда бы он ни попал, тотчас же он начинал что-нибудь организовывать.

И в гостинице м-р Приделль занимался организационной работой... Юмористическая газета... спектакли... теннис... верховая езда... М-ру Приделлю казалась, что больше уже нечего делать... Затем его осенила мысль организовать пикник.

Гюс с энтузиазмом поддерживал эту мысль. Гости, слуги—все ее одобрили. Предложение было принято единогласно, и м-ру Приделлю поручили привести замысел в исполнение.

Пикник должен был состояться в четверг на озере Бельведер. Сегодня был вторник, и Гюс нагрузил автомобиль покупками, предназначавшимися для устройства пикника. Хозяин гостиницы и гость-организатор восседали на переднем сиденьи и обсуждали программу празднества. Эту программу м-р Приделль держал в руке и время от времени делал отметки карандашом. Он был одним из тех, кто для всех случаев жизни составляют программу. Он не подозревал, что участники пикников веселятся не по программе.

День он разделил на получасовые периоды. Каждое развлечение должно было отнимать не больше тридцати минут. Прогулка вокруг озера—тридцать минут...

— Придется бежать во всю прыть,—заметил Гюс.

...Гимнастические упражнения—тридцать минут; купанье в озере—тридцать минут; завтрак—тридцать минут...

— Для еды я бы уделил час,—сказал Гюс.

...беседа и отдых—тридцать минут.

Неудивительно, что многие ненавидели Теодора Придделля, хотя сердце у него было золотое.

— Ну, Теодор, какова программа грандиозного пикника?—осведомился Майкель.

— Выдающаяся программа!—ответил Теодор.—Я вас записал, как искусного пловца и ныряльщика. Я слыхал, что вы замечательно ныряете.

— О, да!.. И умею лазать по деревьям. Великолепно взбираюсь. Я это могу продемонстрировать. Занесите в программу.

М-р Придделль послушно сделал отметку и сказал:

— Знаете, чего нам не хватает? Нам нужен гвоздь празднества... чтобы этот день у всех остался в памяти.

— А как насчет моего номера,—как насчет вскарабкиванья на деревья?—поинтересовался Майкель.—Быть может, это и будет гвоздем?

— Я говорю серьезно. Дело не шуточное. Нам нужен гвоздь... что-нибудь такое, о чем все будут вспоминать.

— Ладно, придется подумать,—отозвался философ.

Когда автомобиль въехал во владения Гюса Бюфорда, Майкель увидел, что Сэмуэль Харлей отложил утреннюю газету и вышел на дорогу. Жестом подозвал он Майкеля Уэбба.

3

— Я открыл тайну Торнтонов,—объявил Харлей, когда Майкель подошел к нему.

— Иными словами, вы узнали, зачем они сюда приехали?

Харлей молча кивнул головой и приложил палец к губам. Вид у него таинственный.

— Ну, в чем дело, Сэм?—спросил Майкель, выдержав паузу.—Пожалуйста, не изображайте из себя Шерлока Холмса.

— Следуйте за мной!—скомандовал журналист.

Он быстро зашагал по направлению к маленькой рощице за ригой; Майкель шел за ним. Дойдя до деревьев, Харлей остановился и осторожно осмотрелся по сторонам.

— Здесь мы находимся в полной безопасности,—сказал он.

— Что за глупости!—недовольно протянул Майкель.

Он споткнулся о камни развалившейся стены, расцарапал руку кустом терновника и был не в духе.

— Я хочу вам сообщить о том, что мне удалось разузнать, но нужно остерегаться, чтобы нас не подслушали.

Майкель секунду помолчал. Он решил до поры до времени не высказываться. Когда они уселись в тени клена, он сказал:

— Быть может, не мешает надеть противогазовые маски?..

И этим замечанием ограничился.

— Слушайте,—начал Харлей,—все это может вам по-

казаться странным, но история столь таинственна, что необходимо соблюдать предосторожность.

— Пожалуй,—согласился философ,—но мне кажется, можно быть осторожным и все-таки не хватать через край.

— Майкель, знаете ли вы человека по фамилии Стэденбери?—неожиданно спросил журналист.

— Нет, не знаю.

— Подумайте... быть может, вы знаете... Стэденбери...

Майкель снова заявил, что никакого Стэденбери не знает.

— Вы говорите,—продолжал Харлей, подчеркивая каждое слово,—что не знаете Херберта Стэденбери?

Майкелю показалось, что мимолетная улыбка скользнула по лицу Харлея.

— Да, я вам уже сказал,—ответил он.

— Очень странно,—заявил журналист.—Быть может, вы забыли... Стэденбери... Херберт Стэденбери... высокий, напыщенный мужчина средних лет, с бакенбардами и большим носом...

— Не знаю,—сказал Майкель.—Если бы я встретил кого-нибудь по фамилии Стэденбери, я бы его запомнил.

Казалось, Харлей был сбит с толку. Медленно закурил он папиросу.

— Куда вы в сущности клоните?—спросил Майкель.

Ответа на этот вопрос не последовало.

— А теперь вы, быть может, мне скажете, что никогда не слыхали о старом Ароне Миддлтоне, о миллионах Миддлтона и его наследниках?—продолжал Харлей.

Майкель расхохотался.

— Я несколько месяцев не ходил в кино,—объявил он.—Это новый фильм?

— Не смейтесь,—остановил его Харлей.—Я вас спрашиваю о том, что вы должны знать. Итак, вы никогда не встречали старого Арона Миддлтона и понятия не имеете о наследниках, миллионах...

— И Стэденбери,—подсказал Майкель.—Поймите, что я решительно ничего не знаю, и расскажите, в чем тут...

— Один момент! Один момент!—властно перебил его Харлей.—Попытаюсь подойти к вам с другой стороны. Слушайте, вы знакомы с Миртль Ван Дузен?

— С Миртль Ван Дузен?—задумчиво переспросил Майкель.—Кажется, нет. Что-то не припоминаю. Она—молодая или старая?

— Лет тридцати пяти... носит красную шляпу с пером... красива... очень красива...

Майкель призадумался.

— Когда-то я знал семью Ван Дузен... но не помню, как звали дочерей... Быть может, одна из них была Миртль...

— У этой есть прозвище—Миртль-Ведьма...

— Никакой Миртль-Ведьмы я не знаю... Послушайте, Сэм, что это значит? Что за чепуха?.. Какое это имеет отношение к Торнтонам или ко мне?

— В этом причина приезда Торнтонов. А я хотел предварительно выяснить, знаете ли вы кого-нибудь из действующих лиц этой драмы. Очевидно, вы никого не знаете. Сейчас я вам расскажу все по порядку. «Прежде всего должен сказать, что сведения получены мною не от Торнтонов. Они понятия не имеют,

что я открыл тайну... и я не хочу, чтобы они знали... Понимаете?»

— Да, да,—отозвался Майкель.—Но от кого же вы получили эти сведения?

— От корреспондента «Обозрения» в Лос Анджелосе. К тому же и сам собирал сведения по кусочкам и склеивал. Беседуя с м-ром и м-с Торнтон, я узнал, где жили они в прошлом году. Оказывается, они колесили по стране и в некоторых местах застревали надолго. Я протелеграфировал нашим корреспондентам и попросил их прислать мне все сведения, какие они сумеют собрать. Большинство так ничего и не прислало, но случайно один из наших корреспондентов хорошо знает Торнтонов, и они ему рассказали всю историю... конечно, не для того, чтобы он ее опубликовал... Я не собираюсь помещать ее в газете.

— Ну, рассказывайте!—попросил Майкель.

— Видите ли, одним из близких друзей м-ра Торнтона был желчный старый миллионер Арон Миддлтон...

— Владелец миддлтоновских миллионов,—вставил Майкель.

— Совершенно верно,—подтвердил рассказчик,—а вы сказали, что его не знаете.

— Да, я его не знаю, но вы сами упоминали о миддлтоновских миллионах, вот я и решил, что они принадлежат ему.

— Принадлежали... а сейчас уже не принадлежат, потому что он умер. Это был желчный старый миллионер, никого у него не было, ни детей, ни родственников, но Торнтонов он считал близкими своими друзьями. Перед смертью он открыл свою тайну этой достойной паре. Он хранил ее всю жизнь, никто из его слуг и

знакомых ничего не подозревал. Она отравляла ему существование. Приятели прозвали его «Молчаливым Миддлтоном».

«Оказывается, в молодости он был женат, но друзья считали старого мрачного финансиста убежденным холостяком...»

На этом месте Майкель снова прервал рассказчика.

— Послушайте, Сэм, не можете ли вы обойтись без слов «желчный» и «мрачный»? Я был бы вам очень признателен.

— Постараюсь,—вежливо сказал журналист.—Итак, он сообщил м-ру и м-с Торнтон, что в далеком прошлом был женат. Его жена, славившаяся своей красотой, любила повеселиться, а он интересовался только своими делами. Между ними часто происходили разногласия, и кончилось тем, что она сбежала с одним танцором, профессионалом... Она любила танцы и ушла от мужа, увлеченная бешеным танцем жизни. Больше он ее не видел.

«Она взяла с собой детей... прелестного мальчика и девочку. Это его едва не сломило. Он делал отчаянные попытки отыскать ее, чтобы вернуть детей, но она и этот негодяй, похитивший ее сердце, так замели следы, что... нет, тут я немножко напутал. Года через три-четыре после ухода жены м-р Миддлтон напал на ее след. Она бросила танцора и сошлась с кем-то другим. Детей она взяла с собой.

«Здесь нить обрывается. Имя второго ее любовника неизвестно. Несомненно, она носила его фамилию и изменила фамилию детей.

«Лежа на одре смерти, м-р Миддлтон отдал миддлтоновские миллионы старому своему другу Торнтону на

хранение и поручил ему отыскать пропавших детей... К этому поручению Торнтоны отнеслись, как к священному долгу, и с тех пор рыщут по всей стране, отыскивая детей».

— Сколько лет детям?—осведомился Майкель.

Харлей призадумался.

— Дайте припомнить... Ах, да! Уолдемару сейчас лет под сорок, если он еще жив, а Омеле—тридцать восемь.

— Омела?—переспросил Майкель.—Что это за имя? *

— Женское имя,—ответил Харлей.—Омела Миддлтон.

— Неудачное имя для женщины... оно может ей причинить немало хлопот,—заметил философ.—А где же миллионы?

— Зарыты... Огромный сундук, набитый золотом... Торнтон сказал нашему корреспонденту в Лос Анджелосе, от которого я получил все сведения, что никто, кроме него и его супруги, не знает, где спрятаны миддлтоновские миллионы.

— О, господи!—воскликнул Майкель.—Оказывается, эти скучные люди начинены секретами и тайнами!.. Но почему старик Миддлтон не написал завещание? Ведь он мог оставить свои деньги на хранение какой-нибудь компании с тем условием, чтобы они были переданы его детям, если те объявятся.

Харлей и сам не знал, почему завещание не было написано. Он предполагал, что м-р Миддлтон боялся юридических придирок и попытки оспаривать завещание.

---

* Mistletoe — омела.

— Как бы то ни было, но Торнтоны разъезжают на автомобиле, разыскивая наследников. Действуют они втихомолку, ибо опасаются незваных претендентов на наследство.

— Ах, наконец-то я понял!—воскликнул Майкель.— Они приехали сюда, ко мне, потому, что, по их мнению, я могу оказаться одним из наследников. Вот оно что! Как это ни странно, но, быть может, я и в самом деле— Миддлтон. То, что вы мне рассказали, проливает свет на кое-какие странные факты, известные мне с детства. Знаете ли вы, что все, касающееся моих родителей, окутано тайной! Я не знал ни отца, ни матери... я их не помню... Но мне известно, что моя мать была женщина редкой красоты. Когда я был мальчиком, Сэм, мне часто приходилось слышать разговоры о танцах... о танцорах... о безумной пляске... Запомнилось выражение «бешеный танец жизни». Мне говорили, что я—прирожденный танцор.

«Быть может, вам известно, что в детстве меня звали Уолдемаром? Да, я—Уолдемар Уэбб. Но мне эта аллитерация пришлась не по вкусу, и я переменил имя Уолдемар на Майкеля».

На это заявление Харлей хотел было ответить презрительной насмешкой, но неожиданно улыбнулся, что было ему совсем не свойственно.

— Что и говорить, вы—ловкий парень!—заметил он.—Вероятно, вашу сестру зовут Омелой? Я об этом спрашиваю исключительно из любознательности... Ведь вы как будто удивились, узнав, что это женское имя?

— О, у нас в семье ее никто не называл Омелой,— ответил Майкель.—Мы ее звали Мэри. Ее имя—Мэри О. Уэбб или, полностью, Мэри Омела Уэбб. Но мы всегда

называли ее Мэри. Вот почему это имя показалось мне незнакомым.

— Неудачное объяснение,—заявил Харлей.—На основании этих данных вам не удастся получить миддлтоновские миллионы.

— Мои права на наследство будут признаны. Можете в этом не сомневаться. Пока есть у нас правосудие, я... О, господи! Я только что вспомнил миниатюру в красках—портрет меланхоличного почтенного человека, который, как мне говорили, был моим отцом.

— Постарайтесь еще что-нибудь вспомнить,—посоветовал Харлей. Он прислонился к дереву и приготовился слушать.

— Нет, я передаю слово вам,—сказал Майкель.— Я вас перебил, простите. Кто этот Стэденбери? И эта леди... Миртль-Ведьма?

— Стэденбери—талантливый сыщик, который вмешался в это дело. Он обратил внимание на то, что после смерти мрачного старого финансиста осталось всего-навсего восемьдесят пять долларов и серебряные часы. Ему показалось странным, что миддлтоновские миллионы исчезли...

— Должно быть, он—очень неглупый человек,—вставил Майкель.

— О, да!.. Талантливый сыщик. Ни одна мелочь от него не ускользнет. Итак, он понял, что миддлтоновские миллионы исчезли. Он никому не сказал ни слова и, словно ищейка, бросился по следу. След привел его к Торнтонам. Он потребовал от них объяснений, но они показали ему бумаги, подписанные...

— Желчным старым миллионером,—подсказал Майкель.

— Да. И он удовлетворился их объяснением. Вся история ему известна, не знает он только одного: где спрятаны миллионы. Бо́льшую часть времени он тратит на то, чтобы узнать, где они, и пристает к Торнтонам. Обещает помочь им отыскать наследников Миддлтона, если ему скажут, где миддлтоновские миллионы. Но Торнтоны отказываются говорить. Никто не должен знать, где находятся эти миллионы, до тех пор, пока поручение ни будет выполнено и деньги возвращены законным наследникам—Уолдемару и Омеле.

— А что вы знаете о Миртль?

Харлей перевел дыхание и продолжал:

— Миртль Ван Дузен, одна из замечательнейших женщин нашего века, сбилась с пути добродетели. Если бы свой блестящий ум, свою красоту, свои чары она посвятила какому-нибудь достойному делу, весь мир услышал бы о ней, но...

— Но сейчас она—просто Миртль-Ведьма,—закончил Майкель.

— Вот именно... Очень немногим известна ее фамилия—Ван Дузен. Все ее знают, как Миртль-Ведьму... в отелях, в поездах, за границей, на родине... даже родные пользуются этим прозвищем.

«Миртль Ван Дузен—единственный человек, которому известно местопребывание пропавших наследников. Она утверждает, что может отыскать их в двадцать четыре часа...

«Но она требует, чтобы ей заплатили за это миллион... говорит, что Торнтоны должны выложить миллион чистоганом».

— Миллион чистоганом!—воскликнул Майкель.—Да ведь это шантаж! Я не потерплю! Они не имеют права

отдавать этой ведьме миллион долларов из моего наследства!

— О, они и не собираются.

Майкель посмотрел на часы и вскочил.

— Славная сказочка, Сэм,—сказал он,—и очень занимательная. Вы сами ее сочинили?

— Конечно, нет... Неужели вы думаете, что я все время вас дурачил?—отозвался журналист.—Чорт возьми! Вы можете взглянуть...—Он вытащил из кармана пачку бумаг, напечатанных на машинке.—Вот полный отчет об этом деле... вся история, как я вам ее рассказал.

Майкель отмахнулся от бумаг.

— Не хочу читать, благодарю вас. Вы знаете, не хуже меня, что все это чепуха... и Миддлтон и наследники... ничего этого нет....

— Конечно, знаю, но не я это сочинил, а Торнтоны. Это их история, а не моя.

Майкель Уэбб снова уселся под деревом.

— Пора завтракать,—заметил он,—но я должен дослушать сказку до конца. Вы говорите, что они сами ее сочинили. Расскажите мне все подробно.

— Да, они ее сочинили. Видите ли, делать им нечего, они разбогатели и, должно быть, смертельно скучают от безделия... Понимаете?.. Они жили в Холливуде, в атмосфере кино... и от скуки сочинили свой собственный сценарий... Теперь они разъезжают по всей стране и разыгрывают его.

— Чорт возьми, Сэм, да ведь это чрезвычайно интересно для психолога!—заметил Майкель.—Взрослые люди играют в детскую игру, не так ли?

Харлей засмеялся.

— Я знал, что это вас заинтересует.

— Заинтересует!—воскликнул Майкель.—Да я в восторге!.. Значит, и миддлтоновские наследники, и Стэденбери, и Миртль-Ведьма—вымышленные личности?

— Конечно. Но Торнтоны держат это в секрете, хотя я слышал, как они разговаривали здесь друг с другом, причем каждый разыгрывал свою роль... Должно быть, они стыдятся такого ребячества.

— Гм... А как разузнал об этом ваш корреспондент?— осведомился Майкель.

— Он с ними хорошо знаком. Они—его друзья. Я подозреваю, что он принимал участие в разработке сценария.

— А вы не знаете, почему они впутали меня в эту историю?

Харлей покачал головой.

— Не знаю. Вероятно, многие им о вас говорили... Конечно, они о вас слышали от дочери... Быть может, они считают вас одним из пропавших наследников. Я не удивлюсь, если в один прекрасный день они таинственно намекнут вам на исчезнувшее наследство, м-с Ванн Дузен и Стэденбери.

Когда они возвращались домой, Майкель сказал:

— Благодарю вас, Сэм, за то, что вы раздобыли для меня эти сведения. Не говорите никому ни слова. Какое-то предчувствие подсказывает мне, что я—один из пропавших наследников.

— Не правда ли, это самая нелепая выдумка, на какую только способны взрослые люди?—отозвался Харлей.

Майкель Уэбб с ним не согласился. Все гротескное его притягивало, и он сам был способен выкинуть нелепейшее коленце.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1

Мне все равно—зовут ли меня Элис Уэйн или Элис Кипп... Это не имеет никакого значения... И свободой я не особенно дорожу... Сейчас я свободна так, как только может быть свободен человек, живущий в цивилизованном обществе... Иными словами, никакой свободой я не пользуюсь. Нельзя быть свободным и жить среди людей, ибо полная свобода обусловлена презрением к правам других людей.

Мне нравится быть цивилизованной; нравится порядок цивилизованного общества. Но и авантюризм меня привлекает... В моей жизни не было ничего похожего на авантюру. Мысленно я представляю себе цивилизацию доброй старой тетушкой с конфетами в расшитой бисером сумочке... Мне нравится дергать ее за локоны, показывать ей язык... поддразнивать... не серьезно, а шутя... и потом сидеть у нее на коленях и есть конфеты.

Это так просто, но все приходят в ужас. Мужчины сумасбродничают, и никто не ставит им этого в вину... Почему женщина не может следовать их примеру? Некоторые женщины так и делают... Да, и я хотела бы хоть немножко развлечься.

И я бы могла... если бы не была такой разборчивой, чуткой и, пожалуй, высокомерной... Я не в силах поощрять мужчину, которого по-настоящему не люблю.

Я люблю Рэнни Киппа... Да, люблю... Глупый мальчик! Он считает своим долгом охранять мое доброе имя. Я не могу втолковать ему, что мне хочется уйти от всех, кто пытается охранять мое доброе имя. Мне кажется, в день моего рождения все мои родственники и весь мир решили окружить меня защитительными преградами и запретами. Мне даже не разрешили стать судомойкой в военном госпитале во Франции.

Они сделали все, чтобы я почувствовала себя маленькой и глупой.

О, как было бы хорошо, если бы мы с Рэнни жили вместе и послали к чорту всех людей с их условностями и моралью! Мужчина и женщина, которые любят друг друга истинной любовью—муж и жена. Брачные церемонии не обязательны. Я знаю, что он меня любит... Я хочу ему довериться... но, очевидно, он не доверяет мне.

Нет, я к нему несправедлива... он думает о моем же благе. Да, но я не хочу, чтобы что-то делалось для моего блага! Люди, меня окружавшие, только этим и занимались. Бабушка, тетки, все родственники, даже старый напыщенный м-р Уиншоп делали все для моего блага. М-р Уиншоп занимался этим, потому что был моим опекуном. Когда я вижу в газете карикатуру на председателя какой-нибудь железнодорожной компании, я всегда его вспоминаю.

Рэнни не заслуживает своей репутации... Он мне сказал, что стыдится ее... Думал, что я ею недовольна... что это может повлиять на мое отношение к нему... Сколько у мужчин предвзятых мнений!

Он думает, что я не хочу менять девичью свою фамилию... Сказал, что я и после свадьбы могу называть себя мисс Элис Уэйн... Он говорил на эту тему до тех пор, пока я ему ни сказала, что это никакого значения не имеет.

Впрочем, теперь это просто теория. Я выйду за него замуж; завтра я ему скажу. Не знаю, почему я изменила свое решение. В тот самый момент, когда я окончательно утвердилась в своем решении, мои убеждения словно растаяли, и я неожиданно начала думать о том, что в конце концов приятно быть замужем... вести хозяйство... не задумываться больше над какими-то проблемами... Во мне много пуританской крови...

Хотелось бы мне увидеть физиономию тети Кристины, если бы я ей написала, что я не вышла замуж, но живу с мужчиной... Я знаю, что бы она сказала... Она никогда не сомневалась, что я плохо кончу... А потом она прочитала бы письмо тете Барбаре... и побежала бы за нюхательной солью.

Тетя Барбара улеглась бы в постель—в таких случаях она всегда ложится—и слабым, угасающим голосом попросила бы нюхательной соли... потом попрекнула бы моего отца. Она мне часто говорила, что он понятия не имел о долге... По ее словам, он умел увлекать женщин... Тетя Барбара говорила об этом так, словно он был вором. Умел увлекать женщин... А я никогда не умела обращаться с мужчинами... Они меня боятся, и все словно сговорились заботиться о моей репутации.

Они были недовольны... тетя Кристина и тетя Барбара... когда после смерти бабушки я получила наследство. Эти язвительные старые девы не нуждались в

деньгах, но они считали, что я должна страдать, раз мой отец промотал состояние. Они часто повторяли, что за грехи отцов расплачиваются дети... в третьем и даже в четвертом поколении.

А что бы сказал дядя Чарльс и его семья?.. Они просто вычеркнули бы меня из списка знакомых... спокойно... без лишних слов. Им не понадобилось бы нюхательной соли... они бы предположили, что я убежала с женатым человеком... Они всегда предполагают худшее. А для меня было бы великим облегчением не ходить больше в этот скучный дом, не принимать участия в томительных разговорах.

Мне кажется, было бы ужасно забавно, если бы мы приехали в какой-нибудь отель, а нас бы выставили, потому что мы—не муж и жена. Нам бы сказали... что бы нам сказали?.. Наверно, управляющий спросил бы: «М-р Кипп, это ваша жена?» А я, не давая Рэнни ответить, выступила бы вперед: «Я—его жена перед богом»... Тогда управляющий сказал бы: «Жен перед богом мы сюда не пускаем. Убирайтесь вон!» И, быть может, нам пришлось бы всю ночь бродить по улицам...

Я рассказала об этом Рэнни, а он говорит, что никогда не поставил бы меня в такое неловкое положение... Можно принять Рэнни за узкого ригориста, но я знаю, что он неглуп.

Я начинаю понимать безнравственных людей! Они разделяются на две категории. Люди, принадлежащие к первой категории, не знают, что безнравственно... Они—высоко нравственные люди, совершающие безнравственные поступки... Для лиц второй категории—к ней принадлежит Эрнест Торбэй—безнравственность—не порок, не развлечение и не авантюра, а религия... Эту религию

они отстаивают так же горячо, как некоторые люди защищают добродетель.

Лица первой категории стыдятся безнравственности, а лица, принадлежащие ко второй категории, ею гордятся.

2

Я все еще не понимаю, что произошло со мной сегодня, когда я разговаривала с Эрнестом Торбэем... Обычно я очень хорошо владею собой... Сейчас мне хочется припомнить этот инцидент... восстановить в памяти наш разговор... разобраться в деталях.

Тон, каким говорил Эрнест Торбэй, имел бо̀льшее значение, чем все его слова. Я почувствовала какой-то аромат слов. Словно запах вкусных блюд. Я хочу вспомнить слова, чтобы оживить воспоминание об аромате.

Встретились мы с ним совершенно случайно. Майкель... м-р Уэбб... предложил мне проехаться на автомобиле. Сказал, что хочет ехать по дороге в Престон. Он придумал какое-то усовершенствование для своего автомобиля и собирался его испытать. Вот почему он меня пригласил. Майкель—прекрасный человек. С ним я бы могла говорить обо всем... Я восхищаюсь его суждениями... Пока мы ехали, я подумывала о том, что бы сказать ему... о себе и о Рэнни... Уже готова была заговорить... Впрочем, не знаю, сумела ли бы я заговорить... Это слишком близко меня касается...

Как бы то ни было, но я упустила случай... Автомобиль внезапно остановился... Майкель сказал, что карбюратор испортился... Повозившись с ним, он объявил, что должен вернуться в гостиницу за какой-то гайкой... Попросил меня постеречь пока автомобиль.

Я уселась на траве; стала срывать маргаритки и считать лепестки... дразнила муравьев, щекотала их травинками... Вдруг я увидела Эрнеста Торбэя, поднимавшегося на холм. Кажется, он ежедневно гуляет по этой дороге.

Сначала мне захотелось было встать потихоньку—он меня еще не видел—и подождать в лесу, пока он не пройдет. Потом я раздумала. Это было бы глупо. Нелепая трусость!

Не знаю, почему мне всегда хотелось избежать встречи с Эрнестом Торбэем. Жаль, что я так плохо понимаю себя. Никогда я не слышала от него ни одного слова, которое могло бы меня оскорбить... Он всегда был вежлив... любезен... но мы с ним—разные люди... ничего нет общего.

О, нет! Неверно... не может быть... есть что-то общее... мне нравятся его книги... Читая их, я замечаю, что до известной степени наши вкусы и симпатии сходны... И все-таки при нем я чувствую себя неловко... Какое-то беспокойство...

Я сидела у края дороги. Он подошел ко мне и вел себя безупречно. Минутку постоял, держа в руке шляпу; потом протянул мне букет колокольчиков, которые собрал во время прогулки. Мне ничего не оставалось, как предложить ему посидеть со мной.

Я хотела говорить на темы, лично меня не касающиеся...

3

Я должна припомнить все по-порядку... Сначала я сказала что-то о красивом виде, открывающемся с холма «Серебряный Лист», где мы сидели. Там, на вершине

холма, всегда дует ветер... На севере виден Беркшайрс, южнее—Старый Хэмпден.

М-ру Торбэю пришло в голову заговорить о геологии...

Признаться, о геологии я никогда не думала... Учила геологию в школе... показалось ужасно скучно.

Но м-р Торбэй так интересно говорил о скалах и песке, что я невольно подумала о том, как широк его кругозор. Я видела м-ра Торбэя пьяным... мерзко пьяным... непристойным... вульгарным... но вряд ли ему известно, что я его видела в таком состоянии. Если бы он знал, то, конечно, почувствовал бы стыд.

Но Торбэй, который беседовал со мной на холме «Серебряный Лист», нимало не походил на Торбэя пьяного... Даже голос был другой. Он выглядел таким холодным, бесстрастным... Я не сумею передать в дневнике то впечатление, какое он на меня произвел. Я плохо пишу... Могу только сказать, что очарование его не выразишь словами, а ведь это—бессмысленная фраза.

Я старалась выбросить из головы другого Торбэя... того, которого знала раньше. И мне это удалось. Торбэй, сидевший на холме «Серебряный Лист», был другим человеком... Разговаривая со мной, он наклонился и взял меня за руку... Я не протестовала; так ребенок протягивает руку первому встречному.

Он держал меня за руку и говорил о геологии... А я представила себе землю живым существом, рожденным в пламени... великие звезды смотрят на нее, словно далекие желтые глаза...

Он гладил мою руку, а голос его звучал тихо и нежно, хотя говорил он о вулканах и о том, как образовались эти огромные холмы... Если б он привлек меня к себе, я бы прислонилась к его плечу... словно усталый ребенок...

Да, но я ни на секунду не забывала, что существует другой, развратный Эрнест Торбэй... Все время я об этом помнила... Вот почему теперь я ничего не могу понять. Я знала одно: если говорить о мужестве и благородстве, Торбэй не выдержит сравнения с Рэнни...

Вокруг росли кусты терновника... я разорвала чулки... ветер пробегал по траве... нежные, легкие, зеленые былинки...

Он мне предложил папиросу... портсигар у него эмалевый... Я запомнила, что в портсигаре было шесть папирос... Это не имеет никакого значения, но почему-то я запомнила...

Потом он зажег спичку и протянул мне. Сквозь золотой язычек огня я видела его лицо... Сквозь золотой огонь, словно сквозь цветное стекло...

— Я бы мог вас полюбить,—сказал он спокойно, снова взял мою руку и стал ее гладить тонкими белыми пальцами. Я не отняла у него своей руки.

— Я тоже могла бы вас полюбить,—сказала я также хладнокровно.—Но этого никогда не будет... никогда.

— Знаю,—отозвался он.—Быть может, это хорошо, потому что для меня вы слишком нравственны... нет, простите, так говорить не принято... Я хотел сказать, что для вас я слишком развратен.

Я засмеялась... кажется, это был нервный смех.

— О, нравственность тут не при чем!—сказала я.— Я не хочу выходить замуж, но собираюсь жить с мужчиной, а ведь это принято считать безнравственным, не правда ли?

Не знаю, зачем я ему сказала. Это вырвалось у меня помимо моей воли.

Он, казалось, не удивился и спросил:

— Кипп?

Я кивнула.

— Я его люблю,—продолжала я,—иначе я бы этого не сделала... Я знаю, что реальна только любовь... Когда люди друг друга любят, ничего безнравственного быть не может.

— Конечно,—отозвался он.

— Я ненавижу всякие церемонии. И в конце концов мне нет дела до того, что̀ думают обо мне люди.

Он молчал, гладил мою руку и курил. Потом сказал очень мягко:

— Знаете, будь вы мужчиной,—вы были бы мною, а будь я женщиной,—я был бы вами... Для вас влюбиться в меня то же, что влюбиться в себя...—Он посмотрел на меня и улыбнулся.—Нелепо, не правда ли?

Нет, нет... о, боже!.. мне это не казалось нелепым... Хотела бы я, чтобы это было нелепо... Раньше я никогда не думала о полном раздвоении человека.. О человеке, расколотом пополам... и эти две половины—мужчина и женщина—друг друга любят... влюблены... Влюблен в самого себя... отдаешься целиком...

— Вы думаете, я не права? Я не должна жить с Рэнни, не будучи его женой?—спросила я.

Какой бессмысленный, пошлый вопрос! Я это сразу поняла. Неправа? Да разве можно спрашивать об этом человека, который не знает, что хорошо, что плохо?

— Конечно, я этого не думаю,—сказал он.—Слушайте, Мое Второе Я... слушайте... Разнообразие—вот сущность любви... Каждая женщина должна иметь несколько любовников... Сейчас вы со мной не согласны, но со временем вы к этому придете... Эта мысль, которую я сейчас высказал, всегда будет с вами... всегда...

— О, нет!—перебила я.—Никогда, никогда, никогда!.. Это пошло и унизительно!

— Поступок становится пошлым и унизительным, если мы считаем его таковым... Это вам предстоит узнать... У меня было много...много любовниц... И у вас будет много любовников...

Он приблизил свое лицо к моему и заглянул мне в глаза. Этот взгляд мне понравился. Я тоже пристально на него посмотрела.

— Слушайте,—продолжал он,—вы будете жить так, как жил бы я, если бы стал женщиной... Не бойтесь.

Вдруг он переменил тон и весело сказал:

— О, боже, какие бывают курьезные комбинации! Однажды я завел любовную интригу с матерью и дочерью одновременно, и каждая считала другую образцом добродетели.

— О, не говорите так!—воскликнула я.—Это ужасно!

— Не ссорьтесь со мной,—умоляюще сказал он и погладил мою руку.—Ничто так не ошеломляет, как первая встреча со своим вторым «я», а во мне вы видите ваше второе «я». Вот почему вы всегда меня избегали, дорогая...—Это слово «дорогая» он произнес с бесконечной грустью.—Вы волновались... Я знал, почему, а вы не знали... Теперь вы знаете... знаете... вы узнали что-то новое о своем втором «я», и больше не будете меня бояться.

— Я не боюсь... никогда не боялась,—заявила я, но меня охватило такое смятение, что вряд ли я сознавала, о чем говорю. Почему-то Эрнест Торбэй бесконечно унизил себя в моих глазах... И в то же время я была словно в экстазе... Бесконечно унизил... и все-таки он мне нра-

вился... С этим я не могла бороться... Так он сидел, держа мою руку.

— О, вы будете жить с Киппом! Это превосходно,— продолжал он спокойно и сдержанно.—Я всегда им восхищался, а теперь завидую...—М-р Торбэй запнулся; я думала, что он скажет: «завидую ему», но он этого не сказал... Он закончил так:—Я всегда им восхищался, а теперь завидую в а м.

Пропасть разверзлась между Эрнестом Торбэем и мною... Он сидел на траве, подле меня, а мне казалось, что между нами зияет пропасть... О, боже! Неужели это мое второе «я»!

Отделенный пропастью, он все еще держал мою руку.

— Прощайте,—услышала я его голос.—Я должен итти.

И он поднес к губам мои пальцы.

Смутно я поняла, что он уходит.

— Подождите,—сказала я.—Раньше, чем уйти, поцелуйте меня в губы...

Я должна была это сказать... не могла не сказать... это было сильнее меня... и в конце концов, что за беда— поцелуй двух людей, разделенных пропастью?

Он опустился на колени, обнял меня и поцеловал. Долго сидели мы так; я бессильно опустила голову на его плечо, его губы касались моих. Потом он встал, и не говоря ни слова, ушел.

Опять срывала я маргаритки, считала лепестки, дразнила муравьев и думала о том, что̀ мне делать.

Одно было совершенно ясно: я должна выйти замуж за Рэнни Киппа, во что бы то ни стало должна закрепить эту связь. Теперь я так глубоко люблю Рэнни... Люблю его как-то странно... Я так его люблю, что одна мысль о незаконной связи с ним кажется мне невыносимой.

4

Явился Майкель, принес гайку и быстро починил карбюратор. Как странно!.. Из-за какого-то гвоздя или винтика огромная машина отказывается работать и выходит из строя.

— Вы не скучали?—спросил добряк Майкель, когда мы поехали дальше.

— Нет. М-р Торбэй проходил мимо, подошел ко мне, и мы побеседовали.

— Эрнест иногда бывает очень интересен,—сказал Майкель.

— Да,—отозвалась я.—Сегодня с ним было нескучно... А знаете, я выхожу замуж за Рэнни Киппа.

— Поздравляю!—воскликнул Майкель.—Вот так неожиданность!

Да, так он сказал, но мне показалось, что он не особенно удивился.

— Как вы думаете, можно ли будет устроить свадебный пир в гостинице?—спросила я.

— Конечно! И повенчаться вы можете здесь.

— Нет,—сказала я.—Я хочу венчаться в церкви, с соблюдением всех формальностей.

— Ну, что ж, дорогая моя, в Старом Хэмпдене есть церковь и священник... Мы можем пригласить двух священников, если одного вам мало.

— Нет,—сказала я,—хватит и одного.

Потом я попросила его никому не говорить ни слова, так как Рэнни еще не знает.

Я хочу ему сказать завтра, на пикнике.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

1

— В конечном счете...—выразительно начал м-р Приделль, но в этот момент м-р Тангрин стал читать вслух книгу, которую держал в руке.

Сара, герцогиня Мальборо, особа со странностями, питала дружескую привязанность к драматургу Конгриву...

М-р Приделль немедленно повысил голос и заговорил громко и запальчиво, а м-р Тангрин, у которого голос был высокий и тонкий, умолк и сдвинул очки на кончик носа. Однако книги он не захлопнул, и всем было ясно, что он не считает себя побежденным, а лишь временно отступил.

— В конечном счете,—повторил м-р Приделль,—каждый получает по заслугам. Если человек терпит неудачу, значит он сам виноват; если же преуспевает—это его заслуга. Однако нельзя не согласиться с тем, что посторонние силы до известной степени направляют нашу жизнь, некоторые личности оказывают на нас влияние. В молодости я был так сказать протеже Альфреда Бэчрэча...

— Конфектного короля?—перебил Сэмуэль Харлей.

Теодор Priдделль торжественно кивнул.

— Да,—сказал он.—Альфреда Бэчрэча, фабриканта леденцов и архимиллионера.

— В самом непродолжительном времени я тоже могу стать миллионером,—объявил Майкель и, благодушно улыбаясь, обвел взглядом всех присутствующих.—Это случится, если последуют некоторые разоблачения.

Воспользовавшись паузой, наступившей вслед за этим заявлением, м-р Тангрин поднял книгу и стал читать:

Сара, герцогиня Мальборо, особа со странностями, питала дружескую привязанность к драматургу Конгриву. Когда он умер, она заказала вылепить статую его из воска. Затем распорядилась, чтобы врачи ежедневно приходили смазывать и бинтовать ноги статуи,— Конгрив при жизни страдал подагрой. Она думала что эта заботливость благотворно подействует на дух умершего. Любопытно, что она, сама того не подозревая, совершала религиозный обряд племен Конго. Жители Конго так же точно ухаживают за грубыми статуями своих умерших вождей.

Никто не высказался по поводу прочитанного, и м-р Тангрин, очевидно, не ждал никаких замечаний, ибо немедленно углубился в книгу.

М-р Таргрин иногда очень надоедал гостям; многие считали его скучным человеком. Раньше он был промышленником, выпускал приводные ремни и преуспевал. Быть может, вам попадалось на глаза объявление: «Приводные ремни Тангрина вы найдете всюду, где есть шкивы».

В пятьдесят пять лет он ушел от дел и занялся самообразованием. Последнее время читал Моля «Историю человеческой глупости» (не сокращенную историю в восемнадцати томах, о которой многие слыхали, но пол-

ную—в сорока двух томах с приложениями и цветными таблицами).

В гостиницу он приехал, желая подышать воздухом, насыщенным мыслью. Это было бы еще не так плохо, м-р Тангрин был кротким человеком с мягким сердцем, если бы не его привычка при каждом удобном случае читать вслух отрывки из истории Моля.

У него был длинный острый нос, и очки всегда сползали на самый кончик; казалось, вот-вот они упадут, но никогда этого не случалось. Говорил он слабым, тоненьким голоском; когда читал вслух, голос его замирал, и конец фразы звучал, как писк.

— Да, сэр, Альфред Бэчрэч помог мне стать на ноги,—сказал м-р Приддельль.—Он—один из ближайших моих друзей. Ах, какой это человек! Если бы вы его видели, когда он сидит в своем роскошном кабинете, повернувшись лицом к огромному портрету Наполеона!

— Кажется, он увлекается Наполеоном?—перебила м-с Уэбб.—Я где-то читала, что у него есть замечательная коллекция наполеоновских реликвий.

М-р Приддельль слегка наклонился, собираясь ответить, но подождал, пока на него не обратились взгляды всех присутствующих.

Компания сидела на берегу озера Бельведер, на траве, в тени развесистого дерева; легкий ветерок пробегал по листве. Пикник удался, хотя никто не придерживался программы м-ра Приддселля.

— О, да, м-с Уэбб! У него лучшая в мире коллекция,—ответил м-р Приддельль.—Если это вас интересует, я с радостью поведу вас посмотреть.

«В Бэчрэче есть что-то от Наполеона... Чувствуется нечто наполеоновское в его методах.

«Он ослепляет конкурентов. «Не отступайте перед конкурентами,—говорит он,—сбивайте их с ног и бейте по физиономии». Да, сэр.

М-р Приддельль, великолепно имитируя Рузвельта, ударил кулаком по ладони.

— Кабинет его напоминает комнату во дворце,— продолжал он более мягким тоном.—На письменном столе стоит мраморный бюст Наполеона, а на противоположной стене висит портрет великого корсиканца.

«Этот портрет изображает Наполеона во весь рост, руку он заложил за борт сюртука, на котором сверкает какой-то орден... Он опустил глаза, вот так...—М-р Приддельль встал и принял наполеоновскую позу.—Опустил глаза, задумался, погрузился в размышления.

«На другой стене висит портрет самого Альфреда Бэчрэча, принадлежащий кисти Сэрджента. Альфред сидит, положив ногу на ногу, в кресле... непринужденная поза... и просматривает какие-то бумаги.

«Глядя на эти два портрета удивительно ясно рисуешь себе методы... я бы сказал—гений двух эпох... Вы понимаете, что я имею в виду... На одном портрете изображен отважный полководец, на другом—энергичный коммерсант. Входя в кабинет Альфреда, я всегда сравниваю этих двух великих людей. Альфреду это нравится, он слушает меня и смеется.

«Когда вы встречаете Альфреда Бэчрэча, вам трудно поверить, что этот человек был некогда скромным вагоновожатым».

— Как он ухитрился усовершенствовать леденцы?— спросил Мередит Купер.

— О, это чрезвычайно интересная история... Мне посчастливилось услышать ее от самого Альфреда,—похвастался Приддселль.—История длинная, но я могу передать самую суть.

«Прежде всего запомните, что Альфред Бэчрэч всегда держится настороже. Он не зевает, ничто не может от него ускользнуть... В бытность свою вагоновожатым, он всегда подмечал все, что происходило на улице. А вагон его целый день курсировал по улицам.

«Между прочим, он обратил внимание на то, что у всех детей лица грязные, липкие... Это явление и теперь наблюдается, а раньше дети были еще грязнее. Казалось, их обмазали клеем.

«Молодой Бэчрэч, стоя на передней площадке вагона, стал размышлять, почему платья и мордочки детей всегда замазаны чем-то липким и как нужно с этим бороться.

«Тщательное наблюдение выяснило, что почти девяносто процентов детей держат в руках леденцы, леденец тает, а ребенок вытирает руки о платье и лицо.

«Вопрос был разрешен, теперь оставалось только найти лекарство. Он стал производить эксперименты. Чуть с ума не сошел. Все было испробовано... Завертывали леденцы в свинцовую бумагу, делали пакетики из картона, но ничто не помогало. Вы сами знаете, что это не достигает цели.

«Наконец Бэчрэч разрешил проблему ночью, во сне. Ему снилось, будто он видит процессию мальчиков и девочек, которые сосут леденцы, прикрепленные к маленьким палочкам... Он видел, как процессия прошла мимо него. Каждый ребенок держал в руке палочку и грыз леденец.

«Проснувшись, он вскочил с постели и тотчас же набросал план... конечно, в самых общих чертах.—Так появилось на свет великое изобретение».

— Ему приснилось, будто они сосут леденцы, насаженные на палочки?—переспросил Майкель Уэбб.— Это очень интересно.

— Да, не правда ли?—отозвался м-р Приддделль.— И этот сон его обогатил... Первые свои леденцы он продал сам, стоял с корзинкой на улице... Идея привилась... Да, сэр, привилась буквально по всей стране. В настоящее время в Америке работают восемь фабрик, есть такие фабрики и в других странах. Существует множество всевозможных сортов леденцов. Специальные леденцы, которые тают медленно, для Мексики и других жарких стран... леденцы от кашля... леденец-погремушка... должно быть, вы видели рекламу? «Каждый ребенок может съесть свою погремушку».

«Однажды я зашел к Альфреду в контору, и он познакомил меня со статистическими данными. Трудно поверить, какое огромное количество леденцов выпускается на рынок. Я шутливо показал на карту Соединенных Штатов, висевшую на стене, и заметил: «Леденцовые Штаты Америки». Признаюсь, мне самому эта острота понравилась... так сказать, экспромт. А Альфред быстро повернулся и воскликнул: «Вздор! Это пустяк... Вот мои владения». И он указал на карту земного шара. Наполеоновский жест... Безграничное честолюбие...»

— Я бы хотел встретиться с м-ром Бэчрэчем,—сказал Сэмуэль Харлей.—Должно быть, это замечательный человек.

— Я вам дам письмо к нему,—предложил м-р Приделль и благосклонно посмотрел на м-ра Харлея.

— Если вы к нему пойдете,—начал Рэндольф Кипп, который все время молча сидел на траве и прислушивался к разговору,—я вам советую захватить с собой лупу, а то вы рискуете его не заметить.

— Что вы хотите этим сказать!—воскликнул м-р Придделль и густо покраснел.

— М-р Придделль, было время, когда я служил у него и, следовательно, имел возможность разглядеть оборотную сторону медали,—пояснил Кипп.—Хотя он и ваш друг, но, пожалуйста, не обижайтесь, если я скажу, что считаю его самым презренным, скаредным и ничтожным человеком на свете.

Все, что было в м-ре Придделле от Рузвельта, всплыло на поверхность.

— Чорт возьми!—крикнул он.—Это уже слишком... вы... вы...

Все задвигались. Начали перешептываться. Назревала ссора.

— Подождите, подождите!—воскликнул Кипп.—Вы уже говорили, а теперь дайте мне сказать.

«На огромных фабриках м-ра Бэчрэча, выпускающих леденцы и прочие изделия, работают почти исключительно девушки. Сотни этих девушек получают не больше пяти долларов в неделю. Только высоко квалифицированная работница может заработать семь или восемь долларов. Даже с управляющими он обращается, как с собаками, платит им мизерное жалование, внезапно увольняет, руководствуясь своими наполеоновскими капризами.

«Вы мне ничего возразить не можете. Я знаю все, по-

тому что на него работал... Что же касается девушек, служащих на его фабриках, то я сам видел их скудные завтраки, завернутые в газету, их потертые, изношенные платья. На деньги, какие он им платит, они не имеют возможности есть досыта, а он держит великолепных лошадей, наряжает жену.

«Наполеон? Наполеон бледных, голодных девушек... Этот человек спекулирует на голоде так, как другие спекулируют на недвижимом имуществе.

«Да, это Наполеон из низкопробного металла... Мужества у него меньше, чем у мышенка. Он смотрит вам в глаза и лжет, потому, что у него нехватает смелости говорить правду».

М-р Придделлъ вскочил.

— Это самое гнусное оскорбление, какое мне когда-либо приходилось слышать. Недопустимая...

Его жена подбежала к нему и зажала ему рот рукой.

— Тише, тише, тише,—зашептала она.

Шум привлек внимание тех, кто «накрывали на стол»... Мисс Уэйн, мисс Кольридж, м-р и м-с Бюфорд расстелили на траве скатерть, положили по углам камни и расставляли тарелки. Армия муравьев пыталась отвоевать скатерть, и мисс Уэйн сражалась с ними, когда вспыхнула ссора.

Не прошло секунды, как м-с Уэйн уже стояла возле Киппа.

— Ну, Рэнни, Рэнни... пожалуйста... пожалуйста... держите себя в руках,—проговорила она.

Последовало напряженное молчание.

М-р Тангрин, изучавший двенадцатый том, «Истории человеческой глупости», понятия не имел о том, что произошло. Молчание его вдохновило, и он прочел вслух:

„Пятнадцати лет Нинон де Ланкло распрощалась с девичьей скромностью и решила отныне вести жизнь веселую. Не внимая трогательным мольбам своей матери, она отдалась капитану Сент-Этьен у, который оказался негодяем. Затем безграничное честолюбие побудило ее повести атаку на кардинала Ришелье. Ришелье был в то время уже пожилым человеком и пользовался неограниченной властью. Мечта ее не осуществилась. Великий кардинал был тверд, как алмаз, и не поддался ее чарам".

— Я бы вас попросил больше со мной не разговаривать,—сказал м-р Придделль м-ру Киппу, когда чтец умолк.

— Я и не собираюсь с вами разговаривать,—отозвался м-р Кипп.

Кажется, будто у озера Бельведер часовая стрелка всегда стоит на пяти часах пополудни. Застыли в раздумии синие воды, неподвижны черные тени деревьев. Здесь тяжело быть одному. Слишком глубоко молчание. Чудится—природа затаила дыхание... замерла... время остановилось.

Но когда приходишь сюда с людьми, нет места тяжелым мыслям. Красивым кажется озеро, не замечаешь зловещего его вида, странные, предчувствия не овладевают тобой. Присутствие людей... Все становится иным в присутствии людей. Есть в этом что-то непонятное.

3

Мередит Купер спас кусок торта «бэзэ» от эскадрона муравьев и осторожно положил на ладонь. Он намеревался его съесть и размышлял, как к нему подступиться; этот торт очень хрупок, и, если откусить кусок, крошки разлетаются во все стороны.

— Художник Ван Гог,—заметил м-р Тангрин, не заглядывая в книгу, а цитируя наизусть,—отрезал себе ухо бритвой и послал его одной леди, как знак любви и преданности. Он едва не истек кровью, а леди не оценила этого дара.

М-р Тангрин обращался ко всей компании, но все были заняты разговором, и это замечание расслышал только м-р Торнтон, сидевший рядом.

— Да, это было очень глупо,—отозвался м-р Торнтон.—Я знал одного парня, который лишился пальца на...

— Их двое,—сказал Эрнест Торбэй м-с Уолкер, ослепительной блондинке.

Торбэй недоумевал, почему он до сих пор не обращал внимания на м-с Уолкер; у нее был красивый бюст, и она умела вести разговор... Он решил наверстать потерянное.

— Их двое,—сказал Торбэй. (Чорт возьми! Кто ее муж? Он никогда не приезжал в гостиницу.)

— Я думала, их гораздо больше,—возразила м-с Уолкер.—Есть Теккерей, Толстой, Бальзак, Харди...

Она была так возбуждена, что больше ей никто не пришел на ум. Впервые беседовала она с писателем, пользующимся известностью... и в то же время ощущала в нем мужчину.

— Да,—протянул Торбэй.—Те, кого вы назвали,—первоклассные писатели... первоклассные... но эти двое стояли выше всех... Они узрели бога...

— Узрели бога!—как эхо, повторила м-с Уолкер.

Торбэй заглянул в ее круглые голубые глаза и вспомнил женщин, у которых были такие же глаза.

— Как интересно!—сказал м-с Уолкер; другого слова она не могла придумать.

— Сегодня утром вы объявили, что можете в самом непродолжительном времени стать миллионером,—обратился Сэмуэль Харлей к Майкелю Уэббу.—Кажется, вы добавили: «при условии некоторых разоблачений»... Расскажите-ка нам, в чем тут дело... если это не секрет.

Майкель засмеялся.

— О, нет! Не секрет! Я—законный наследник миддлтоновских миллионов,—провозгласил он.

Искоса посмотрел он на Торнтонов. Они его не слышали. М-р Торнтон говорил м-ру Тангрину:

— Да, сэр, этот парень работал на лесопильне, и ему отрезало палец. На следующий день он явился с забинтованной рукой и стал объяснять всем и каждому, как это случилось. Да, сэр, а пока он объяснял и для наглядности показывал другой рукой, ему отхватило еще два пальца...

М-р Тангрин захихикал, а м-р Торнтон ему вторил; обоим это казалось очень забавным.

— Как интересно!—нараспев протянула м-с Уолкер.—Кто же это, м-р Торбэй?

— Это Достоевский и Марсель Пруст,—ответил тот.—Знаете, дорогая моя... вы разрешите мне так вас называть?.. У вас удивительно красивые глаза.

— О! Вы мне говорите комплименты,—сказала м-с Уолкер, очень возбужденная.—Ведь вы этого не думаете... Достоевского я, конечно, знаю, но всегда путаю его с другим русским—этим Горьким... Разве это не один и тот же писатель? Знаете, у русских всегда бывает два или три имени... Это сбивает с толку... А Марсель Пруст?.. Должно быть вы имеете в виду Марселя

Прево... Так я произношу его фамилию... Марсель Прево... и, мне кажется, у меня правильное произношение... У него есть прекрасные романы—«Demi-Vièrges» и еще что-то в этом роде.

Эрнест Торбэй внезапно охладел к круглым голубым глазам м-с Уолкер. Самая обыкновенная блондинка, размышлял он, цена ей—пять долларов, букет цветов за пять долларов и в придачу коробка конфет.

— Простите,—сказал он холодно.—Вы совершенно правы, я имел в виду Марселя Прево.

Теперь м-с Уолкер казалась ему куклой. Затем он вспомнил картину Энгра в Лувре «Odalisque couchée».

— Я знала, что я права,—проворковала м-с Уолкер и через секунду убедилась, что м-р Торбей в высшей степени невежливо повернулся к ней спиной и разговаривает со своей соседкой.

4

— Коннектикут, как вы сами видите,—обратился м-р Бюфорд к гостю, приехавшему накануне из Техаса,— является одним из самых живописных штатов Америки... Я говорю о красоте природы. Вы любуетесь величественными горами и чарующим морем, тихими деревеньками Старой Англии на фоне дикой природы...

— О, боже!—вскрикнула—вернее, взвизгнула—Эдит Уэбб.—Томми, сию же минуту остановись!

— Томми! Томми!—хором подхватили все присутствующие.

— С этого ребенка глаз нельзя спускать,—сказала мать Томми и побежала к сыну.

Томми занялся опасным спортом. Элинор Пим тоже участвовала в игре.

Почти все считали, что вина лежит на Элинор Пим, так как она была старше Томми Уэбба. Но, вернее, виноваты были оба.

Вот как они забавлялись. Томми сидел на качелях и крепко держался за веревку, а Элинор бегала и изо всех сил толкала доску.

Элинор Пим, маленькая стройная девочка с золотистыми волосами, походила на святую с картины флорентийского художника эпохи раннего Возрождения, но для своих лет она была очень сильной... На секунду Томми скрывался в ветвях старого дуба, а затем взлетал над синей гладью озера. Старые, подгнившие веревки трещали; казалось, вот-вот они лопнут.

Томми ни малейшего внимания не обратил на мать. Он был слишком увлечен, чтобы услышать ее вопль. Элинор Пим тоже увлеклась игрой и забыла о своей матери.

М-с Пим, известная художница, вспылила и наградила пощечиной флорентийскую святую.

— Дорогой мой,—сказала м-с Уэбб сыну,—как ты меня испугал! Ведь ты мог упасть в озеро.

В это время Элинор Пим заливалась слезами.

— О, мама, я совсем не боялся,—ответил мужественный Томми.—Я не люблю раскачиваться еле-еле.

— Иди сюда, к отцу!—позвал его Майкель.—Иди сюда, со мной ты в безопасности.

В эту минуту подошел Рэнни Кипп и, наклонившись к Майкелю, зашептал ему на ухо:

— Знаете, старина, Элис согласилась выйти за меня замуж... Она сама этого хочет... Мы обвенчаемся в церк-

ви... Пригласим шаферов... Ей хочется проделать всю процедуру... Скажите, ведь вы с ней говорили вчера, когда ездили кататься? Почему она вдруг передумала?

— Нет, Рэнни,—шопотом ответил Майкель.—Я ей ни слова не говорил. Это решение она приняла самостоятельно. Я рад... за вас и за нее... Поздравляю.

И он пожал ему руку.

Гюс Бюфорд, закончив панегирик Коннектикуту, повернулся к Майкелю Уэббу.

— Что я слышу?—хриплым голосом спросил он.—Вы получаете наследство?

Майкель подождал, пока все замолчали, а затем спокойно объявил:

— Я получаю в наследство миддлтоновские миллионы, вернее—половину этих денег. Остальное перейдет к моей сестре.

Повернувшись к Томми, который стоял подле, он добавил:

— Твой отец будет очень богатым человеком.

Томми побежал вприпрыжку к Элинор Пим и возвестил:

— Папа будет богатым человеком... богатым человеком... богатым человеком!

Все притихли и ждали. Все были заинтересованы... заранее предвкушали что-то очень интересное... Все, кроме м-ра Тангрина. Он не был заинтересован,—он внимательно читал «Историю человеческой глупости».

— О каких миллионах вы говорите?—осведомился м-р Торнтон.

Все могли заметить, что Торнтоны удивлены.

— О миллионах Миддлтона, м-р Торнтон,—любезно ответил Майкель.—Это странная история... любопытное стечение обстоятельств... Кажется, никто из присутствующих ничего об этом деле не знает, а я охотно вам расскажу.

«Сначала я носил фамилию Миддлтон, а не Уэбб. Мой отец, Арон Миддлтон, был известным коллекционером и богачом. Я его не помню, так как моя мать, женщина редкой красоты, бросила его, когда я был маленьким мальчиком... и... не стòит умалчивать... она ушла от него к другому.

«Меня и мою сестру Омелу она взяла с собой...»

— Омела!—ахнули супруги Торнтоны, а Майкель услышал это восклицание.

— Тогда я не знал, что фамилия моя—Миддлтон. Мать моя развелась, вышла замуж за другого и носила фамилию Уэбб. Меня звали Уолдемаром... Уолдемаром Уэббом... Но впоследствии я переменил имя на Майкеля.

«Старый Арон Миддлтон, когда моя мать ушла от него, стал желчным, мрачным человеком. Да, желчный, мрачный финансист. Ему дали прозвище «Молчаливый Миддлтон». Годы шли, и наконец все забыли о том, что когда-то он был женат. Не было у него ни родных, ни близких.

«Я ничего не знал, пока ни умерла моя мать. После ее смерти мы нашли бумаги и из этих бумаг узнали обо всем... Позднее я услыхал, что мой отец в продолжение многих лет разыскивал нас и истратил много денег на эти поиски... Он хотел оставить нам миддлтоновские миллионы... Искали нас на трех континентах...»

— На каких?—спросил Сэмуэль Харлей.

— На каких? Что вы хотите этим сказать?

— Вы говорите—три континента, а я спрашиваю какие?

— Ну, скажем, в Америке, в Европе и... ну... в Азии,— серьезно ответил Майкель.—Когда после смерти матери я и моя сестра Омела нашли документы, я немедленно стал наводить справки и узнал, что мой отец недавно умер. А вот тут-то и начинается самое интересное...

— Ого!—воскликнул м-р Бюфорд.—Да это настоящий роман!

— Совершенно верно. В самом непродолжительном времени я установил, что миддлтоновские миллионы исчезли... Это была мошенническая проделка... За несколько дней до смерти к моему отцу, лежавшему на одре болезни, явились два мошенника—мужчина и женщина. Каким-то образом они выудили миддлтоновские миллионы. Ограбили умирающего старика...

Майкель вынул из кармана белоснежный носовой платок и вытер глаза. Слушатели сочувственно молчали.

— Они ограбили моего отца и скрылись. Отняли у детей кусок хлеба.

— Это возмутительная кража,—с негодованием воскликнул Сэмуэль Харлей.—Неужели прислуга или кто-нибудь из живущих в доме не обратил внимания на этих людей?

Майкель заметил, что м-р Торнтон шепнул что-то своей жене; у обоих вид был недоумевающий.

— Нет, все домашние были слишком взволнованы, и никто ничего не заметил,—ответил Майкель.—Вы знаете, что происходит в доме, где умирает человек... Посетители приходят и уходят...

«Впрочем, слуги видели обоих мошенников, так что приметы их известны. Это пожилые люди, хорошо одеты. Мужчина высокий, с усами, лысый; вид у него добродушный. Слуги обратили внимание на его массивную золотую цепочку с брелоками. Женщина очень красива, хотя на вид ей не меньше сорока пяти лет.

«Вы только подумайте: вполне приличные на вид люди являются и обкрадывают умирающего!..

«Однако буду продолжать рассказ... Я немедленно приступил к делу и пустил по следу ищеек закона...»

— Опасные мошенники!—перебил м-р Приддселль.— В наше время никто не может быть уверенным в безопасности.

Казалось, этот подлый грабеж произвел потрясающее впечатление на слушателей, и все предались меланхолии над остатками завтрака.

Воспользовавшись паузой, м-р Тангрин, не следивший за рассказом Майкеля, стал читать вслух:

„Бракосочетание Людовика XIV и инфанты Марии-Терезы, дочери Филиппа IV, короля испанского, сопровождалось пышными празднествами. Путешествие короля и инфанты из Мадрида к французской границе походило на блестящий парад. Жители города Хенареса воздвигли величественный павильон, и здесь при свете тысячи факелов был совершен ночью обряд венчания. В программу сказочного празднества входил бой быков. Быков, оставшихся после боя, обмазали дегтем и подожгли. Затем горящих быков выпустили в загон перед королевским павильоном для увеселения высоких гостей. Банкет продолжался, и под аккомпанемент мычания измученных животных кавалеры нашептывали красавицам нежные слова“.

Все были раздосадованы неуместным вмешательством м-ра Тангрина и холодно отнеслись к его сообщению.

5

— Ищейки сделали все, что могли, но так и не напали на след. Омела и я—законные наследники миддлтоновских миллионов—уже потеряли всякую надежду, когда...

— Простите, м-р Уэбб, но мне хотелось бы знать, где вы выкопали эту историю?—спросил м-р Торнтон.

— Где?—с удивлением повторил Майкель.—Да ведь я вам только что сказал... Кое-что я узнал из бумаг матери, а затем долго наводил справки...

У м-ра Торнтона вид был такой испуганный, что Майкель почувствовал к нему жалость.

— Как я уже сказал,—продолжал Майкель,—мы с сестрой потеряли всякую надежду, как вдруг я получаю письмо от одной особы, которую зовут Миртль Ван Дузен.—Он исподтишка посмотрел на м-ра Торнтона и заметил, что тот вздрогнул.—Она писала, что ей известно, кто украл миллионы, и в любой момент она может найти и изобличить виновных.

Конечно, я заинтересовался и поспешил написать Миртль Ван Дузен. Мне хотелось получить от нее более обстоятельное письмо. Вот ее ответ...

Майкель извлек из кармана несколько писем, перебрал их и нашел одно, написанное на синей почтовой бумаге.

«Многоуважаемый м-р Уэбб,—начал он,—я получила ваше письмо от 12 июня и спешу вас уведомить, что я готова ответить на все ваши вопросы...

«Миддлтоновские миллионы были украдены двумя мошенниками—мужем и женой,—которые пользуются репутацией ловких пройдох и ни разу не были изобличены. В моих руках имеются доказательства и все улики, но

я буду молчать, пока вы ни примете моих условий, ибо благотворительностью я не занимаюсь.

«Преступную пару я могу отыскать в двадцать четыре часа и уличить в многочисленных преступлениях; наказание за эти преступления—от двадцати до сорока лет каторги.

«Буду откровенна с вами: я лично не знаю, где спрятаны миддлтоновские миллионы, но этой паре все известно, и вы можете быть уверены, что они, придавленные тяжестью моих улик, откроют тайну.

«Теперь поговорим об условиях. В случае, если я отыщу для вас миддлтоновские миллионы—а в этом я не сомневаюсь,—вы мне уплатите миллион наличными...»

— О, боже! Миллион наличными!—воскликнул Мередит Купер.—Да, эту особу учить не нужно.

— Ну, что ж! Пожалуй, стòит выложить миллион,—отозвался Майкель и продолжал читать:

«Миллион наличными, если вы получите миддлтоновское наследство. Если же деньги вам не достанутся, я не потребую платы за услуги.

«Напишите мне, и тогда я приеду к вам, и мы заключим письменное соглашение».

— Письмо подписано «Миртль Ван Дузен»,—сказал Майкель, перевертывая последнюю страницу.—А вот постскриптум: «Я знаю, вы будете наводить обо мне справки, но не пугайтесь, если вам скажут, что я известна под кличкой «Миртль-Ведьма». Это прозвище дали мне преступники, которых я разоблачила и отправила в тюрьму».

— Ах, чорт возьми! Теперь я понимаю,—воскликнул Сэмуэль Харлей.—Теперь я понимаю! Сначала имя Миртль Ван Дузен показалось мне незнакомым, но, ко-

нечно, я слышал о Миртль-Ведьме. Это—талантливейшая женщина-сыщик. Да, она сумеет отыскать миллионы.

— Я ей написал и попросил приехать сюда,—сказал Майкель.—Жду ее завтра. И уж тогда-то мы раздобудем миддлтоновские миллионы...

М-р Торнтон протянул руку.

— Вы ничего не имеете против того, чтобы показать мне это письмо?

— Пожалуйста!—ответил Майкель, передавая ему письмо.

Он слышал, как м-с Торнтон, с удивлением проговорила:

— Женский почерк... А вот и подпись... Миртль Ван Дузен... О, господи!..

— Вот фотографическая карточка моей сестры Омелы,—продолжал Майкель.—Мы с ней очень привязаны друг к другу... Я всегда ношу в кармане ее карточку, завернутую в кусок шелковой материи.

С любовью посмотрев на карточку, он протянул ее Торнтонам. То была фотография красивой брюнетки лет тридцати пяти.

— А потом, пожалуйста, передайте дальше,—сказал он м-ру Торнтону.

Дрожащими руками м-р Торнтон взял карточку.

— Здесь написано «Омела Блуфер»,—сказал он.—Написано на карточке.

— Да,—отозвался Майкель.—Это ее фамилия по мужу... Блуфер... Ее муж—м-р Блуфер. Они живут в Толедо.

— А как имя ее мужа?—поинтересовался Харлей.—Когда-то я знал одного Блуфера.

— У него нет имени,—ответил Майкель.—Его зовут просто м-р Блуфер.

— Вот здорово!—удивился Гюс Бюфорд.—В первый раз слышу о человеке, у которого нет имени.

— Эдит!—крикнул Майкель жене.—У мужа Омелы есть какое-нибудь имя?

— Нет,—ответила Эдит Уэбб.—М-р Блуфер—и только... Он говорит, что у них в семье детям не давали имен. Их было одиннадцать человек—семь мальчиков и четыре девочки.

— О, боже!—прохрипел м-р Бюфорд.—Что же делали родители, когда хотели позвать кого-нибудь из детей?

— В таком случае они кричали просто: «Блуфер!» Сбегались дети, и они выбирали того, который был им нужен.

6

— Выясним суть дела,—глупо-напыщенным тоном произнес м-р Торнтон.—Полагаю, все мы—люди разумные.

— Нет, мы не разумны,—засмеялся Мередит Купер,— но, быть может, у нас хватит ума понять вас.

— Да, я тоже так думаю. Эта история, которую вы нам рассказали, м-р Уэбб... Видите ли, я сам ее придумал, и, конечно, сейчас я сбит с толку. Да, эту сказку сочинил я!

Последовала длительная пауза. Майкель смотрел на м-ра Торнтона так, словно отец звезды экрана был сумасшедшим. М-р Тангрин уже приготовился было приступить к чтению, но Мередит Купер прикрыл книгу рукой и сказал:

— Не читайте.

— Сочинили?—недоумевающе спросил Майкель.— Я

вас не совсем понимаю. Какое вы имеете отношение к миддлтоновским миллионам!

— Нет никаких миддлтоновских миллионов!—решительно заявил м-р Торнтон.

— В своем ли вы уме?—удивился Майкель.—И вы говорите, что...

— Я все это придумал,—настаивал м-р Торнтон,—придумал для своего развлечения, моя жена может подтвердить.

— Да, совершенно верно,—отозвалась жена.—А я помогала ему сочинять. У нас была мысль использовать это для сценария... Понятия не имею, как вы об этом разузнали.

— Нет никакой Миртль Ван Дузен,—начал м-р Торнтон.

Майкель молча указал на письмо Миртль.

— Доказательства налицо, м-р Торнтон,—возразил Гюс Бюфорд.

— Пусть меня повесят, если я знаю, откуда оно взялось!—сказал м-р Торнтон.

— Пожалуй, вы скажете, что и Омела Блуфер не существует,—с усмешкой заметил Майкель и, взглянув на карточку, спрятал ее в карман.

— Не существует!—заявил м-р Торнтон.

Майкель подбоченился и уставился на отца мисс Торнтон.

— Да, таких вещей мне еще не приходилось выслушивать... Эдит, этот джентльмен утверждает, что у тебя нет золовки по имени Омела.

— Это уже слишком!—вмешался м-р Приддельль.—Как будто человек не знает, есть у него сестра или нет... Право же, м-р Торнтон, человек помнит своих родных...

М-р Торнтон пристально посмотрел на Майкеля, посмотрел ему прямо в глаза. Тот, кому приходилось продавать «экономические газовые горелки», умеет это делать, и м-р Торнтон был хорошим физиономистом. Ему показалось, что губы Майкеля складываются в улыбку... Как бы то ни было, но и он и Майкель расхохотались одновременно.

— Ха-ха-ха!—хохотал м-р Торнтон.

Майкель смеялся еще громче, но его смех звучал, как «хо-хо-хо!»

— Ху-ху-ху!—загудел Гюс Бюфорд.

— Хе-хе-хе!—закудахтал Сэмуэль Харлей.

Приезжий из Техаса хохотал оглушительно.

— Хи-хи-хи!—хихикала м-с Уолкер.

— Хо-хо-хо!—залился смехом м-р Тангрин, хотя и не разобрал, в чем дело.

ОГЛАВЛЕНИЕ


I р. 35 коп.
Папка 25 к.
Предоплата 50%
(Ориго) Вудворд Хлеба и зрелищ
29,99 EUR
70413408